

И

И. ЭРЕНБУРГ

• *старый
скорняк* •

и другие
произведения

И. ЭРЕНБУРГ

И. ЭРЕНБУРГ

• СТАРЫЙ СКОРНЯК •
И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(Книга первая)

Составление, послесловие
и примечания – М. Вайнштейна

Серия (זכרון) Память

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Настоящий сборник не претендует, да и не может претендовать на "исчерпанность" еврейской темы в творчестве Ильи Эренбурга. Для этого потребовались бы тома и тома... Кроме того, некоторые произведения писателя, о существовании которых известно, — все еще ждут часа своей публикации в советских архивах и находятся посему вне "досягаемости" составителя. В сборник не включены также отрывки из произведений Ильи Эренбурга, — в противном случае пришлось бы, по существу, издавать его многотомное полное собрание сочинений.

При публикации сохранены некоторые особенности правописания оригинала.

АВТОБИОГРАФИИ

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился в 1891 году. Иудей. Детство — Москва, Хамовники, пивной завод. Горячее кислое пиво. В казармах рабочие ругаются. Гулянье на Девичьем. Веснами ездил в Киев к деду. Подражая ему, молился, покачиваясь, и нюхал из серебряной баночки гвоздику. Московская 1-ая гимназия. Соседи пели: "сидит жидок на лавочке, мы посадим жидка на булавочку". Дома чрезмерно шалил. Поджег дачу. После долгих поисков нашли гувернера, которому я повиновался. Он вечером говорил мне: "Хочешь тянучек" и давал: сливочные и шоколадные. Я кидал бумажки на пол. Он: "гляди, бумажек-то нет". Действительно, не было. Так, в "нежном возрасте" познал я иллюзорность бытия. Года через два выяснилось, что он меня гипнотизировал. Еще возился я с микроскопами и гадами.

13 лет. Еду один из Германии в Москву, Берлин. Пошел ночью в кафе "Виктория", съел пирамиду пирожных. На следующее утро в трехмарочном базаре захотелось купить дюжину пресс-папье в виде заспиртованных ящериц.

В Москве жил с отцом в номерах "Княжий Двор". Мне нравилось, что можно позвонить — и по-

ловой приносит самовар, плюшки.

В декабре пятого исчез — помогал на Пресне строить баррикады. В 1906 г. вошел в революционные организации. Из гимназии вскоре выгнали (6кл.). Поймали у фабрики Бутикова с прокламациями. Сошло. Был "организатором" в Замоскворецком районе. Еще сочинял прокламации и трактат "Два года единой партии". Тщился одолеть третий том "Капитала". Искусство и стихи презирал. В 1908 г. арестовали. Сидел месяцев восемь в разных местностях. Кое-где хорошо. В Басманной избили. Очнулся на полу в "пьянке": блевотина, кровь. Объяснил голодовку — шесть дней. Было трудно, но держался, в душе мня себя героем (17 лет). В Бутырках карцер, напугали крысы. Выпустили под залог. Выдали "проходное". Начал скитаться по России. Куда ни приеду — всюду поглядят "проходное" и дальше — в 24 часа. Вернулся нелегально в Москву. Ночевки, главным образом, у сочувствующих акушерок. Потом остался в декабре на улице ночевать. Не выдержал, пошел в жандармское управление: посадите обратно.

Париж (1909). Восемь лет эмиграции. Справлялся — если год или два отсидеть — вернусь. "Вечное поселение" (102 ст.). Вскоре начал писать стихи. Показалось вначале трудно и неприятно. Потом привык. Почти всю Европу исколесил. Особенно осталась — Италия. Часто голодал — пятый, шестой день. Спина болит, гуд. А в последнюю минуту всегда кто-нибудь принесет франчишко. Увлекался средневековьем. Много читал. Потом — Жамм, католи-

цизм. Предполагал принять католичество и отправиться в бенедиктинский монастырь. Говорить об этом трудно. Не свершилось.

В начале войны захотел воевать. Не взяли. Потом на вокзале в Иври по ночам вагоны грузил за сто су. Я мерз. Скверно было. Писал "Стихи о Канунах". Затем стал корреспондентом "Биржевки". Попал на фронт. Об этом писал.

Революция. Тянули номера — кому когда возвращаться. Вышел дальний. Ехал с поясом — ни лечь, ни сесть. В Торнео поручили солдатику "сопроводить". Солдатык решил, что я анархист, и показывал меня, как зверя, "товарищам" на всех финляндских станциях. Хотели убить. В Белоострове офицеры (к.р.) приняли меня за большевика. Отняли все. Приехал с вокзала — пулеметы, трупы и пр. ("Июльское" выступление).

Октября, которого так долго ждал, как многие, я не узнал. ("Молитва о России").

Киев, четыре правительства. При каждом казалось — другое лучше. Обучал рабочих начаткам стиховедения. Устраивал детские игры, празднества, театры и пр. ("Собез").

Погром. По ночам стучались: "давай жидов". Дворник божился — "не осталось".

Теплушка. Киев — Харьков. (Неделя). На станциях врывались офицеры. Грозили убить. Одного спутника художника — выкинули, другого — писателя — избили.

Пароход — Ростов — Феодосия. Ехали две недели (замерзали, горели, тонули и пр.). Между Керчью и

Феодосией — любопытное происшествие. Ночь. Шторм. Я в кубрике. Офицер из контр-разведки берет меня, тащит наверх. Палуба обледенелая. "За борт жиды!" Спутница добежала до кают-компани. Там сидел — еврей-корниловец. Выскочил с револьвером. Спас.

Коктебель. Зима. Безлюдь. Очухался. Впервые за годы революции удалось задуматься над тем, что же совершилось. Многое понял. Написал "Раздумья". Захотелось в Москву. Голод. В доме сыпняк. Устроил детскую площадку для крестьянских детей. "Дачники" травил: "Интернационал. Большевизм. Крокодила (Чуковского) читает". Поп ходил из хаты в хату: "В жидовскую веру перегоняют. Чертей мастерят (лепка)". Если дети приносили молоко и хлеб — хорошо. Нет, варил суп на стручках перца. Под конец совсем стало невмоготу: отошал, стосковался, арестовать хотели. Убежал. Баржа, без руля, на буксире. Грузжена солью. Хозяин и все порядочные люди на буксире. Мы на барже. Боятся большевиков. Держат на юг. Шторм. Наша корзина плавает. Волны через нас. Держимся. Буксир хочет перерезать канат: "Пусть карабкаются".

Тифлис. Грузинские поэты-друзья. ("Голубые роги"). 2 легчайших недели. В Москву. Дали бумаги дипломатического курьера. "Сопровождающие" — поэт Мандельштам, кто-то из Художественного театра и еще. Кроме бумаг, огромный тюк с печатями. Поезда не ходят — банды. Броневики. Обстрелы. Потом Махно. Хуже всего — публика норо-

вит сесть на тюк. А сломают печати — будет плохо. Довез.

Через две недели арестовали. Сидел во внутр. тюрьме О.О.В.Ч.К. Сказали, что я агент Врангеля. Освободили. Вышел. Ночлега нет. Попал в "Дом Печати". Ночевал в комнате "пролетарских писателей". Мороз. Закутался в большущий красный флаг. Дрожал и даже Чеку помянул:— там центральное отопление.

Читал с курсантами Высш. Военн-Хим. школы Пушкина и Маяковского. Служил в Тео — в "Секции детских театров". С В.Л.Дуровым устраивал заячьи спектакли. Впрочем, об этом писал. Попал на "старое место" в третье общежитие Н.К.И.Д., т.-е. "Княжий Двор". С января топили. Жил трудно и скучно, но как-то "возвышенно". Писать не удавалось — заседания и пайки — но дышал разреженным воздухом. Хотелось в Париж (за восемь лет родилась вторая "заграничная" душа). Весной 1921 года уехал, получив художественную командировку.

Дальше — визы и эмигранты. Париж не тот, я не тот и все не то. Но сидеть на террасе в кафе все же приятно. Не долго сидел. О высылке писал где-то. Добавлю, спросил в профектуре: "собственно говоря почему?" Ответили: "Франция — самая свободная страна; если высыпают, значит, имеются основания". Выкинули на бельгийской границе без визы. Думал, арестуют,— назад,— и начнется игра в мяч. Но бельгийский жандарм долго искал нужную визу среди полсотни ненужных, надоело, зевнул и

пропустил. Бельгия оказалась не столь "свободной страной" — оставили в покое. Засим — Берлин.

В Бельгии написал Хуренито. Это единственная моя книга "в сурьез"; кажется, ни критики, ни читатели, ни я сам, никто не может точно определить, где же в ней кончается усмешка.

Из быта: люблю курить трубку и в кафе глядеть, как кругом развлекаются. Работаю тоже в кафе, дома трудно (парижская привычка, корни экономические — в комнате не топил). Работать люблю. Пожалуй, больше всего. Мне кажется, что сделать вещь "честно", хорошо — одна из основ нашей новой этики (новой, конечно, только по остроте и голизне выражения).

ИЗ "КНИГИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ"

Список заблуждений — вот мой послужной список. Еврей по происхождению, я вырос в Москве. Когда я ездил к моему деду в Киев, это было путешествием в чужой мир. Дед был набожным евреем, он жил среди семисвечников, талесов, молитвенников. У него я все делал невпопад: писал в субботу, задувал не те свечи, снимал фуражку, когда надо было ее надеть. В гимназии сверстники кричали мне "жид пархатый", они клали на мои тетрадки куски свиного сала. Я говорил: "я — еврей" — этого требовало самолюбие. В душе я не понимал, что отличает меня от других. Много лет спустя я разговаривал с одним товарищем о русской литературе. Он сказал: "Ты еврей, ты этого не поймешь"... Любовь к России была для меня запретной: может быть, поэтому я пережил ее с двойной силой. Потом я потерял Россию: девять лет я прожил за границей. Я не помнил ни околоточных, ни купцов, ни дам в кондитерской Трамбле. Я издали любил страну детства и страну книг. Велика сила привычных слов: в октябрьские дни я поверил, что у меня отнимают родину.

Я вырос с понятием свободы, которое досталось

нам от прошлого века. Я уважал неуважение, ценил послушничество. Ребенком я читал только те книги, которые мне запрещали читать. Когда я таскал прокламации, я шел против сильных, это меня вдохновляло. Я не мог понять прямоты и жестокости нового языка. Он казался мне лепетом. Я не хотел научиться говорить на том языке, где выбор слова иногда важнее самого понятия. Я ходил на собрания писателей: мы протестовали против "насилия". Я нашел новых "униженных". Чугун справедливости — или ее олово — висел на моих ногах. Я писал стихи: "Молитву о России". Мне казалось, что я снова иду против сильных. Я исступленно клялся тем Богом, в которого никогда не верил, и оплакивал тот мир, который никогда не был моим.

АВТОБИОГРАФИЯ

Писателю трудно написать автобиографию: о своей жизни он привык рассказывать по-другому — смешивая правду с вымыслом, прячась за спины героев. Мне шестьдесят семь, друзья иногда спрашивают меня, почему я не пишу мемуаров. Для того, чтобы задуматься над прошлым, нужны отъединение и время, а у меня нет ни того, ни другого, я живу настоящим и все еще пытаюсь заглянуть в будущее. Жизнь нельзя просто предсказать, это неинтересно. Да и опасно полагаться на память: оглядываясь назад, видишь десятилетия в тумане, лес, а в лесу — случайно запомнившиеся полянки. Для того, чтобы рассказать о жизни, следует ее продумать. Сейчас моя голова занята другим — движением за мир, литературными спорами, газетным шелестом, который громче грома.

Нелегко будет потомкам разобраться в душевных драмах нашего времени: мы оставим после себя куда больше анкет, чем дневников или исповедей. Очевидно, таковы законы эпохи, и мне придется ограничиться кратким перечнем событий.

Родился я 27 января 1891 года в Киеве, в еврейской семье среднего достатка. Когда мне бы-

ло пять лет, родители переехали в Москву, отец получил должность управляющего на Хамовническом пивоваренном заводе. Я учился в первой московской гимназии. По-еврейски я не умею говорить, но о том, что я — еврей, мне неоднократно напоминали люди, которые, видимо, верят в особые свойства крови. Я не расист, никогда им не был, но покуда на свете водятся расисты, на вопрос о национальности я отвечаю "еврей".

Рядом с пивоваренным заводом жил Лев Николаевич Толстой. Однажды он пришел на завод, отец показывал ему, как варят пиво. Я, разумеется, боялся пропустить слово. Меня удивило, что Толстой говорил о том, как заменить водку пивом, — я был убежден, что он хочет заменить ложь правдой — об этом кричали студенты, которые приходили в переулочек с песнями, да и рабочие завода говорили, что "граф за правду", а отец дал мне переписать "Не могу молчать".

В гимназии я был сначала примерным учеником, но скоро отбилась от рук. Особенно трудно мне давалась математика. Я очень много читал в детские годы, любил зоологию, сидел часами над микроскопом, увлекался древней историей. Вероятно, я все же дотянул бы до аттестата зрелости, но мне было четырнадцать лет, когда впервые история (не древняя) вмешалась в мою жизнь, и в анкетах на вопрос об образовании мне приходится писать "незаконченное среднее".

Революция 1905 года изменила мою жизнь. Я убегал на митинги, в декабре помогал строить бар-

рикады. (Помню зарево над Пресней.) Я начал читать популярные книги марксистов, народников. В конце 1906 года я вошел в гимназическую организацию РСДРП, а несколько месяцев спустя — в московскую организацию большевиков. Я работал организатором в Замоскворецком районе, связывался с солдатами; знал "Макара" (Ногина), "Иннокентия" (Дубровинского), "Егора", "Таню", Илюшина с обойной фабрики Сладкова, ходил на собрания: то на татарском кладбище, то на Воробьевых горах, то в Марьиной роще. Были явки, дискуссии с меньшевиками — перед выборами делегатов на съезд. Я даже написал сочинение "Два года единой партии", где наивно спорил против объединения большевиков с меньшевиками.

В январе 1908 года гимназическую организацию арестовали. Главными обвиняемыми были Валя Неймарк и я. Арестовали и Надю Львову, но ее вскоре освободили на поруки — ей было всего шестнадцать лет. Она меня удивляла тем, что любила стихи (она потом выпустила сборник стихов и кончила жизнь самоубийством). Основными пунктами обвинения, которые предъявлял мне полковник жандармского корпуса Васильев, была рукопись "Два года единой партии" и найденная у меня печать военной организации РСДРП. Я сидел в Суцеской части, в Басманной, потом в Бутырках в одиночке. Мне было предъявлено обвинение по 102 статье. Отец, понатужась, внес залог, и меня освободили до суда. В Москве мне жить не разрешили, и я уехал в Полтаву, хотел работать в подполье, но

шпики ходили за мной по пятам. В декабре 1908 года я очутился в Париже, разыскал там товарищей, они повели меня в кафе на авеню д'Орлеан, где собиралась большевистская группа. Я увидел Ленина, который пригласил меня к себе.

Много лет спустя я прочитал воспоминания Н.К. Крупской, она рассказывает, что Владимир Ильич, читая "Хулио Хуренито", вспомнил автора: "Илья дохматый". У меня действительно были жесткие волосы, которые торчали в беспорядке. Я был очень молод и самонадеян. Ленину я начал излагать содержание моего опуса "Два года единой партии". Вероятно, он про себя смеялся над молодым начетчиком; он меня расспрашивал, какие пьесы идут в Москве, что думает молодежь о Леониде Андрееве, о декадентах, читают ли сборники "Знание".

В течение года я мечтал о нелегальном возвращении в Россию, продолжал ходить на собрания, спорил с меньшевиками, с эсерами, считал себя революционером. Потом, вместо прямой дороги, передо мной оказался клубок тропинок: я многому научился и многое потерял. В мою жизнь вошли поэзия и Париж.

В отрочестве я никогда не мечтал стать писателем. В Париже я встретился с молодой студенткой, которая любила стихи. Она мне читала Блока. Я вначале ворчал, потом соблазнился и начал сам писать. Эта студентка тоже стала впоследствии поэтессой — Е.Г.Полонская. Я писал стихи день и ночь, ходил по улицам Парижа и что-то бормотал, удивляя прохожих. В конце 1909 года в петербургском жур-

нале "Северные зори" было напечатано мое первое стихотворение. В 1910 году я несколько месяцев постился, копил деньги, набрал двести франков и отнес их русскому типографу Рираховскому, который отпечатал в количестве двухсот экземпляров мой первый сборник стихов.

С тех пор я пишу стихи, иногда с большими перерывами. Говорят, что стихи прежде всего дело молодых. Но вот я и теперь, не умея выразить в прозе того, что меня заполняет, часто возвращаюсь к стихам, не печатаю их, но пишу.

Мои первые сборники кажутся мне ученическими, хуже того — стилизованными. Только в 1915-1916 годах я начал говорить о том, что меня волновало. В Москве вышла моя книга "Стихи о канунах" — накануне революции. Брюсов написал о ней статью, он отмечал мою склонность к сатире и говорил, что я, должно быть, начну писать прозу.

Кроме поэзии, в мою жизнь вмешался Париж; он учил меня правде и неправде, красоте и беспорядку, восхищал и приучал к отчаянию. Чем только я не увлекался в те годы? Древней испанской поэзией и живописью Модильяни, философией, архитектурой, религией. Денег у меня не было, я жил беспорядочно, ходил оборванный, частенько голодал, работа была случайной — то служил гидом, то возил на товарной станции тележки.

В Россию я вернулся в июле 1917 года с группой политических эмигрантов — через Англию и Скандинавию. Революции я не понял, и блуждания мои продолжались.

В 1921 году я вернулся в Париж с советским паспортом. Меня и мою жену вскоре арестовали, выслали под конвоем на бельгийскую границу. В Бельгии за меня заступился поэт Франс Элленс, и мне разрешили прожить там несколько месяцев. Там я написал мой первый роман "Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников". Написал я его за один месяц — я годами думал об этой книге и рассказывал друзьям вошедшие в нее истории. Хулио Хуренито — мексиканец, я дружил с художником Диего Риверой, и он часто говорил о своей родине. Происшествия, относящиеся к "ученику великого мексиканца" Илье Эренбургу, выдуманы, но "Хулио Хуренито" своего рода автобиография — это рассказ о пережитом и передуманном в предшествующие годы. Конечно, я изменился, изменились и мои суждения, но, в отличие от многих моих книг, "Хулио Хуренито" я не разлюбил.

С тех пор я стал писателем, написал около сотни книг, писал романы, рассказы, эссе, путевые очерки, статьи, памфлеты. Эти книги различны не только по жанру — я менялся (менялось и время). Все же я нахожу нечто общее между "Хулио Хуренито" и моими последними книгами. С давних пор я пытался найти слияние справедливости и поэзии, не отделял себя от эпохи, старался понять большой путь моего народа, старался отстоять право каждого человека на толику тепла. Я говорю "пытался", "старался" — у меня есть и стены и потолок; я не обольщаюсь своими возможностями, но гуманизм

для меня не был отвлеченным понятием, я ему учился с детства — и на книгах и на людях.

Писателя часто спрашивают, какими книгами он увлекался, кто на него влиял. В разные периоды моей жизни я любил разные книги; пожалуй, через всю мою жизнь я пронес любовь к двум не похожим друг на друга писателям — к Чехову и к Стендалю. Многому меня научил Герцен. Из русских поэтов чаще всего я возвращался к Тютчеву.

Мне хочется упомянуть о некоторых людях, которым я много обязан. С А.Н.Толстым я познакомился в 1912 году, в течение тридцати лет его дружба, его присутствие в жизни, веселье и доброта помогали мне жить. В 1915 году я встретил Пабло Пикассо, и недавно — весной 1958 года — мы с ним вспоминали прошлое. Этот большой художник помог мне приблизиться к искусству. В 1920 году я работал в ТЕО, моим начальником был В.Э.Мейерхольд. Мы с ним ссорились, мирились, я любил в нем вдохновение. И.Э.Бабель был моим большим другом, его ум и сердце не раз меня приподымали. В разные эпохи я часто встречался с поэтами, назову тех, кого нет в живых, — Маяковского, Есенина, Мандельштама, Марину Цветаеву, Юлиана Тувима, Макса Жакоба, Поля Элюара, Незвала. Нужно ли говорить о том, что мне дали эти встречи?

В 1932 году я был в Кузнецке. Книга "День второй" обычно считается поворотом в моей литературной судьбе. Может быть, это и справедливо. Меня потрясло упорство людей, строивших заводы в ужасных условиях, а еще сильнее потрясло меня их

стремление приобщиться к тому духовному богатству, которое обычно называют "культурой". Я понял, что жертвы оправданы. Мысли о том, что "культуру" нужно "укоренить", сделать творчеством всех, стали для меня путеводными. Я увидел тогда и другое: необходимость правды в искусстве. Правда страшна дряхлым, и если порой ее страшатся подростки, то скорее всего от недопонимания.

Большим событием в моей жизни была Испания. Я полюбил эту страну до гражданской войны. Годы войны я провел там. Я ездил в грузовике с кинопередвижкой и типографией. Мы показывали анархистам на Арагонском фронте "Чапаева" и "Мы из Кронштадта". Там я встретился с Рафаэлем Альберти, там еще застал Антонио Мачадо. Я был на последнем заседании кортесов в бомбоубежище возле французской границы, видел, как республиканцев французские жандармы загоняли в концлагеря. Я понял тогда, что предстоит человечеству.

Я был в Париже, когда туда вошли солдаты Гитлера. За несколько недель до развязки французы меня арестовали, обвинили в связи с ... гитлеровцами. Спас меня советский поверенный в делах Н.Н. Иванов.

Вернувшись в Москву, я начал писать "Падение Парижа". Роман был почти закончен, когда немцы напали на нас. Последние десять страниц я дописал в Москве в январе 1942 года, между двумя поездками на фронт.

В годы войны я делал все, что мог. Я говорил тогда, что нужно не пытаться создавать литературу, а

ее защитить — язык, родину, народ. В те годы я подружился с очень многими людьми крепкой, солдатской дружбой. С некоторыми я и теперь переписываюсь.

После войны я написал "Бурю". Победа оказалась не такой, какой она мыслилась в землянках и блиндажах. Начали говорить о возможности новой войны, еще более ужасной. Борьба за мир стала продолжением военных лет. Я положил на нее много сил и времени, но не жалею об этом.

В последние годы мне привелось много ездить. Европу я знал и прежде, но увидел впервые Соединенные Штаты, Канаду, Китай, Чили, Аргентину, Индию, Японию. В странах Азии я открыл для себя общность культур — меня поразило не то, что разъединяет людей, но то, что их сближает.

Много трудного пришлось пережить мне, как и другим моим сверстникам. Меня часто обвиняли в желании многое проверить, в том, что несправедливо порой называют "скептицизмом". Я не люблю слепой веры, но люблю верность. Нужно уметь победить в себе вспышки обиды, отчаяния. Я до конца сохраняю верность и тем идеалам, которые смутно увидел в отрочестве, и погибшим друзьям, и советскому народу — он воистину выстрадал свое право на счастье — и трудом, и душевной силой, и потом, и слезами, и кровью.

Шестьдесят семь лет — глубокая осень жизни, а пишу я эти строки в майский день. Уже зеленеют осины, и под моим окном цветут подснежники, крокусы. Я люблю весну, как любил ее мальчиш-

кой, — значит, через все испытания я пронес самый прекрасный дар: надежду.

5 мая 1958 г.

ΠΡΟΖΑ

Пророчество Учителя о судьбах Иудейского племени

В чудный апрельский вечер собрались мы снова в парижской мастерской Учителя, на седьмом этаже одного из новых домов квартала Грэнэль. Долго стояли мы у больших окон, любуясь любимым городом с его единственными, как бы невесомыми, иллюзорными сумерками. С нами был и Шмидт, но тщетно я пытался передать ему красоту сизых домов, каменных рожиц готических церквей, свинцового отсвета медленной Сены, каштанов в цвету, первых огней вдаль и трогательной песни какого-то охрипшего старика с шарманкой под окном. Он сказал мне, что все это прекрасный музей, а музейев он с детских лет не выносит, но что есть нечто его чарующее, а именно Эйфелева башня, легкая, стройная, гнущаяся под ветром, как тростник, и непреклонная, железная невеста иных времен на нежной синеве апрельского вечера.

Так мирно беседуя, поджидали мы Учителя, который обедал с каким-то крупным интендантом. Вскоре он пришел и, спрятав в маленький сейф кучу документов, примятых в кармане, сказал весело нам:

— Сегодня я очень хорошо потрудился. Дело идет на лад. Теперь можно немного отдохнуть и побол-

тать. Только раньше, чтобы не забыть, я заготовлю текст приглашений, а ты, Алексей Спиридонович, снесешь их завтра в типографию "Унион".

Пять минут спустя он показал нам следующее:

В недалеком будущем
состоятся торжественные сеансы

УНИЧТОЖЕНИЯ ИУДЕЙСКОГО ПЛЕМЕНИ

В БУДАПЕШТЕ, КИЕВЕ, ЯФФЕ, АЛЖИРЕ
и во многих иных местах.

В программу войдут, кроме
излюбленных уважаемой публикой традиционных

ПОГРОМОВ,

также реставрированные в духе эпохи: сожжение иудеев, закапывание оных живьем в землю, опрыскивание полей иудейской кровью и новые приемы "эвакуации", "очистки от подозрительных элементов" и пр., пр.

Приглашаются кардиналы, епископы, архимандриты, английские лорды, римские бояре, русские либералы, французские журналисты, члены семьи Гогенцоллернов, греки без различия звания, а также все желающие.

О месте и времени будет объявлено особо.

Вход бесплатный.

— Учитель! — Воскликнул в ужасе Алексей Спиридонович, — это немислимо! Двадцатый век и такие гнусности! Наконец, как я могу пойти дать

это в "Унион", — я, читавший Мережковского!

— Напрасно ты думаешь, что сие несовместимо. Очень скоро, может, через два года, может, через пять лет, ты убедишься в обратном. Двадцатый век окажется очень веселым и легкомысленным веком, безо всяких моральных предрассудков, а читатели Мережковского самыми страстными посетителями этих сеансов! Видишь ли, болезни человечества — не детская корь, а старые закоренелые приступы подагры, и есть у него некоторые привычки по части лечения... Где уж на старости лет отвыкать!

Когда в Египте Нил бастовал и начиналась засуха, мудрецы вспоминали о существовании евреев, оных приглашали, с молитвами резали и землю кровью свеженькой, еврейской кропили: "Да минует нас глад!" Конечно, это не могло заменить ни дождя, ни разлившегося Нила, но все же давало некоторое удовлетворение. Впрочем, и тогда были люди осторожные, воззрений гуманных, говорившие, что зарезать несколько евреев, разумеется, не вредно, но землю окроплять их кровью не следует, ибо кровь сия ядовитая и дает вместо хлеба белену.

В Испании, когда начинались болезни, чума, либо насморк, святые отцы торжественно прощали "врагов Христа и человечества" и, обливаясь слезами, впрочем, не столь обильными, чтобы погасить костры, сжигали пару тысяч евреев. "Да минует нас мор!" Гуманисты, опасаясь высокой температуры огня и пепла, который ветер разносит всюду, осторожно, на ушко, чтобы какой-нибудь заблудший инквизитор не услышал, шептали: "Лучше бы просто уморить!.."

В южной Италии, при землетрясениях, сначала

убегали на север, потом осторожно гуськом шли назад поглядеть, — трясется ли еще земля. Евреи тоже убегали, даже всех раньше и тоже возвращались домой, позади всех. Разумеется, земля тряслась или потому, что они — иудеи — захотели этого, либо потому, что земля иудеев не захотела. В обоих случаях отдельных представителей сего племени было полезно закопать живьем, что и проделывалось не медленно. Что говорили люди передовые?.. Ах, да они очень боялись, что закопанные окончательно растрясут землю.

Вот, друзья мои, краткий экскурс в историю. А так как человечеству предстоит и глад, и мор, и приличное трясение земли, я только проявляю повышенную предусмотрительность, заказывая заранее эти приглашения .

— Учитель, — возразил Алексей Спиридонович, — разве евреи не такие же люди, как и мы? Пока Хуренито давал свой "экскурс", он протяжно вздыхал, вытирая платком глаза, но, на всякий случай отсел от меня подальше.

— Конечно, нет! Разве мяч футбола и бомба одни и те же? Или, по-твоему, могут быть братьями дедово и топор? Иудеев можно любить или ненавидеть, взирать на них с ужасом, как на поджигателей или с надеждой, как на спасителей, но их кровь не твоя и дело их не твое. Не понимаешь? Не хочешь верить? Хорошо, я попытаюсь объяснить тебе вразумительнее. Вечер тих и не жарко, за стаканом этого легкого Вуврэ я займу вас немножко детской игрой. Скажите, друзья мои, если бы вам предложили из всего человеческого языка оставить одно слово, а именно, "да" или "нет", оста-

льные упразднив, — какое бы вы предпочли? Начнем со старших. Вы, мистер Куль?

— Конечно, "да", в нем утверждение и основа. Я не люблю "нет", оно безнравственно и преступно. Даже рассчитанному рабочему, который молит меня принять его снова, я никогда не говорю этого, ожесточающего сердце "нет", но "друг мой, обожди немного, на том свете ты будешь вознагражден за "муки". Когда я показываю доллары, все мне говорят — "да". Уничтожьте какие угодно слова, но оставьте доллары и маленькое "да", и я берусь оздоровить человечество!

— По-моему, и "да" и "нет" крайности, — сказал м-р Дэле, — а я люблю во всем меру, нечто среднее. Но что же, если надо выбирать, то я говорю "да"! "Да" — это радость, порыв, что еще... Все! Madame, ваш бедный супруг скончался. По четвертому классу — не правда ли? Да! Гарсон, Дюбоннэ! Да! Зизи, ты готова? Да, да!

Алексей Спиридонович, еще потрясенный предыдущим, не мог собраться с мыслями, мычал, вскакивал, садился и наконец завопил: — Да! Верую, Господи! Причастье! "Да", священное "да" чистой тургеневской девушки! О, Лиза! "Гряди, голубица!"

Кратко и деловито, находя всю эту игру нелепой, Шмидт сказал, что словарь действительно надо пересмотреть, выкинув ряд ненужных архаизмов, как то "дух", "святыня", "ангел" и прочие, "нет" же и "да" необходимо оставить, как слова серьезные, но вчера, если бы ему пришлось выбирать, он предпочел бы "да", как нечто организующее и подсобное хорошим скрепам.

— Да! — ответил Эрколе, — во всех приятных

случаях жизни говорят "да" и только, когда гонят в шею, кричат "нет"!

Айша тоже предпочитал "да"! Когда он просит Крупто (нового бога) быть добрым, Крупто говорит "да"! Когда он просит у Учителя дать два су на шоколад, Учитель говорит "да" и дает.

— Что же ты молчишь? — спросил меня Учитель. Я не отвечал раньше, боясь раздосадовать его и друзей. Учитель, я не солгу вам — я оставил бы "нет". Видите ли, откровенно говоря, мне очень нравится, когда что-нибудь не удается, гибнет. Я очень люблю мистеля Куля, но мне было бы приятно, если бы он вдруг потерял свои доллары, так просто потерял, как пуговицу, все до единого. Или если бы клиенты м-ра Дэле перепутали бы классы. Встал бы из гроба тот, что по 16-му классу на три года и закричал бы: "Вынимай надушенные платки — хочу вне классов!" Когда чистейшая девушка, которая, подбирая юбочки, носится со своей чистотой по загаженному миру, попадает в загородной роще на решительного бродягу, тоже неплохо. И когда гарсон, поскользнувшись, роняет бутылку "Дюбоннэ", очень прекрасно! Конечно, как сказал мой прапрапрадедушка Соломон: "Время собирать камни и время их бросать". Но я простой человек, у меня одно лицо, а не два! Собирать кому-нибудь, вероятно, придется, может быть, Шмидту. А пока что я отнюдь не из оригинальничанья, а по чистой совести должен сказать: "Уничтожь "да", уничтожь на свете все и тогда само собой останется одно "нет"!

Пока я говорил, все друзья, сидевшие рядом со мной на диване, пересели в другой угол. Я остался один. Учитель обратился к Алексею Спиридоновичу:

— Теперь ты видишь, что я был прав. Произошло естественное разделение. Наш иудей остался одиноким. Можно уничтожить все гетто, стереть все "черты оседлости", срыть все границы, но ничем не заполнить этих пяти аршин, отделяющих вас от него. Мы все Робинзоны, или, если хотите, каторжники, а дальше дело характера. Один приручает паука, занимается санскритским языком и любовно подметает пол камеры. Другой бьет головой стенку, — шишка, снова бух, снова шишка и так далее; что крепче — голова или стена? Пришли греки, осмотрелись — может, квартиры и лучше бывают, без болезней, без смерти, без муки, Олимп, например! Но ничего не поделаешь — надо устраиваться в этой. А чтобы быть в хорошем настроении, лучше всего объявить все неудобства — смерть включая (которых все равно не изменишь) величайшими благами. Иудеи пришли и сразу в стенку бух! "Почему так устроено?" Вот два человека, быть бы им равными. Так нет: Иаков в фаворе, а Исав на задворках. Начинаются подкопы земли и неба, Иеговы и царей, Вавилона и Рима. Оборванцы, ночующие на ступеньках храма — эбиониты трудятся, как в котлах взрывчатое вещество, замешивают новую религию справедливости и нищеты. Теперь то полетит несокрушимый Рим! И против благолепия, против мудрости античного мира выходят нищие, невежественные, тупые сектанты. Дрожит Рим! Иудей Павел победил Марка Аврелия! Но люди обыкновенные, которые предпочитают динамиту уютный домик, начинают обживать новую веру, устраиваться в этом голом шалаше по-хорошему, по-домашнему. Христианство уже не стенобитная машина, нет, это новая крепость — страшная, го-

лая, разрушающая справедливость подменена человеческим, удобным, гуттаперчевым милосердием. Рим — мир устоял. Но, увидав это, иудейское племя отрелось от своего детеныша и начало снова вести подкопы. Даже где-нибудь в Мельбурне, сидит сейчас один и тихо не на делах, а в помыслах подкапывается. И снова что-то месят в котлах, и снова готовят новую веру, новую истину. И вот, сорок лет тому назад сады Версаля пробирают первые приступы лихорадки, точь-в-точь как сады дворца Адриана. И чванится Рим мудростью, пишут книги Сенеки, готовы храбрые когорты. Он снова дрожит, "несокрушимый Рим"!

Израиль выносил нового младенца. Вы увидите еще его дикие глаза, рыжие волосики и крепкие, как сталь, ручки. Родив, он готов умереть. Героический жест — "нет больше народов, нет больше меня, но все мы!" О, наивные, неисправимые сектанты! Вашего ребенка возьмут, вымоют, приоденут и будут они совсем, как Шмидт! Снова скажут "справедливость", но подменят ее целесообразностью. И снова уйдете вы, чтобы ненавидеть и ждать, ломать стенку и стонать "доколе"?

Отвечу, — до дней безумия вашего и их, до дней младенчества, до дней далеких. А пока будет племя это обливаться кровью роженицы, на площадях городов Европы, рожая еще одно дитя, которое его предаст.

Но как не любить мне этого заступа в тысячелетней руке? Им роют могилы, но не им ли перекапывают поле? Прольется иудейская кровь, будут аплодировать приглашенные гости, но по древним нашествиям она горше отравит землю. Великое лекарство мира!

**И, подойдя ко мне, Учитель крепко поцеловал
меня в лоб.**

”ШИФС-КАРТА”

В ”Комитете помощи жертвам погромов” счета и счета. Сколько?

В Фастове 5 погромов

В Белой Церкви 3

В Жмеринке 3

В Елизаветграде 6

В Житомире 2

А в Бердичеве? Скажите, неужели в Бердичеве ни одного?

Как объяснить? Все дело в числах. Есть буква ламед — значит 30. Есть вов — 6. Вот ради ламед-вова, ради 36 праведников Господь щадил Бердичев. А кто они такие, эти ламед-вовники? Подумать можно — раввины, ученые из йешибота, подрядчик Хайнберг, построивший глазную лечебницу, купец Дышкович, который на Пасху к сейдеру сзывает взвод солдат. Подумать можно все. На самом деле ламед-вовники спрятаны глубоко. Конечно, выложить семнадцать тысяч на больных — трудно. Но еще труднее улыбнуться Богу. А этого не могут ни Хайнберг, ни Дышкович, ни раввин. Вот разве часовщик с Житомирской, Гирш Ихенсон.

Число для человека — час. Когда перед смертью томление — тянется глаз к циферблату, хоть некуда спешить, и если глаз не видит — хрип:

— Который?

Маленькое вертится, снует и, напрягаясь, двигает большое. Когда же срок, из медной груди раздается голос. Гирш знает — чистый — радуется, сиплый, злой — печалит. Еще в секундах суть. Уйдут вперед — обида, гордость. Как какой-нибудь Дышкович, когда в субботу из синагоги выходит чванный, руки заложив за спину, а впереди несется племянник Юзька, чтобы у подъезда позвонить: Дышкович в субботу не звонит, он хочет быть ламедвовником. А если будут отставать — тоже плохо. Зачем своей печалью всех печалить? Пока заведены — должны идти. Хорошие часы у Гирша!

Тяжелые часы. Дочь вышла за скрипача из Балты. Позвали в офицерское собрание, к утру разбили скрипку, скрипача раздели, продержав часок в бочонке с кислым пивом, вываляли в снегу, как в муке. Простудился. Отскрипел. За ним — жена. Осталась Гиршу внучка. Как дочь. Зовет отцом. С ней вдвоем. Сын далеко — в Америке. Пишет редко — забыл язык, а может быть это Божьи слова невнятные и страшные. Обещает Гиршу радость. И Гирш улыбается, боясь спросить друзей — смеяться станут. Особенно одно чужое и таинственное слово: "Шифс-Карта".

— Еще немного. Будет хорошо. К тебе придет "Шифс-Карта".

Из года в года. И стало это слово, в часы беды, когда и самые хрустальные хрипят уныло — утешеньем, неизреченным именем, улыбкой Бога. Другие тоже в субботу за столом поют. Он пел: "Шифс-Карта", минуя стены синагоги прямо к Нему, Его по имени любовно окликая своим тщедуш-

ным голоском. Говорили — ”спятил”, — так обо всех, кто очень любит, говорят.

На Житомирской, в начале, большой доходный дом Зайкевича. Дорогие есть квартиры: араукарий, дама в раме, бра. У Гирша за лавкой — темная каморка. Так гонят — гиацинт, стебель тонкий, хрупкий, под колпачком — худа, в углу испуганная Лия. В первый год войны испугали. Пятнадцать было.

Вошел фельдфебель — захотел. Сивушный дух, и рыжий ус штыком царапнул шею. Отделались — будильник взял. Ушел. С тех пор всего боится. Звуки свои, понятные: бой сердца, шмыганье часов в лавчонке, кашель-лай отца. Чужие, страшные: ребячий смех во дворе, плеск кротких голубей, в печурке ветер и пуще всех шаги на улице. Боится. Нищета. Без блузки разве можно выйти на Белопольскую, где дочки Зайкевича, все крепдешин, прослушав оперетку ”Тателе”, проходят, обростая женихами? В каморке пахнет кислым хлебом и отцом — десятилетний, непроветренный сюртук, нюхательный табак и старость.

Прекрасна Лия, далекой библейской красотой. Раз в году отцу приносят ветку пальмы и лимон из Палестины. На ветку смотрит, нюхает лимон, средь духа хлебного и коечных лохмотьев. Так Лия здесь: лимон и ветвь. Бог тоже иногда грустит, в минуту грусти он выдумал Бердичев, пристава и нищету. А Лию дал, чтобы помнили, как может он порою улыбаться.

Парикмахер Залик влюблен в Лию. Горькая

любовь! Ей только слово скажешь — замечется, чуть вскрикнет, забьется в угол, где скарб и мыши. Еще одно — и останятся часы в лавке, Гирш с улыбкой окаменеет, Лия навек уйдет. Ведь сохнет ветка, от лимона — только запах на руке.

Ежиком стрижет, и вдруг забудет, вопьется в плоскогорье, — горы, пропасти, — скандал. Ус отхватит. Изрежет бритвой, и даже не стыдится. Под скрип ножниц, плеск воды и шуточки слышит хруст заломленных рук. Гирш знает — стрелка бежит навверх: час любви.

Ей Залик ничего не говорит, но приручил к своим шагам и робко часами сидит на сундуке. Гирш поет "шифс-карта". Лия чахлый угол раздувает. Сидит.

И только раз, в апреле, когда даже в Бердичеве сирень растерянно кидается в лицо, не выдержал. Схватил пульверизатор "Флер д'Эспань", вбежал к ней, завизжал: "моя!" и начал брызгать. Райский дождь. Она не убежала. Грустно улыбнулась. А больше — не могла.

Старый Гирш болел за внучку. Ей время Залика признать. Лечь рядом с мужем. Легким вскриком отметить первый час. И громким воем — рожая сына — второй. Болел, но крепче боли верил. Иногда опаздывают, станут, — дунешь и пойдут.

Кожаный картуз, готовый пожрать опухшие, слезящиеся, жалкие глаза. Один с лупой — внутрь часов глядит, мудрец. Другой — гуляка — на Лию, в небо — радуется миру. На шее красный платок. И сюртук, тот, от которого уют, тоска и старость, древний, почти что вавилонский. Ноги мерзнут. Болят почки. И все же радость.

Канун субботы. Бедную каморку пристыдили,

она подтянулась, прибрала лоскуты, боится дыму напустить, не дышит. Из синагоги — Гирш Смуглый хлеб с завитушками, хрустящими, теплыми, как пальчики Лии. Над ним — развязали золотые крылья — роятся свечи. Гирш нюхает из старой оловянной башенки, с флажком, что вертится звеня, — гвоздику. Другие радость видят или слышат. Еврей же должен нюхать, как старый волк весною на проталине, принюхиваться должен к жизни. Гвоздика пахнет хорошо, дурманно, далеким пахнет. Среди бердичевских сплетен, заказов и долгов, среди доктора Циповича, который хочет подарить вдове Лурье часы позолоченные с накладным велосипедом, умаслить и жениться, среди Рябова, который требует за промысловое стенные с боем и, ругаясь, уже сломал стекло, среди Финкельбергов, жадных, ссорящихся — что ни месяц, то починка — бьют часы, как будто часы не Божье сердце — среди этой суеты и скуки — гвоздика остро пахнет востоком, шалашом, библейским туком и святой "шифс-картой".

Есть праздник симха-тойре. В этот день Господь желает радости и смеха. Дышкович, выпив чашку сливок (вино — боится — глотнешь и сон), становится на стул, жене разбухшей с бриллиантовым павлином на животе, кричит, чтоб щекотала под мышками. Щекочет изо всех сил. Но Дышкович не смеется, еле-еле искривит свой хмурый рот. А Гирш отопьет жидкого чая и улыбнется — прямо вверх, по-детски. Зло, конечно, есть. Изгнание, война, рык, и топот пристава, печали Лии, ссоры Финкельбергов. Но все это затем, чтобы внезапней и милей, прорвав тучи над запуганным, золотушным Бердичевом, раскрылась улыбка Го-

спода. И как в ответ не улыбнуться?

Улыбался. Будто старый пергаментный свиток Торы — прятали его в подвалах, чердаках, под половицей, среди печной золы, от запорожцев, от польских усачей, от бородатых русских — вынесли на солнце. Заскрипела кожа, буквы закружились и Тора улыбнулась давшему ее.

У старого еврея — мудрость — когда тихо — можно откупиться, пройти сторонкой, вобрав и бороду и душу в сюртучок, прожить свое. Когда шумят — конец. Теперь шумят. Даже ночью. Нельзя уснуть, Гишш томится. Страшней всего, что пристав и тот исчез. Погром? Какой же без него погром! Все непонятно. А другие рады. Залик расхрабрился, бросил мылить, шляется по городу, у каждой двери вытягивает из бумажного воротника общипанную птичью шею, визжит:

— Долой!

Какие вещи говорят! На Белопольской один приезжий уверял — не только пристава, "черты" не будет, и старухе Брейдэх, у которой одна курица, да и та несется раз в неделю, по пятницам, крикнул:

— Хотите, гражданка, езжайте хоть сейчас в Москву!

И Брейдэха, от ужаса, обронив свое единственное украшение — парик, лысая, к себе засеменила. Даже не взглянула, снеслась ли курица. Прямо на сундук, закрыла лицо руками, чтоб не видеть чудовищных вещей: толпа, крикун в бараньей шапке, Москва, жандармы, царь и смерть.

Кругом все поплыло. Стоял на Белопольской

против Летнего сада городской — харкун и плут: меньше полтинника не брал. Смыло. Всех смыло. Дома не сидят, даже не гуляют, собьются вместе и бегом — куда? Как море. Гириш мальчиком был десять дней в Одессе. Море — это страшно. Теперь оно в Бердичеве. Гириш молится:

”Борух ато Адонай Элогейну!”

И весь качается, руками плещет: хочет выплыть из пучины — выше, где добрый Бог протягивает людям желтую диковинную ветку и заморский лимон.

С каждым днем все хуже. Солдаты приходили. Целовались. У вокзала стоит приказчик Берка из корсетного, весь в пулях. Может стрелять сразу и куда захочет. Дышковичу надо накладную взять, боится мимо прошмыгнуть. А может Берка в это время загорится, свистнет прямо в живот Дышковича? Пусть пропадает лучше груз. Залик клянется: есть еще страшнее — аптекарский ученик Вульф за бутылку спирта получил от солдат пушку, спрятал ее на чердак среди пасхальной посуды и хвастает, что скоро станет править Бердичевым. Ну, разве можно жить? Никто не обижает. Все смеются. Значит — плохо. Какие-то мальчишки собрались в саду, постановили: Тору отметить, на косяках дверей прибить десять пунктов революционной дисциплины:

”Стой с винтовкой, чтоб оградить завоевание революции!”

В тюрьме сидит огромный важный генерал. Смелчаки глядеть ходили. Зубами лязгает, косит кровавым глазом, ждет. Как выйдет — присту-

пит. Вчера ночью Гирш слышал — у двери в лавку акцизный Грибов, пробасил:

— Вот скоро вам покажут!..

Гирш стар и мудр. Он знает хорошо, кому и что покажут. Он знает — наступает. Томленье. Лия видит — уйдет отец, тогда?.. И еще пугливей в угол. А Залик осмелел,— в петлице лента, сам себя куда-то выбрал, — и господин. Лия его боится, хоть ночью часто снятся наглые глаза и красный полосатый галстук. Кричит со сна, как птица.

Иом — Кипур. Синагога — корабль. Гребут. В теле легкость, но трюм сердец наполнен грехами — тысяча грехов своих, чужих и вплоть до третьего колена. Корабль кренится. Жалобно вздыхает кормчий, сереброголосый курчавый раввин.

Там за стеной солдаты, флаги, стрельба и бурные листки:

”Товарищи, всем — все!”

А выше, над синагогой, над вокзалами, над трехэтажным домом Зайкевича, над воробьями, пулями, над песней кантора — раскрыта Книга. Суд. Скрипят тысячелетние весы. Сколько — кому. Не всем. Не все. Но доли, четвертные, шестнадцатые — сын, разлука, смерть. На хорах, где ласточками пред зимой дрожат и никнут женщины, старуха Брейдэха подпрыгнула, упала. От старости и трудного поста легчайшей стала. Чашка весов взлетела. Брейдэха учуяла судьбу и жалобно вцепилась. Ничего,— даже курица издохла,— а умирать не хочет. Бьется.

Внизу качается и стонет Гирш. Он тоже знает —

через этот год не переступить. Но Лия? Но Бердичев? Люди? Что хочешь Ты, великий Адонай? Темна косматая книга, как туча, как ночь, как бровь.

Гирш видит — Часовщик часы заводит. Кому спешить, кому отставать. И метит те, что жалостно натужась, прохрипят последний час. Гирш забыл свой страх и боль. С восторгом слышит скрип, и бой, и ход часов повсюду — в Бердичеве, в Одессе, в Варшаве, и дальше в Палестине, в море, в небе. Он, наклонившись, радостно глотает шум и звон.

Вдруг — чужие голоса. Смех. Смятение. Мальчишки, Берка с пулями на животе, солдаты, Залик машет флагом. Корабль затонул.

— Опомнитесь!

Но Берка, цыкнув на равнина, встал, вопит:

— Вы все отстали!.. Мы постановили!.. Бог — капиталистический продукт!.. Синагогу реквизируем!.. Клуб имени товарища Троцкого!.. Спектакль!..

Гимназистик вытащил лепешку и здесь же в рот:

— Вот вам — поститесь!

Мечутся отчаянно черные ермолки, шелковые крылья талесов, молитвенников масляные листы. Берка горланит:

”Ни Бог, ни царь и ни герой!..”

Весь в пулях, отступник! Над талесами — взметнулась, раскинув крылья, улетела Святая Книга. Гирш в беспамяත්стве бредет домой. Первая звезда. Пропели трубы. Кончен суд. Надо радоваться и не может. Хочет улыбнуться — некому. Нет Книги. Нет Творца. А разве можно улыбаться злым,

безумным людям, городу, где смех и пули, пустому небу, ничему?

С этого дня — ночь. Сидит на сундуке. Не замечает Лии. На редкий скрип — выходит:

— Починить? Нет, не могу. Пойдите к Фенкелю. Вы говорите — болен? Нет, не болен. А просто, думаю...

Да, думает. И слушает тревожный гул за окном. Три раза менялись власти. К Гиршу тоже приходили. Взяли товар. Чубастый — наспех в лавку. Пусто. Хотел прикончить Гирша — торопился. Лазурной шапкой пролетел. Гирш не дрогнул. Что ему? Дышкович трясется за золото — зарывает, выкапывает, снова в садик, ночью, ногтями разгребая землю. А Гиршу нечего терять, он потерял свою улыбку.

Теперь опять другие. Есть страшная "евсекция". Кто это слово поймет? Свои, бердичевские! Закрыли йешибот. В синагоге — клуб, развесили портреты, пьют чай и даже в мяч играют. Хотят изгнать последнюю усладу Бердичева — святую Субботу. Приказали работать, торговать. И бедная Суббота попрошайкой робко ходит из дома в дом — того попросить лавочку прикрыть под видом кражи, другого бросить иглу, как будто заболел. Невеста Божья, которую встречали "Песнью Песен", — нищенкой дрожит, за ней гоняется другое злое слово — "Комсомол". И Залик в нем. Пришел. Будто в хедере стал поучать:

— Такие классовые штуки, как суббота...

Гирш кротко поглядел и отвернулся. Лицо знакомое — безбровое, веснушчатое — тихий, пре-

жде больше стриг машинкой, ножницами трусил. Теперь не Залик — Зло.

В овраге за вокзалом стреляют. Прямо в людей. Люди лежат убитые. Гирш долго думает. Неладное выходит. И прежде тоже было зло. Только ему казалось, что где-то есть "Шифс-Карта".

Залик уходя, вдруг, грустный, нежный, шепчет:
— Лия!

И в углу — так бьются руки, так тесно сердцу — от любви и страха — что кажется вселился Тот, исчезнувший с лимоном и с мудрейшей Книгой в эту каморку, в этот угол, в эту грудь.

Но Гирш Его не видит.

Даже Дышкович Гирша пожалел. Позвал к себе. Канун субботы. Обед. Укрылся же от бури человек! В подсвечниках старинных не шелохнутся крылья свеч. Студень, картошка с черносливом, жирные пирожки. Кроме своих и Гирша — родственник Дышковича, Мойша — на днях из Брод. Едва пробрался. Зайкевич — заклятый враг Дышковича — клянется — привез с собою сахарин, не продает, выдерживает. Вздор — Мойша — не просто человек, — а голова! Ученый! Он в Бродах жил у цадика рэб'Эле. Когда к рабби приезжали за советом: жена бесплодная — женить ли сына? Как быть с наследством? Мойша гостей принимал, расспрашивал, из моря вздохов, охов, слез выуживал суть и вкратце рабби излагал. Рэб'Эле выходил с готовым наставлением. Удивлялись — откуда цадик знает? Откуда? — Подымали вверх глаза, — облупленный и паутинный потолок.— Откуда?

Мойша едет по большим делам. Везет письмо, зашитое в штаны, от рэб'Эле к другому цадику, рэб'Элиезеру, в Кременчуг. Остановился у Дыш-

ковича — передохнул. По дороге два раза били, сняли сапоги, какой-то — высокий, с каланчу — хотел из кожи Мойши скроить погоны, но, вырвав клочок молоденькой бородки, отпустил. Борода — надежда Мойши. Будет большой, торжественной. У цадика должна быть особенная борода. И грустно прикрывает плешь.

Дышкович в умилении покушав, помолившись, смотрит на Мойшу. Пусть Зайкевич знает — какие у него родственники. Только в доме ламэдвовника может встречать субботу ученик рэб"Эле из Брод.

Вырыл из сада три бутылки старого портвейна. Сам не пьет — для гостя. А Мойша пьет:

Рабби говорит — Господь на третий день создал все растенья. Для себя — польнь и розу. Для барана — траву. Для птицы — липу, чтобы было где гнездиться. Потом вспомнил — будет человек. И улыбнулся. От улыбки Божьей — лоза. Злой человек, испив, — улыбки выдержать не может, ему вино, как камень. Добрый пьет — добреет.

И добрый Мойша много пьет. А Гириш, должно быть, злой. Едва попробовал — еще грустнее стало.

Мойша рассказывает. У рабби много дел. Он молится и думает. А в передней уже толпятся из Брод, из Тарнополя, из Проскурова — все за советом. Можно ли выдать дочку за большевика (по субботам курит)? — Дом разгромлен, флигель цел — как поделить? — Чем заменить пасхальное вино? — Рабби знает.

Гиришу странно. Как будто все по-прежнему: желятсья, рожат детей, хворают, ссорятсья из-за денег, празднуют праздники. Ведь это провалилось: и Бог,

и праздники, и дети. Остались выстрелы, комсомол и Зло.

Дышкович, чтобы показать, какой он умный (Гирш Зайкевичу расскажет), какие у него беседы за столом, прочитав последнюю молитву, спрашивает:

— А что говорит рэб'Эле о событиях? Ведь это чистый ужас: отбирают бриллианты, заставляют всех почтенных людей копать огород, заняли синагогу. Послушать интересно цадика — разве можно теперь жить.

Мойша загадочно глядит. Кивает головой. Молчит. Еще стакан допив — всех удостаивает:

— Я тоже рабби об этом спрашивал. Он показал мне книгу Зогар: "Зло — складки на одежде Бога". Я прочел, подумал и не понял. На следующее утро я снова подступил к рабби:

— Рабби, почему же Всемогущий не выбрал себе другой одежды?

Рабби ответил:

— Потому что в этих складках Он живет.

Я выслушал, подумал и не понял. Я побоялся, не во сне ли слышу такие страшные слова. Ущипнул себя. Вскрикнул. Нет, не сплю.

На третье утро я опять:

— Рабби, неужели Вседержитель не нашел себе другого места?

Рабби приказал мне одеться. Мы долго молчали. За месяц перед этим Броды брали поляки. Сожгли синагогу. Обгорелые камни. Страшно. Рабби поднял горсточку пепла. Прижал к губам:

— Вот это — Тора. Кто сжег — освободил. Слова теперь, как птицы. В руке, державшей спичку — жил Господь. И спичка на ветру не погасала...

Я снова ущипнул себя. Опять не сплю. Понять не пробовал. И вы не пробуйте — все равно не поймете.

Дышкович и не хочет пробовать. От пирожков отяжелел. Главное — в его доме такие разговоры! Как будто он ученый каббалист.

Но Гирш, бедняга Гирш привстал, не дышит. Здесь, за узким длинным столом, среди надломленных хлебов и духоты — забытая улыбка. И как не понимал он раньше. Думал — Лия, ветка, вечер — одно, другое — пристав, пуля, комсомол. Все вместе. И на хозяйское место за длинным, самым длинным столом — от земли до звезд — на пустовавшее место снова сел Единый, ласковый и страшный. К Нему, протягивая подслеповатые глаза, обшмыганную бороду, сухие сучья-руки, — Гирш:

— Скажи, ведь это Ты?

И Мойша, опьяненный двойной улыбкой, в стакане старого портвейна и на лице чудака, не может замолчать. Хоть рабби ему велел молчать. Мойша еще молод. Другого лучше бы послали...

— Тсс!.. Рабби больше знает. Рабби знает все. Он пишет в Кременчуг, что близок час. Куст загорелся в рассеянии. Мессия. Видят и не знают — из рода Давидова. Среди нас. Все смотрят — зло. Он в зле. Кровь. В крови. Рабби понял это. Рабби знает все.

Мойша кончил. Горд. А Гирш вокруг стола — мелкой рысью. За Ним, за светом, за улыбкой. Теперь он знает. Близко все. Об этом сын еще писал — таинственное имя, из рода Давидова. Гряди ж! Гряди!

И Гирш трусит, и Гирш поет:

— Так это Ты! Ши-ифс Ка-арта!

Мойша:

— Кто это? Что с ним?

Дышкович:

— Сумасшедший. Но честный человек и ламед-вовник.

Гирш улыбнулся. Убежал.

В лавке праздник. Тяжелый пост, день разрушения Храма, надо причитать и плакать — Гирш топотом плясал на месте, танцуя, веселясь, пока полумертвый не упал на койку. Работать не хочет. Зачем теперь часы, когда последний час? Одно — он ждет. На коне проскачет по Житомирской — из рода Давидова — зовут Шифс-Карта — и у дома Зайкевича коня придержит. Войдут старик и Лия.

Впрочем, Лия ждет другого. Любовь сильнее страха. Залик приходил в военном, на лбу звезда, шумел:

— Мы сделаем в Европе революцию. Ты думаешь, я парикмахер — я политком!

Но это для фасона. Лие:

— Я боюсь тебе сказать. Ты знаешь. Я даже, несмотря на убеждения, пойду к раввину. Лия, я говорю вот эти резолюции — и все о тебе... Меня повесят. Но это ничего. Ведь я люблю...

Ночью Лия осмелилась. Отцу — он спать не хочет, все ждет и ждет — одно лишь слово: — Залик.

Гирш ласково погладил смуглую, прожженную давним Хананейским солнцем руку:

— Я знаю. Обожди немного! Он придет! Жених.

Чека схватила Мойшу за спекуляцию. Зайкевич ухмылялся:

— Хорошенькое дело. От цадика с письмом, а между прочим — сахарин. Он цадика и в глаза не видал, а в Бродах делал пейсаховку из неочищенного спирта, без наблюдения раввина. Потом лакеем был в кофейне „Лео“, и бороду ему вырвал поляк за то, что он подал вместо водки содовую воду.

Так говорит Зайкевич. Может быть, и правда. Гиршу все равно.

Зайкевич горд. Он презирает сахарин: торгует бриллиантами, марками, турецкими лирами. Почтенная торговля. Сознывая это, гордо несет, меж комсомолов и солдат, по Белопольской свой живот, украшенный двумя рядами стеклянных пуговок и золотым жетоном — щит Давида. Важно — Дышковичу:

— Большая партия по девять тысяч за сто...

В городе тревожно. Уже не только ружья — пушки. Залик прочел в газете, — ”надо хлопнуть дверью” — подумал, и Зайкевича на всякий случай арестовал.

И, наконец, — гром — бух! Суетня. Вокзал. Евсекция на крышах теплушек. Грибов вытащил из сундучка икону, хрипит:

— Мы — им!

Из трубы дымок — наспех жгут мандаты, газеты, паспорта. Бух, бух. Вот это близко!

Сарра, выкини ты красное одеяло! Зачем их волновать.

Бух! Ну, это рядом! Тихо. Смерть.

И только Гирш — подняв высоко к небу рюмку с водой — (горе, нет вина) — подпрыгивает на сто-

ле, и славит Того, Кто подступает — великого Мессию.

Быть может, ламедвовник умер. Осталось только тридцать пять. Кто знает? Но одно — погром.

Дома, как крепости. На улице тяжелый цокот, пальба, вой. Дайнберг — из Киева, приезжий, адвокат — собрал жильцов. Давать ли выкуп? Сколько? По-киевскому хочет:

— Выбрать председателя.

Но Зайкевич (утром из тюрьмы) не может:

— Какие разговоры! Кладите деньги!

Кладут. И даже Брейдэха из подвала принесла какую-то рваную латаную бумажку.

А кто пойдет давать? Есть в доме русский — учитель Тещенко — эс-эр, большой добряк. Любит березку, дух, народ. К нему:

— Нет, что вы?.. Я не могу... Конечно, сам я принципиально против, но...

Когда ушли — жене:

— Ты знаешь — я передовых воззрений... Но есть в евреях нечто...

И жена:

— Еще бы! Чтоб из-за жидов рисковать? Никогда!

Кто деньги даст? Советские и марки.

Вдруг Зайкевич захрипел:

— Здесь Залик. Он ведь... Из-за него всем крышка...

— Выкинуть его, а будет упираться — позвать...

Залик слышит. Сначала ярость: зачем не хлопнул дверь. Потом одно — внизу в каморке Лия.

— Я сам уйду — пускай берут.

— Себе — пускай — ведь я люблю — и хруст руки и где-то райский дождь — "Флер д'Эспань" — брызги, слезы, вздох. Ушел.

Зайкевич — Гирша:

— А ты что думаешь? Ну, сумасшедший ламедва-
ник?

Гирш весело к нему — обнять.

— Ведь это ж праздник! Час! Мессия!

— Уберите вы его! Он спятил! В такое время, и
шутить!..

Из комнаты вглуби ужасный крик: жена Зайке-
вича рожает. Ни доктора, ни акушерки. Одна. Уж у
ворот гуд, звон стекла, плач — напротив.

Собрания больше нет. Рубли и марки на столе.
Все скатились. Кто в погреб, где вино Зайкевича,
кто под кровать, кто тщетно выть у запертой на
две цепочки двери Тещенко. Зайкевич, бросив же-
ну — под лестницу. Посередине двора лысая Брей-
дэха в рубашке на корточках, молча ждет.

Гирш у себя:

— Лия, сейчас к тебе придет жених!

И Лия — где страх? — улыбаясь, к осколку зер-
кала. К груди прикальвует красную звезду. У За-
лика была на шапке, он вчера снял, попросил при-
прятать. Увидит, и еще сильнее полюбит. Убрала ка-
морку. Зажгла субботний семисвечник.

Гирш молится. Потом к двери. Гремят засовы.
Вышел. У ворот на лошади — высокий. Гирша от-
толкнул — и в лавку. Запер. Гирш кругом во двор.
Вопит:

— Пришел! Пришел!

Со второго, в ответ ужасный вопль, — рожает.

Вышел. Гирш к нему. Отгоняет — молчит. Идет к
подъезду. А кругом уже спуют другие. Гирш хочет
встретить, возликовать, упасть. Помнит — ”в склад-
ках одежды Бог...” Вцепился в рукава. Ищет. Ша-
рит. Грудь. Рука прилипла. В складке теплое, свя-

тое — кровь. Гирш может улыбнуться:

— Ты пришел, Шифс-Карта!

Гирш может умереть.

Офицер брезгливо старика отталкивает. Взглянул на френч и пятнышко тщательно вытер надушенным платком. Своим:

— Ну, можете почистить!

Потом на дверь, где вывеска "Часовой мастер Гирш Ихенсон" — с усмешкой:

— Сюда — не стоит. Здесь уж чисто.

Утром — тишина. В большом трехэтажном доме купца Зайкевича — никого. Только на втором — едва попискивает, как мышь — забытый живой младенец. У ворот лежит Гирш. Ветер гонит клочья желтой бороды. Крыльями упали, распластались фалды сюртука. А на лице улыбка.

ТРЕТЬЯ ТРУБКА

Когда ослу говорят, что впереди ночлег, а позади овраг, осел ревет и повертывается назад. На то он осел. А кроме ослов никто против истин явных и вечных возражать не станет. Когда салоникский старьевщик Иошуа попросил у меня за старую трубку из левантской красной земли с жасминовым стволом и янтарным наконечником — две лиры, — я смутился, ибо в соседней табачной лавке такая же трубка, чистенькая, новая, без трещин и пятен, стоила два пиастра. Но Иошуа сказал мне:

— Конечно, лира — не пиастр, но и трубка Иошуи — не новая трубка. Все, созданное для забавы глупых, старея, портится и дешевет. Все, созданное для услады мудрых с годами растет в цене. За молодую девушку франтик платит двадцать пиастров, а старой потаскушке он не даст и чашки кофея. Но великий Маймонид в десять лет был ребенком среди других детей, а когда ему исполнилось пятьдесят лет, все ученые мужи Европы, Азии и Африки толпились в сенях его дома, ожидая, пока он выпроит изо рта слова, равные каждое полновесному червонцу. Я прошу у тебя за трубку две лиры, ибо каждый день я ее семь раз курил, кроме дня субботнего, когда не курил вовсе. И в первый раз я ее закурил после смерти моего незабвенного от-

ца Элезара бен Элиа, было мне тогда восемнадцать лет, а теперь мне шестьдесят восемь. Разве пятьдесят лет работы Йошуе не стоят двух лир?

Я не уподобился ослу и не стал возражать против истины. Я дал Йошуе две лиры и поблагодарил его от всей души за достойное наставление. Это так растрогало старого старьевщика, что он попросил меня зайти в дом, усадил в покойное азиатское кресло между прабабушкой, разбитой параличом и правнуком, восседавшим на вещи круглой и европейской, угостил сразу всей сладостью и горечью иудейского племени, то есть редькой с медом, и продолжил свои поученья, может быть, из природного прозелитизма, а может, надеясь получить и за оные добрые турецкие лиры.

Я услышал много высоких абстрактных истин и мелких практических советов. Я узнал, что когда рождается кто-либо, надо порадоваться, ибо жизнь лучше смерти, а когда кто-либо умирает, огорчаться тоже не подобает, ибо смерть лучше жизни. Я узнал также, что купив меховую шапку, ее лучше всего побрызгать лавандовой настойкой, чтобы покойный бобер не испытал посмертного польсения, и что, скушав много пирожков на бараньем сале, надлежит закусить их корнем лакричника и неоднократно мягко потереть свой живот справа налево, чтобы избавиться от изжоги. Я узнал еще много иного, хоть и не вошедшего ни в Талмуд, ни в Агаду, но необходимого каждому иудею, желающему всесторонне воспитать своих сыновей. Со временем я, вероятно, издам эти поучения салоникского старьевщика Йошуи, пока же ограничусь изложением одной истории, тесно связанной с моим приоб-

ретенем — истории о том, как и почему юный Иошуа начал курить трубку из красной левантской земли, с жасминовым стволом и янтарным наконечником. Я передам эту историю во всей ее красноречивой простоте. Мудрость древнего народа в ней сочетается с его неумной страстностью, принесенной из знойной Ханаанской земли в степные и умеренные страны рассеяния. Я знаю, что она покажется многим кощунственной, и что, пожалуй, иные евреи станут даже оспаривать, что я действительно обрезанный еврей, несмотря на всю очевидность этого. Но в истории трубки Иошуи скрыта под грубой оболочкой благоуханная истина, а против истины, как я уже сказал, возражают лишь ослы.

Пятьдесят лет тому назад престарелый Элезар бен Элиа заболел несварением желудка. Вероятно, за свою жизнь он съел немало пирожков на бараньем сале, и так как сыновья отцов не учат, тем паче мертвых, то и Иошуа, узнавший много позже о целительном действии корня лакричника, в те дни никак не мог облегчить его страданий. Почувствовав приближение конца, Элезар бен Элиа собрал вокруг своего ложа четырех сыновей: Иегуду, Лейбу, Ицоха и Иошую. Кроме четырех сыновей, у Элезара бен Элиа были еще четыре дочери, но он не призвал их, во-первых, потому что все они были замужем, во-вторых, потому, что женщине незачем присутствовать там, где один мужчина получает другого. А именно для мудрых наставлений, не для праздной беседы, собрал Элезар своих сыновей.

Прежде всего он обратился ко всем четверем с проникновенным вступлением: "суета сует, все

суета и томленье духа”, но так как это было отнюдь не ново, и все четыре в свое время в школе за легкое искажение сего текста ощущали прикосновения длани учителя к пухлым детским щечкам, то услышав знакомые слова, они нисколько не изумились, а терпеливо стали ждать дальнейшего. Отец попытался подкрепить мысль Экклезиаста опытом своей долгой и тягостной жизни. Он за семьдесят пять лет познал суетность всех желаний и заклинал сыновей отгонять от себя всяческие вожделения. Жизнь, по его словам, была подобна бабочке: прекрасная издалека, пойманная, она линяет и марает пальцы человека своей жалкой пылью. Мечтать о чем-либо — значит обладать многим, получить что-либо — значит тотчас же все потерять. Но и эти глубокие истины показались сыновьям похожими на нечто, много раз слышанное, между библейской дланью учителя и освежающими розгами, поэтому они почтительно попросили отца перейти к самой сути дела. Элеазар бен Элиа тогда подозвал к себе старшего сына Иегуду:

— Когда я был молод, как ты, — я вздыхал о любви. В синагоге, вместо того, чтобы, покачиваясь, честно молиться, я задираю голову вверх и глядел на женщин, напоминавших ласточек, щебечущих под крышей дома. Однажды, проходя мимо турецкой бани, я услышал звук поцелуя и нашел его более прекрасным, нежели напев молитв утренних или вечерних.

Будучи скромным и бедным евреем, сыном мудрого меховщика Элии, я не мог пойти в кофейные или в бани, где греки и турки получали за несколько пиастров для глаз — оперенье заморских ласточек, для уха — серебряный звон поцелуев, для но-

са — дыханье розового масла и черных, нагретых солнцем, волос, для пальцев — прикосновение кожи, более мягкой, нежели константинопольские ковры, для языка — слюну, которая слаще критского вина. Все это было не для меня. Но Господь снизошел к бедному Элеазару и, протомившись в сладчайшем ожидании три года, я нашел, наконец, дочь Боруха, портного из Адрианополя — Ребекку, твою мать. Правда, с виду она походила на лысеющую ворону, кожа ее была жестче бульжной мостовой салоницких набережных, ее поцелуи грохотали, как удары палкой по жестяной кастрюльке, запах, исходивший от нее, состоял из пота, горчичного масла и камбалы, а слюна напоминала рыбью желчь. Но Ребекка была честной еврейской девушкой, не погнушавшейся выйти замуж за бедного Элеазара.

Сын мой, я не попущу плохого слова о твоей покойной матери, да будет земля ей легче верблюжьего пуха. Но, умирая, скажу тебе: я знал любовь до того часа, когда познал, наконец, что такое любовь. Я оставляю тебе наследство — оловянное кольцо, которое надел я некогда на грязный палец Ребекки, — носи его сам. На твоей руке оно будет счастливой любовной сетью, на женской станет торжной цепью.

— Отец, — возразил Иегуда, — твоя жизнь лучше твоих поучений. Если б ты только мечтал о турецких банях или о греческих кофейнях, ни я, ни мои братья не увидели бы света.

Сказав это, он взял оловянное кольцо и вышел. По словам Иошуи подарок отца и его наставленья помогли Иегуде счастливо прожить свой век, а именно он стал немедленно и с редким усердием

искать себе невесту, встретился вскоре с красивой и к тому же богатой дочерью купца Ханой и, умиленный, надел на ее розовый палец скромное отцовское кольцо.

Далее Элеазар бен Элиа стал поучать второго сына Лейбу:

— Увидав, что любовь только сон, я обратился к веселью. Я завидовал всем, кто смеялся, пел и плясал. Я подсматривал издали танцы на греческих свадьбах, подслушивал песни арабов, бродил по базарам и, встречая ватагу пьяных забулдыг, восторженно ухмылялся. Мне не было весело — очень трудно, чтобы бедному еврею, у которого к тому же жена и дети, было весело, но я верил, что, если сильно захотеть, можно развеселиться. Я начал тихонько от матери твоей, Ребекки, во дворе прыгать, закидывать ноги и мотать головой, как это делали ловкие греки. Я даже достиг искусства, подражая одной турчанке, которая плясала на базаре, двигая своим тощим вислым животом так, чтобы при этом все тело оставалось неподвижным. Закончив танцы, я приступил к песням — я изучил щебет греков, плач турок, любовные вздохи арабов и даже странные звуки, напоминавшие икоту, приезжих мадьяр. Постигнув все тайны веселья, я продал свои последние штаны, купил на них бутылку вина, и выпив ее до дна, принялся веселиться, то есть танцевать, петь и смеяться одновременно. Но веселье вблизи оказалось очень скучным. Сын мой, заклинаю тебя, удовлетворись тем, что другие веселятся, сам же ходи всегда с опущенной вниз головой — и ты будешь счастлив. Я оставляю тебе в наследство пустую бутылку. Когда жажда веселья овладеет тобой, подыми ее высоко и долго гляди на пустое доньшко.

Это поученье, казалось, должно было упасть на благодатную почву, ибо Лейба с рожденья отличался редкой угрюмостью. Когда во время радостного праздника Симхастойре, он приходил в синагогу, дряхлые, почти выжившие из ума праведники, глядя на его унылое, постное лицо, думали, что они перепутали дни календаря и начинали петь молитвы, приуроченные ко дню разрушения Храма. Выслушав слова отца, Лейба все же глубоко заинтересовался неизвестными ему доселе вокальными и хореографическими способностями Элезара бен Элии и сказал:

— Отец, покажи мне воочию, как ты веселился, и я навеки познаю тщету этого занятия.

Элезар горячо любил своих детей и, несмотря на свои семьдесят пять лет, а также на несварение желудка, он привстал с ложа и принялся подпрыгивать, выставлять всячески морщинистый древний живот, бегать рысью, скакать галопом, икать, как сто мадьяр вместе, и чирикать, как маленькая канарейка. Труды его не пропали даром, — Лейба, до этого дня никогда не улыбавшийся, громко расхохотался, он даже не смог ничего ответить отцу, гогоча и дрыгая добродетельными худыми ножками. Наконец, схватив пустую бутылку, он выбежал прочь.

Жизнь его также сложилась хорошо, под светлым впечатлением отцовских заветов. Став самым веселым человеком Салоник, он поступил в балаган на главном базаре и немало зарабатывал. Никто не умел лучше его ворочать животом, издавать низкие утробные звуки, исполнять на пустой бутылке похоронные арии, так что жирные греки со смеху

катались по полу, подобные розовым небесным мячам.

Несколько смущенный сильным впечатлением, произведенным на Лейбу его мудростью, Элезар бен Элиа сказал третьему сыну, Ицоху:

— Познав тщету веселья, я раскрыл книги и перешел к наукам. Но — бедный еврей — я должен был довольствоваться тремя книгами: молитвенником, арабским толкователем снов и руководством к взысканью процентов. Я прочел их с начала до конца, так, как читают евреи, потом еще раз с конца до начала, согласно обычаю христиан, и, увы, я все понял легко и просто. Знание же лишь тогда заманчиво, когда оно мнится непостижимым. Я узнал, что если бы я действительно был праведным и не занимался вращением своего живота, Бог наградил бы меня, Элезара, и весь мой род до двадцатого колена включительно, тучными пастбищами, также, что если бы мне приснились когда-нибудь белые мыши, я получил бы наследство от богатого тестя, хотя никакого тестя, даже бедного, у меня нет, наконец, что если кто-нибудь был бы мне должен хоть один пиастр, я смог бы по всем правилам высчитать, сколько приросло на этот пиастр процентов. Все это наполнило меня скукой. Я уж готов был презреть науку, как презрел раньше любовь и веселье. Но новые соблазны открылись мне. Мать твоя, Ребекка, ненавидела мои книги и раз, воспользовавшись тем, что я задремал, подсчитывая проценты, обратила все три толстых тома на растопку жаровни. Она пощадила только кожаные переплеты, которые казались ей вещами безвредными и даже имеющими ценность. Плача над гибелью книг, хотя и разоблаченных мной в их лжемудрости, я сжимал перепле-

ты, подобно одеждам дорогого покойника. Вдруг я заметил, что к коже, облачавшей еще недавно молитвенник, приклеен листок с письменами на неизвестном мне языке. Я сразу догадался, что здесь именно таится непостижимое знание. Я отнес листок к мудрому Абраму бен Израэль, и он сказал мне, что эти слова написаны на языке голландском, ему также неизвестном. Сын мой, второй раз в жизни я продал самую необходимую вещь — штаны и купил учебник голландского языка. По ночам, когда Ребекка спала, я изучал тысячи труднейших слов, у которых, как у диковинных цветов, были труднейшие корни. Прошло три года, пока, наконец, я смог разобрать, что было написано на листочке, приклеенном к коже, облакавшей когда-то молитвенник. Это были советы, как лучше всего шлифовать крупные алмазы. Но никогда я не видел никакого, даже самого мелкого, алмаза. Правда, на берегу моря я находил порой блестящие камешки, но они совершенно не поддавались шлифовке. Я оставляю тебе этот листок, как явное свидетельство тщеты знания. Удовлетворяйся приятным сознанием, что на свете много непонятных языков и непрочитанных книг. Пусть другие учатся, портят глаза и сжигают зря масло.

Ицох поблагодарил отца за листок бумаги, с переводом, тщательно приписанным к нему рукой Элеазара бен Элиа, и сказал:

— По-моему, ты не напрасно изучал голландский язык. Масло все равно бы сгорело и твои глаза все равно бы испортились, потому что маслу подобает сгореть, а глазам с годами портиться. По крайней мере, ты меня научил, как надо шлифовать крупные алмазы. Кто знает, может быть, я найду другой

листок, где будет сказано, как разыскать эти каменья, и стану тогда самым богатым купцом Салоник.

Иошуа рассказал мне, что Ицох действительно разбогател. Правда, он не нашел трактата о том, как находить крупные алмазы, но, очевидно, другие прочитанные им фолианты дополнили наследство отца, так как он открыл мастерскую фальшивых бриллиантов. Дела его идут блестяще, и совесть его чиста, ибо если в Талмуде и осуждаются фальшивомонетки, то там ничего не сказано о тех, кто изготавливает честно фальшивые каменья.

Отправив трех старших сыновей, довольных наиданиями и наследством, Элеазар бен Элиа остался вдвоем с младшим сыном Иошуей, который был тогда глупым юношей без определенных занятий, а теперь является самым уважаемым старьевщиком города Салоник.

— Младший и любимый сын, — проникновенно начал Элеазар, — когда ты родился, я был уже стар и мудр. Я больше не предавался ни наукам, ни веселью, ни любви. Я даже толком не понимаю, кстати будь сказано, несмотря на всю свою мудрость, как это случилось, что ты родился. Я долго думал о том, чем мне теперь заняться и чем заменить шершавые икры матери твоей Ребекки, пустую бутылку и сгоревшие в жаровне книги. Размышляя, я выходил на улицу и видел, как на порьгах домов турки, греки, евреи курят длинные трубки с чашечками, подобными раскрытым цветкам тюльпана. Я уже заметил прежде, что люди, предающиеся любви, веселью и наукам, быстро устают от своих занятий. Турок, подбирая свои шаровары, спешит уйти от десяти самых прекрасных жен. Грек, выпив крит-

ского вина, пропев и проплясав, ложится на мостовую и начинает корчиться от усталости, а порой и от болезни. Самый мудрый еврей засыпает над Талмудом. Очевидно, трубка была выше всех прочих усад, ибо никто никогда не уставал подносить ее к вечно жаждущему рту. Дойдя до этого, сын мой, в третий и последний раз продал я штаны, сделанные мне Ребеккой из ее свадебного платья. На вырученные два пиастра я купил себе хорошую трубку из левантской земли, с жасминовым стволом и янтарным наконечником. Но, когда я принес ее домой и, распечатав пачку смирнского табаку, готов был поднести уголек к тюльпановым лепесткам, голос мудрости остановил меня:

— Элеазар, сказал я себе, неужели ты напрасно ласкал Ребекку, вертел животом и изучал голландские корни? Зажженная трубка окажется хуже этой, никогда не изведанной. Глупец, не дай твоему счастью изойти мгновенным дымом.

С этого дня каждый вечер я вынимал из-под кровати тщательно хранимую от ревнивых взоров Ребекки заветную трубку и благоговейно касался губами золотого янтаря. Он напоминал мне солнце и кончики грудей прекрасных женщин в турецких банях, которых никогда не сможет увидеть наяву бедный еврей. Я вдыхал запах жасминового дерева, и ствол как бы зацветал белыми хлопьями. На нем пели соловьи лучше, чем самые искусные греки. Красная земля мне напоминала Священную землю, где покоятся кости патриархов и пророков, со всей мудростью, которая больше книг еврейских и даже голландских. Так, не куря, я был со своей трубкой счастливее всех турок, греков и евреев, на порогах домов безумно испепеляющих и развеваю-

щих свое счастье. Сын мой, я оставляю тебе эту трубку и я молю тебя — не вздумай огнем осквернять ее холодное девичье тело!..

Велико было негодование молодого Иошуи, услышавшего эти речи.

— Отец, если бы ты не плевал бы в трубку, подобно евнуху, а курил бы ее толком — она бы, обкуренная, стояла теперь, по меньшей мере, десять пиастров.

Иошуа был нрава буйного и горячего. Возмущенный потерей восьми пиастров, а пуще этого глупостью отца, прикидывающегося мудрым, он схватил трубку и чашечкой ее, подобной раскрытому цветку тюльпана, ударил по лбу Элеазара бен Элиа. Вопреки общепринятому мнению о том, что левантская глина отличается хрупкостью, трубка осталась целой, хотя лоб мудрого Элеазара бен Элии славился в Салониках своей крепостью, достойной мрамора. Зато Элеазар вскоре после этого закрыл навеки испорченные чтением голландских трактатов глаза. Конечно, Иошуа и его благородное негодование тут ни при чем. Как явствует из предыдущего, старик готов был умереть от несварения желудка и, закончив наставления, ввиду отсутствия пятого сына, привел свои намерения в исполнение.

Иошуа, не задумываясь, впрочем, в ту минуту над юридическим или медицинским выяснением непосредственных причин смерти Элеазара бен Элии, побежал в кухню, достал из жаровни уголек и быстро закурил унаследованную трубку. С тех пор в течение пятидесяти лет он не расставался с нею. Будучи человеком богомольным и праведным, он впоследствии заинтересовался своим поступком, предшествовавшим кончине отца и, подумав, нашел

его угодным Богу. За почитание родителей полагается долголетие, но так как Иошуе исполнилось уже шестьдесят восемь лет, и он обладал еще отменным здоровьем, то ясно, что никакого непочитанья с его стороны не было. С другой стороны, сам Элеазар перед смертью намекнул Иошуе, что причины рожденья сына неясны, так же, как оказались впоследствии неясны причины смерти отца. Наконец, заповеди, как и все законы, были даны для повседневного употребления, а не для таких исключительных случаев, как унаследование сыном необкуренной трубки лжемудрого отца. Итак, Иошуа курил свою трубку до шестидесяти восьми лет и продал ее лишь потому, что, надеясь прожить еще по меньшей мере лет тридцать, решил обкурить вторую трубку, удовлетворенный первой, давшей две лиры чистой прибыли.

Я бережно храню трубку Иошуи часто закуриваю ее вечером, лежа на диване, но никак не могу докурить до конца. Это объясняется не ее вместительностью, а исключительно высокодуховными переживаниями. Каждый раз, как я касаюсь губами янтарного наконечника, я вспоминаю жалкую жизнь Элеазара бен Элии, увенчавшуюся слишком поздним уроком Иошуи. Я принимаюсь сожалеть не о том, что было в моей жизни, а о многом, что могло только быть и чего не было. Перед моими глазами начинают рябить географические карты неизвестных мне стран, разномастные глаза не целовавших меня женщин, пестрые обложки ненаписанных мною книг. Я кидаюсь к столу или к двери. А так как ни путешествовать, ни целоваться, ни писать рассказы с огромной трубкой, напоминающей раскрытый цветок тюльпана, явно невозможно, то

она остается одна, едва согретая первым дыханием. А посмотрев новый город, где люди, как всюду, плодятся и умирают, поцеловав еще одну женщину, которая, как все, сначала читает стихи, а потом спит, похрапывая, написав рассказ в полпечатных листа, похожий на тысячи других рассказов — о любви или о смерти, о мудрости или о глупости, — я возвращаюсь на тот же протертый диван с сожалением — отчего я не докурил моей трубки?

Так за две турецких лиры я приобрел вещь, которая в зубах другого являлась бы источником блаженства и спокойствия, а в моих напоминает Танталову чашу, — пенящуюся рядом и трижды недоступную.

БУРНАЯ ЖИЗНЬ ЛАЗИКА РОЙТШВАНЕЦА

I

Можно сказать, что вся бурная жизнь Лазика началась с неосторожного вздоха. Лучше было бы ему не вздыхать!..

Но неизвестно о каком Лазике идет речь. Лазиков много — хотя бы Лазик Рохенштейн, тот, кто в клубе «Красный Прорыв» изображал императора Павла и естественно при этом хрюкал (а штаны, кетати, — на пол, штаны были Журавлевские); или же Лазик Ильманович, секретарь уездного комитета, обжора, каких мало, в прошлом году, не боясь партчистки, лопал мацу с яйцами и еще, нахал, на губздрав ссылался, якобы питательность велика, к тому же не образует газов.

Вот и в Одессе прозябает какой-то Лазик. Читал я там лекцию о французской литературе. Записок, как полагается, ворох, здесь и «какого вы класса будете», и «расскажите нам лучше об экспедиции товарища Козлова», и «отвечай, цюцкин внук, за сколько фунтов проданся» — и такая вот: «Шапиро, погляди-ка, Лазик уже спит». Я, хоть и не Шапиро, любопытствовал. Народу, однако, много; так и не разыскал я этого сонливого Лазика, не знаю даже, кто он, одно ясно — невежа, другие учатся, а он дрыхнет.

Нет, Лазик Ройтшванец никогда не падал так низко.

Знаю я, сразу скажут: «а фамилия у него того...». Не спорю, бывают фамилии и покрасивей, даже среди «мужеских портных» Гомеля, не говоря уже о право-

славном духовенстве. Например, Розенблюм или Аффельбаум. Но кто же обращает внимание на фамилию?

Наконец, что стоило Лазику стать в наши дни хоть самим Спартаксом Розалюксембургским? Ведь превратился же счетовод «Беллеса» Онисим Афанасьевич Кучевод в Аполлона Энтузиастова. Это дело двух рублей и вдохновения. Если не польстился Лазик Ройтшванец на какое-нибудь плодородное дерево, были у него, разумеется, свои резоны. Крепко держался он за невзрачную фамилию, хоть барышни и взвизгивали: «ай-ай-ай»...

Фамилия входила в разумный план его жизни. Чьи портреты красовались над крохотной кроваткой Лазика? Ответить трудно. Сколько портретов — вот что спрошу я. Да никак не менее сотни. Всем известно, что гомельские портные любят украшать стены разными испанскими дезабилье. Но Лазик был не дурак. Красоток он разглядывал, сидя в гостях, а свои стенки покрыл портретами, вырезанными из «Огонька».

Вот тот мужчина с рачьими глазищами — знаете, кто это? Пензенский делегат «Доброхима». А юноша в купальном костюмчике, задравший к солнцу ляжку, — это знаменитый пролетарский бард Шурка Бездомный. Направо — международные секции. Не узнаете? Бич португальских палачей Мигуэль Траканца. Налево? Тсс!.. Закоренелый боец, товарищ Шмурыгин — председатель гомельской... Поняли?

Правда, к этим вдохновенным портретам примазалась фотография покойной тети Лазика Хаси Ройтшванец, которая торговала в Глухове свежими яичками. Среди мраморных колоннад бедная тетя Хася глядела перепуганно и сосредоточенно, чуть приоткрыв ротик, как курица, готовая снести яйцо. Однако, и на нее Лазик как-то показал ответственному съемщику Пфейферу:

— Это вождь всех пролетарских ячеек Парижа У нее такой стаж, что можно сойти с ума. Вы только взгляните на эти глаза, полные последней решимости....

Днем бойцы охраняли Лазику; по ночам они пуга-

ли его. Даже португальский бичь среди подозрительной тишины вмешивался в личную жизнь Ройтшванца: «ты скрыл от фининспектора брюки Пфейфера, коверкот заказчика и галифэ Семке из своего материала... А ты знаешь, что такое Соловки? Значит, гомельский портной хочет; между прочим, в монастырь? Ты показал восемьдесят вместо ста пятнадцати. Очень хорошо! А в Соловках может быть сто градусов мороза. Да, это тебе, Лазик Ройтшванец, не Португалия!» И бич саркастически щелкал.

Шурка Бездомный кричал страшные слова, как в клубе «Красный Прорыв» кустарей - одиночек, явно намекая и на пфейферские брюки и на Соловки: «фигурный листок надеваешь, сукин лорд? Мы тебе покажем, сумасшедший полюс»!..

Даже тетя, добрая тетя Хася, которая на «хануке» дарила маленькому Лазику гривенник, и та осуждающе кудахтала: «как же ты? ах!...» Лазик зарывался в одеяло.

Портретов, однако, он не снимал. Он умел быть стойким до конца, вот как товарищ Шмурыгин. Мало, скажете, он страдал за свои принципы? Он вы зубрил наизусть шестнадцать стихотворений Шурки Бездомного о каких-то ненормальных комбригах, которые «умирают с победоносной усмешкой на челе».

Он не остановился и перед ручьей цирюльника Левки, в одну минуту превратившей его добродушную робкую физиономию в поганое лицо заядлаго изверга. Что делать — в клубе «Красный Прорыв» ставили пьесу товарища Луначарского. Лазик не был саботажником. Изверг? Пусть изверг! Он даже лез на Соничку Цвибиль и делал вид, что ее кусает, хоть ему было противно. Что общего, скажете, между гомельским портным и какой-то взбесившейся собакой? К тому же у Сонечки муж в милиции, и хоть собачьи прыжки — дело государственное, Лазик не знал, как отнесется гражданин Цвибиль к подобной симуляции. Но Лазик не хотел отставать от своего века. Он храбро рычал и скалил зубы. Он низко

кланялся всем кустарям - одиночкам, которые хохотали: «ой, какой этот Ройтшванец дурак!» Он приговаривал: «товарищи, душевное мерси». Он все вынес.

Вот и фамилия... Почему Раечка прогнала его? Из за прыщика? Спросите Лазика, он вам ответит: «прыщик — глупости, прыщик всходит и заходит, как какойнибудь гомельский комиссар». А фамилия... Можно ли гулять под ручку с человеком, у которого такая глупая фамилия? «С кем идет Раечка?» «Да с Ройтшванцем»... «Хи - хи».

Ничего! пусть смеются, Лазик хитрее их. Когда Лазика вызывали для заполнения сорок седьмой анкеты, товарищ Горбунов, рыжий из комхоза спросил:

— Фамилия?

— Ройтшванец.

— Как?

— Ройтшванец. Простите, но это опытно - показательная фамилия. Другие теперь приделывают себе слово «красный», как будто оно у них всегда было. Вы не здешний, так я могу вам сказать, что столовая «Красный Уют», была раньше всего на всего «Уютом», а эта улица «Красного Знамени» называлась даже совсем неприлично «Владимирской улицей». Если вы думаете что «Красные Бани» всегда были красными, то вы, простите меня, ошибаетесь. Они покраснели ровно год тому назад. Они были самыми ужасными «семейными банями». А я отрождения — Ройтшванец об этом можно справиться у казенного раввина. В самой фамилии мне сделан тонкий намек. Но я вижу, что вы ничего не понимаете, так я объясню вам: «Ройт» это значит «красный».

Товарищ Горбунов усмехнулся и со скуки спросил:

— Так... А что же значит «шванец»?

Лазик пренебрежительно пожал плечами:

— Достаточно, если половина что-нибудь значит. «Шванец» это ничего не значит. Это пустой звук,

Нет, не из за фамилии погиб Лазик. Всему виной вздох. А может быть, и не вздох, но режим экономии, или жаркая погода, или даже какие-нибудь высокие проблемы. Кто знает, отчего гибнут гомельские портные?...

Жара стояла в тот день, действительно, редкостная. Сож мелел на глазах у гомельчан. Зато следователь Кугель сидел весь мокрый.

Около семи часов вечера Лазик решил направиться к дочери кантора Феничке Гершанович.

Феничка пела в клубе «Красный Прорыв» международные мелодии. Собственно говоря, в клуб она вошла хитростью. Какой же кустарь - одиночка Гершанович? Что он производит? Обрезает несознательных младенцев, по три рубля за штуку. Ячейка могла бы легко установить, что Феничка живет на постыдном иждивении служителя культа.

Старик Гершанович говорил дочери: «Этот Шацман смотрит на меня десять минут, не моргая. Одно из двух — или он хочет на тебе жениться или он хочет, чтоб я уехал в Нарым. Спой им, пожалуйста, сто международных мелодий! Тогда они, может быть, забудут, что я тоже пою. Если Даниил успокоил настоящих львов, почему ты не можешь успокоить этих перекошенных евреев? Ты увидишь, они убьют меня, и я жалую только об одном: зачем я их когда-то обрезал»...

Не знаю, размяглили ли трели Фенички сердца чле-

нов гомельскаго губкома, но вот Лазик, слушая их, влюбился, влюбился горячо и безответно. Фамилия, правда, не смущала Феничку — она держалась передовых взглядов. Но с ростом Лазика она никак не могла примириться. Что остается теперь делать дочери кантора? Мечтать о карьере Мери Пикфорд и танцевать с беспартийными фокстрот. С Лазиком?... Не скрою: голова Лазика барахталась у Фенички под мышкой. Правда, Лазик пробовал ходить на цыпочках, но только натер мозоли. Как же здесь выразить пылкие свои чувства? Как невзначай в глухой аллее поцеловать щечку Фенички: подпрыгнув, и то не достанешь.

Ему было вдвойне жарко: пылало сердце. Он вышел из дому, отутюжив брюки Пфейфера и на всякий случай, предупредив соседей:

— Я иду на занятия политграмотой. Если б вы только знали, что такое один китайский вопрос! Это еще труднее, чем книга «Зогар». Будь я Шацманом, я запретил бы кустарям - одиночкам заниматься такими центральными вопросами. Над этим вообще должен думать какой-нибудь последний комитет, а не гомельские портные...

Он вздохнул, но не этот, вздох погубил его, даже не следующий, рожденный мыслями о недоступности Фенички. Он сегодня скажет ей все. Он скажет ей, что Давид был маленький, а Голиаф большая дубина вроде этого Шацмана. Он скажет ей, что соловей гораздо меньше индейскаго петуха. Он скажет ей и вполне по современному, что маленькое организованное меньшинство побеждает или хотя бы временно гибнет. Он скажет...

Наверное он придумал бы нечто способное убедить даже легкомысленную Феничку, но вдруг его внимание привлек одноглазый Натик, который сосредоточенно наклеивал на забор бывшего епархиального училища огромную афишу.

Что еще случилось на свете? Может быть, в Гомель приехала гастрольная труппа московской оперетты?

Тогда придется разориться на роскошные места: у Фенички музыкальная натура. Может быть, они придумали какие-нибудь новые отчисления в пользу этой китайской головоломки? Может быть, попросту жулик Дышкин хочет сбыть под видом просветительной кампании свои глупые письмовники из позапрошлого столетия?

Афиша предназначалась для граждан среднего роста, и Лазикуну пришлось стать на цыпочки, как будто перед ним была сама Феничка Гершанович. Прочитав первую же фразу, он вздрогнул и оглянулся по сторонам. Рядом с ним стояла только неизвестная ему гражданка. Артистка московской оперетты? Или уполномоченная по сбору отчислений?

Чем дальше читал Лазик, тем все сильнее дрожал он. Дрожал галстучек в горошинку, дрожала головка на вечном каучуковом воротничке, дрожал в брючном кармане замечательный американский пульверизатор с наилучшей «орхидеей» производства «Тэжэ», который Лазик собирался преподнести Феничке, дрожали брюки, необычайные брюки из английского материала (расстратчик оставил, после второй примерки сцапали человека без брюк). Дрожали большущие буквы. Дрожал забор. Дрожало небо.

«Умер испытанный вождь гомельского пролетариата, товарищ Шмурыгин. Шесть лет красный меч в его мозолистых руках страшил международных бандитов. Но гибнут светлые личности, живы идеи. На место одного становится десять новых бойцов, готовых беспощадно карать всех притаившихся врагов революции»...

Здесь то Лазик Ройтшванец вздохнул, жалобно, громко, скажу прямо, с надрывом. Пожалел ли он товарища Шмурыгина, скончавшагося от заворота кишок? Или испугался десяти новых бойцов? Где же раздобыть их портреты? Как они отнесутся к полусознательным «кустарям - одиночкам»? Брюки, утаенные от фининспектора; пфейферские брюки!...

Вздохнув, Лазик пошел дальше. Но он не расска-

зал Феничке о посрамленном Голиафе, он не обрызгал ее из американского пульверизатора ароматной «орхидей».

Следователь, товарищ Кугель, угрюмо сказал ему:

— Вы публично надругались над светлой памятью товарища Шмурыгина.

— Я только вздохнул, кротко вздохнул Лазик. Я вздохнул, потому что было очень жарко и потому что из рук выпал этот мозолистый меч. Я всегда так вздыхаю. Если вы мне не верите, вы можете спросить гражданку Гершанович, а если гражданка Гершанович тоже не годится, потому что она дочь служителя культа, вы можете спросить курьера фининспектора. Он то знает, как я громко вздыхаю. Я даже скажу вам, что меня хотели прошлой весной выселить из жилтоварищества за надоедливые вздохи. Я занимался по ночам политграмотой и, конечно, вздыхал про себя, а Пфейферы показали, что я нарушаю их трудовой сон...

Товарищ Кугель прервал его:

— Будьте прежде всего кратки. Буржуазия создала наряду с тайлоризмом пресловутый афоризм: «время — деньги». В этом сказалось преклонение умирающего класса перед жалким продуктом прибавочной стоимости. Мы же говорим иначе: «время — не деньги. Время — больше, чем деньги». Вы похитили сейчас у меня, а следовательно, у всего рабочего государства пять драгоценнейших минут. Перейдем к делу. Гражданка Матильда Пуке показывает, что вы, прочитав известное вам обращение ко всем трудящимся Гомеля, торжествующе захохотали и издали неподобающий возглас.

Здесь Лазик не выдержал, он деликатно улыбнулся.

— Я не знаю, кто это такое гражданка Пуке. Может быть, она глухонемая или совершенно ненормальная. Я скажу вам только одно: я даже не умею торжественно хохотать. Когда я должен был торжественно хохотать в трагедии товарища Луначарского, я вдруг остановился над свежим трупом герцогини и я совершенно замолчал, хоть мне и кричал Левка-суфлер: «хохочи же, идиот!».

Я вас уверяю, гражданин Кугель, что если бы я мог издавать возгласы и торжественно хохотать среди белого дня, да еще на главной улице, я наверное не был бы несчастным портным, который шьет кое-что из материала заказчика, я или лежал бы где - нибудь в безответной могиле или сидел бы в Москве на самом роскошном народном посту. . .

— Вы симулируете классовую отсталость, но вряд ли это вам поможет. Я предаю вас обвинению по 87-ой статье уголовного уложения, карающей оскорбление флага и герба.

Услышав это, Лазик хотел вздохнуть, но во время удержался.

Вздых, хотя бы пронзительный, еще может быть отнесен к печальным случайностям, но поведение Лазика во время судебного разбирательства заслуживает всемерного порицания. Вот, когда оно сказало, тяжелое наследие прошлого! Ведь не всегда Лазик жил китайским вопросом и другими светлыми идеями. До тринадцати лет, пощипывая свой едва опущенный подбородок, он сидел над каким-то смехотворным Талмудом.

Если два еврея найдут один талес — кому он должен принадлежать? Тому, кто первый его увидел, или тому, кто первый его поднял? Попробуйте-ка, решите эту задачу. Подбородок Лазика горел от щипков. Что важнее, рука или глаза? Открытие или работа? Вдохновение или воля? Если отдать тому, кто первый увидел, обидится голова: «я распорядилась, чтобы рука подняла талес». Если отдать тому, кто первый поднял, обидится сердце: «я подсказало глазам, что их ждет находка». Если оставить талес на дороге, то пропадет хороший талес, который нужен каждому еврею для молитвы. Если разрезать талес на две части, то он никому не будет нужен. Если пользоваться талесом по очереди, то два еврея возненавидят друг друга; ибо одному человеку просторно даже в желудке у рыбы, а двум тесно даже в самом замечательном раю. Что же делать с этим коварным талесом? Что делать с двумя евреями? Что делать с истиной?

Лучше всего не находить талеса и не думать об

истине. Но талес может оказаться на дороге, и стоит человеку остаться с самим собой, будь то даже в хвосте галантерейной лавки или в паршивой уборной. и он начинает думать об истине.

Давно подбородок Лазика покрылся курчавой порослью, давно поросль эта пала, скошенная проворной рукой Левки-парикмахера, давно уж забыл он о палке учителя и о двух евреях, нашедших один талес, но осталась привычка думать над тем, над чем лучше вовсе не думать.

Смешно подозревать Лазика в каких-то суевериях. Ему не было и тринадцати лет, когда он понял, что талес никому не нужен и что лучше найти на дороге двести тысяч или хотя бы три рубля. Он понял, что человек создан из обезьяны, а не из какого-то «подобья», что оперетта гораздо интереснее хоральной синагоги, что Тершанович большой жулик, что ветчина с горошком ничуть не хуже говядины с черносливом и что вообще теперь настоящий двадцатый век.

Лазик как то уничтожил самого старика Гершановича, показав при этом всю свою преданность чистой науке. Это было вечером. Феничка глядела на звездное небо, а Лазик, очарованный бледным личиком девушки, стоял подле, не дыня. Тогда-то хитрый Гершанович решил подкопаться под Лазика:

— Мне даже смешно подумать, что ты до сих пор уверяешь, будто бы солнце стоит, а земля вертится. Я не скажу тебе, посмотри на небо в час заката: может быть, ты вообще слеп, как крот и ничего не можешь видеть. Я не спрошу тебя, как же Иегошуа Навин мог остановить солнце, если оно вообще не движется: ты ведь ответишь: «меня при этом не было», как отвечают все дураки. Кстати, интересно, был ли ты при том, как обезьяна родила человека? Но я тебе все таки докажу, что земля стоит на одном месте и ты ничего не сможешь мне ответить. Хоть ты прикидываешься глупым «Фонькой» из Москвы, ты же изучал когда-то Талмуд, ты знаешь, что разводное письмо нельзя вручить женщине,

когда женщина передвигается. Нельзя дать ей развод ни в поезде, ни на пароходе, ни когда она просто гуляет по улице. Если бы земля двигалась, то двигались бы все женщины, потому что женщины живут, кажется, на земле. Тогда никогда нельзя было бы разводиться: значит земля стоит спокойно на одном месте.

Хоть Лазик был расслаблен близостью Фенички и роскошью звездного неба, он все же твердо ответил Гершановичу:

— Это рассуждения, простите меня, маленького ребенка. Если глядеть из одного поезда, который идет на другой поезд, который тоже идет, то кажется, что оба поезда стоят. Кто дает женщине развод? Ея муж. Если б он вертелся в другую сторону, тогда б он заметил, что и его жена вертится, но так как они оба вертятся в одну сторону, то мужу, конечно, кажется, что его жена совсем не вертится. А, вообще говоря, разводиться можно даже на американском пароходе, если только там сидит сотрудница «Загса» и это стоит каких нибудь шестьдесят копеек. Главное, гражданин Гершанович, чтобы была горячая любовь и мотовское сверкание звезд, а остальное — это гербовая марка.

Лазик выговорил это стойко, хоть и знал, что теперь ему будет еще труднее дотянуться до щечки Фенички, даже встав на цыпочки. Что делать, Лазик был человеком двадцатого века!

Да, но щипанье подбородка, но хитрая улыбочка, но логика, логика, во что бы то ни стало, — они то погубили честного «мужеского портного».

На первый же вопрос председателя суда, вместо того, чтобы кратко упомянув о своем пролетарском происхождении, опровергнуть гнусную клевету гражданки Пуке, Лазик ответил двусмысленно:

— Виновен? Если я в чем нибудь виновен, так только в том, что я живу. Но в этом я тоже не виновен. В этом виновны смешные предрассудки и ужасная холера. Если бы не было холеры, не было бы вовсе Лазика

Ройтшванца, и тогда я спрошу вас, гражданин председатель, что бы делала эта ненормальная гражданка Пукке? Я родился, потому что смешно было мерить аршином кладбище, потому что было такое несчастье, что его нельзя было измерить никаким аршином. Вы не понимаете в чем дело? Это очень просто. Тогда была большая холера, такая большая, что почти все евреи умерли, а те, что не умерли, конечно, не хотели умереть. Теперь для этого существует народный губздрав и даже сам товарищ Семашко. Но тогда несознательные евреи думали, что если обмерить кладбище аршином, кладбище перестанет расти. Они мерили и мерили, а кладбище росло и росло. Тогда они вспомнили, что если нельзя надуть смерть, можно ее развеселить. Они нашли самого несчастного еврея, Мотеля Ройтшванца. У него не было за душой медной копейки. У него была только печальная фамилия. Он стирал постыдное белье и в «Пурим» он разносил из дома в дом роскошные подарки за какие-нибудь пять копеек. Словом, он мог бы преспокойно умереть от холеры и никто бы не жалел об этом. Но он как раз не умер. Богатые евреи нашли Мотеля Ройтшванца и они нашли самую несчастную девушку. Они сказали: «мы дадим вам тридцать рублей, мы дадим вам курицу и рыбу, но вашу свадьбу мы справим на кладбище, чтобы немножко развеселить смерть». Я не знаю, веслилась ли смерть и веселились ли евреи, ведь у жениха был, кроме печальной фамилии, большущий горб, а невеста была, говоря откровенно, хромая. Я не знаю даже, кончилась ли холера, но одно я знаю, что родился я, Лазик Ройтшванец, и в этом, кажется, единственная моя вина.

— Может быть, вы все-же скажете нам, что вы делали одиннадцатого июля в семь часов пополудни?

— Я шел к члену клуба «Красный Прорыв»: к товарищу Фене Гершанович. Перед этим я утюжил брюки, а после этого я сидел, как настоящий злодей в тюрьме с решеткой.

— Однако, прочитав обращение к трудящимся, вы

демонстративно выразили свои контр-революционные чувства.

— Как я мог выразить свои чувства, если я их вообще не выражаю? Вы думаете, что я торжественно хохотал, когда пали цепи самодержавия, и когда околодочный Богданов сидел у нас на дворе под кадкой? Нет, я и тогда говорил себе: пусть издает возгласы Левка-парикмахер — он все равно ничего другого не умеет делать. Я не выражал, хотя тогда все выражали: даже Богданов вылез из под кадки и тоже выражал. Я — сплошная загадка, и ни гражданка Пуке, ни вы, гражданин прокурор, никто на свете не знает, какие у меня, может быть, в душе чувства. Кому интересно, что у маленького портного внутри? А если вы все-таки будете настаивать, я прямо скажу вам: можно вывернуть пиджак, но не душу. Я шел к товарищу Гершанович и я ровно ничего не выражал. Вы спросите, почему я вздохнул, прочитав это «обращение ко всем трудящимся»? Как же я мог не вздохнуть? Ведь это же было воззвание для вздохов. У меня висел на стене портрет товарища Шмурыгина. Я занимаюсь политграмотой. Я могу сказать вам наизусть хоть сейчас все произведения товарища Шурки Бездомного. Если же случилось такое несчастье, и я, Лазик Ройтшванец, попал на эту черную скамейку подсудимых, то я вам признаюсь, что пфейферские брюки я действительно скрыл от гражданина фининспектора. Я показал восемьдесят, вместо ста пятнадцати. Это составляет ровно тридцать пять рублей разницы. За это меня можно оштрафовать, и я только тихонько вздохну, как тогда у забора. Но нельзя меня судить за оскорбление герба и флага, когда там не было ни герба, ни флага, а всего на всего гражданка Пуке, и то я ее ничем не оскорблял.

Однако, Матильда Пуке, женщина с бледно-зелеными меланхолическими глазами и со стажем в девять месяцев, повторила показания, данные ею на предварительном следствии: подсудимый подбежал к возванию, прочитал его и, нагло расхохотавшись, издал безстыжий возглас, который, в виду кампании по борьбе с ху-

лиганством, не надлежит даже воспроизводить. Выслушав все это, Лазик подмигнул председателю:

— Я же говорил, что она или ненормальная, или глухонемая. Натик действительно наклеил бумажку. Я действительно подошел и прочитал. Зачем же наклеивают бумажку? Чтоб ее, кажется, читали. После этого я вздохнул. Откуда вы знаете, может быть, мне стало жалко товарища Шмурыгина? Разве это так просто умереть от заворота кишек? И потом я очень хорошо понимаю, что такое надгробная скорбь в масштабе губернского города. Если когда-то могли на кладбище справлять свадьбу, то ведь это было в позапрошлом столетии, и потом тогда была холера, а теперь у нас нет никакой холеры, теперь у нас только хозяйственное возрождение и китайский вопрос. В старом хедере меня учили Талмуду. Это, конечно, обман, и с тех пор я прочел уже всю «Азбуку Коммунизма». Но даже в этом неприличном Талмуде сказано, что когда все смеются — смейся, а когда все плачут, — плачь, когда все читают Библию, не вздумай, пожалуйста, читать Талмуд, и, когда все читают Талмуд, забудь, что на свете существует Библия. Неужели же вы думаете, что я, Лазик Ройтшванец, который пережил восемь разнообразных режимов, не знаю такой простой вещи? Сдавали швейные машины, и я сдавал. Радовались успехам прбснвшагося турка, и я радовался. Наклеили эту афишу, и я вздохнул. Чего же вы от меня хотите с этой сумасшедшей Пуке?...

Повторяю, Лазик сам себя погубил, и легко понять одного народного заседателя, который мрачно буркнул другому:

— Он глуп, но хитер. Он заговаривает зубы.

Речь прокурора, товарища Гуревича, была кратка и выразительна:

— Гражданин Ройтшванец — гнилой продукт клерикального оскотления личности. Он хочет на словах влить новый сок в старый мех, но, конечно, это типичное шкурничество. Неожиданное признание в злостном обмане органов государственной инспекции кидает но-

вый свет на этого переодетого волка. Его заверения, что воззвание было вывешено для каких-то вздохов, всецело совпадают с инсинуациями белогвардейской прессы, в то время как бескорыстные показания гражданки Пуке продиктованы исключительно ее классовой совестью. На основании всего этого я считаю необходимым, не отсекая совершенно больной ветки и не ставя вопроса о социальной опасности, подвергнуть гражданина Ройтшванца исправительной каре.

Правозаступник, товарищ Ландау, наоборот, отличался многословием. Битый час говорил он. Кажется, только Лазик и слушал его.

— Современной науке известны галлюцинации слуха, так сказать, акустические миражи пустыни. Арабы видят оазисы. Узник слышит пение соловья. Я не хочу кидать тень на гражданку Пуке. Но я подвергаю ее слова строго-научному анализу. Конечно, Лазик Ройтшванец — дегенерат. Я настаиваю на медицинской экспертизе. То, что он называет «вздохами» — чисто патологическое явление. Быть может, мы имеем дело с тяжелой наследственностью. Брак, заключенный на кладбище, согласно евгенике, способен дать ненормальное потомство. Я взвешиваю все факты и на чашу весов падает его исключительное происхождение. Вы должны обвинить еврейскую буржуазию, создавшую талмудические школы и другие средства порабощения пролетариата, вроде оскорбительных венчаний среди могил, но в порыве великодушия победившего класса, вы должны оправдать этого несчастного кустаря - одиночку!

С осторожностью председатель спросил Лазика, не хочет ли он что-либо добавить ко всему, сказанному им прежде. Утомленный красноречием товарища Ландау председатель явно побаивался словоохотливого подсудимого. Но Лазик понял, что дело его проиграно. Он больше не оспаривал показаний гражданки Пуке.

— Что же мне сказать после стольких умных речей? Когда лев разговаривает с тигром, кажется, зайцу луч-

ше всего молчать. Я хочу только внести одно маленькое предложение. Товарищ Гуревич партийный и товарищ Ландау тоже партийный, и у них вышла между собой небольшая дискуссия, как у нас в клубе кустарей - одинок. Так я им предлагаю мировую. Если, например, товарищ Гуревич хочет, чтобы меня посадили на шесть месяцев, а товарищ Ландау хочет, чтобы меня вообще отпустили домой, то я предлагаю сделать равное деление и посадить меня на три месяца. Тогда все будут довольны, даже гражданка Пуке. А если я буду недоволен, то я же утаил пфейферские брюки и все равно я, как сказал товарищ Гуревич, гнилой продукт. Конечно, я предпочитаю, чтобы вы послушались товарища Ландау и отпустили меня домой. Я даже обещаю никогда больше не вздыхать и заниматься одной китайской проблемой всю мою недолговечную жизнь. Но, с другой стороны, я боюсь, что вы можете послушаться товарища Гуревича. Это же сплошная лотерея! И тогда мне будет совсем плохо. Вот поэтому я предлагаю вам немедленно пойти на мировую и, хорошенько высчитав все, дать мне как можно меньше месяцев, потому что меня ждут наверно какие - нибудь небольшие заказы, а также надежда на отзывчивость товарища Фени Гершанович. А без надежды и без заказов я могу легко умереть. Но ведь этого не хочет даже товарищ Гуревич, потому что все граждане, кроме некоторых отрезанных веток, должны жить и дружно цвести, как цветут безответственные деревья на крутом берегу нашего সুখোদনগর Сожа!

У Лазика была чрезвычайно нежная кожа, только Левка - парикмахер и умел его, как следует, брить. Но Левка это не простой парикмахер, это мировая знаменитость. Говорили будто он столь артистически побрил затылок одной приезжей дамочки из коминтерна, что дамочка немедленно залилась слезами умиления, восклицая: «какая это великая страна», и дала Левке доллар с изображением американской коровы. Может быть, и ввали, не знаю, но вот Лазика брил он на славу: ни ссадин, ни противной красноты, ни жжения — свежесть, одых, брызги тройного одеколона, а в придачу над ухом какой - нибудь контрабандный мотив, например: «хотите ли бананы, чтоб были страстью пьяны»... Конечно, у Циперовича торчит всюду вата (желтая, та, что между рамами кладут) и прочая псевдо-наука, но куда же Циперовичу до Левки!

В тюрьме Лазик больше всего скучал по Левке. Как человек нашего бурного времени, он быстро привыкал к любой жизни. Конечно, в тюрьме не было ни Фенички Гершанович, ни мотовского сверкация звезд, ни гастролей московской оперетки. Зато в тюрьме не было и фининспектора. Вот только бы Левку сюда!... Довестись тюремному циркульнику Лазик не хотел: исцарапает, надругается, и еще прыщи после вскочут; что скажет через шесть недель Феничка Гершанович? А на подбородке Лазика уже начинала курчавиться рыжеватая рощица. Дело не в зрелище — перед кем здесь стес-

няться? Перед восемью небритыми злодеями? Дело в умственном зуде, рождаемом бородкой.

Лазик хорошо понимал, что именно его погубило на суде. Он дал себе обещание, как можно меньше думать. Трудно, разумеется, не думать в тюрьме, когда ежедневно выдают тебе двадцать четыре часа для бесплатной философии и зрелище растерзанной человеческой судьбы, а тем паче, когда на подбородке уже торчит пучок подозрительной пакли: так и хочется, обкрутив его вокруг пальца, погрузиться в раздумья. Нет ничего более располагающего к философствованию, нежели курчавая бородка; она-то доводила различных талмудистов до сумасшедших выкладок.

Лежит, представьте себе, крохотная горошинка. Мышка съедает горошинку. Кошка цап-царап мышку. Большая собака загрызает кошку. Собаку, конечно, съедает волк, а волка съедает лев. Выходит человек и что же — он убивает льва. Можно подумать, что человек это царь творения. Но человек возвращается домой, и он натывается на крохотную горошинку, он падает на камень и умирает. Тогда выбегает мышка и насмеяется над человеком, и мышка съедает горошинку, а кошка ест мышку и так может продолжаться без конца. Теперь скажите, — разве могли бы безбородые люди дойти до таких размышлений?

Лазик грустно сидел на нарах и, теребя бороду, думал, если не о горошинке, то об известной нам гражданке Пуке. Вдруг он радостно пискнул: в камеру вошел Левка - парикмахер. Это не было миражем в пустыне или песней соловья, которую слышит узник. Нет, Левка, живой Левка стоял перед ним!

Несмотря на всю свою радость, Лазик, как вполне сознательный кустарь - одиночка, вздохнул:

— Кто же еще умер, Левка? Может быть, этот португальский бич?

— При чем тут португальский бич, когда мы живем, кажется, в Гомеле? И никто не умер, кроме старика Шимановича, но он все равно должен был умереть, потому

что ему было восемьдесят два года. А у Хасина родилась дочка, чтобы он знал, как продавать мокрый сахар. Но я здесь вовсе не потому, что Шиманович умер, и не потому, что у Хасина родилась дочка. Это же мелкая семейная чепуха, а я здесь по делу чрезвычайной государственной важности. Я влип из за...

Можно быть первым парикмахером мира, оставаясь при этом отчаянным хвастунишкой, одно другому не мешает. Левка торжественно нахохлился, как молоденький воробей.

— Я влип из за этой самой бочки.

Здесь я должен пояснить, что в Гомеле, несмотря на все наши великие завоевания, нет до сих пор соответствующих труб. От мрачного прошлого унаследовали гомельчане гроыхающие по главной улице неприличные бочки. Прошу за это Гомель не презирать. Как никак, в Гомеле множество просветительных начинаний, два театра, цирк, не говоря уж о кино. В музее висит такая голландская рыба, что дай бог всякому еврею к субботе. В парке, бывшем Паскевича, сидит на цепи настоящий волк и пугает раздирающим воем наивных детишек. А клуб «Красный Прорыв» кустарей - одиночек? А вполне разработанный проект трамвая? А стенная газета местного отделения «Доброхима» с дружескими шаржами товарища Пинкеса? Нет, в культурном отношении Гомель мало чем отличается от столицы. Что же касается труб, то это незаслуживающая внимания деталь. Уж на что знамениты Афины, кажется, туда даже из Америки приезжают, ну, а в Афинах тоже нет этих труб, так что нечего попрекать неприличными бочками Гомель.

Разумеется, комхоз всячески ограждает носы граждан. Бочки разрешается вывозить только ночью, да и то в закрытом виде. Однако, не все подчиняются даже самым строжайшим запрещениям. Я не говорю о жулике Гершановиче — этот знает все правила наизусть, как десять заповедей: где нельзя плевать, а где можно, в каком месте переходить базарную площадь, в какие

дни вывешивать флаги и даже откуда входить в трамвай, хоть в Гомеле имеется всего на всего проект трамвая. Но ведь существуют на свете граждане поважнее Гершановича, и вот бочка одного учреждения выезжает среди бела дня, даже без надлежащей покрывки. Что здесь поделаешь? Как говорят в Гомеле, бывает, что и клевок заслуживает уважения.

В жаркий летний день крикнет кто-нибудь: «едет» — уж не спрашивают гомельчане кто — знают, сейчас же закрывают они наглухо окна и, забившись в угол, подносят пальцы к чувствительным придаткам обоняния.

Вот из за этой бочки и влип Левка - парикмахер. Беда застигла его на улице, и он не успел забежать в соседнюю лавочку. Зажав нос, возмущенно он завопил:

— Чтоб они сдохли с этой невыносимой бочкой!

Конечно, глупо кричать на улице. Но ведь Лазик не зря ссылался на Левку. Парикмахер, действительно, любил возгласы. Во время кампании «безбожника» он так кричал, что даже охрип. Он и в синагогу вбежал с криком: «долой эту тухлую субботу! Да здравствует, скажем себе, понедельник!» В кино он не мог сидеть спокойно: сколько раз выводили его. Показывают, например, какого-нибудь лорда, который заговаривает невинную девушку, а Левка уже с ума сходит: «я тебя бобриком постригу, этакий нахальный феодал!».. Словом, Левка был известным горлодером и поэтому возглас касательно бочки не мог никого удивить. Лазик недоверчиво спросил его:

— Если ты только издал возглас, почему же тебя посадили? Ты ведь всегда это делаешь. Я думаю, Левка, что здесь дело совсем не в бочке.

Левка иронически прищурился, как будто он стриг лорда.

— Кто тебе говорит, что дело в бочке? Конечно, дело не в бочке: бочка ездит каждый божий день. Дело в какой-то гражданке Пуке. Она заявила, будто бы я произнес целую демонстративную речь.

Лазик задумался:

— Я ведь тоже влип из за гражданин Пуке. Это какая-то перепуганная женщина. Но я спрашиваю себя, если она будет еще долго гулять по улицам Гомеля, то как же мы будем здесь шевелиться? Пока нас только девять, но завтра нас может быть сто девять. Я теперь буду всю ночь думать, в чем же здесь дело, и чего она боится, эта гражданка Пуке: румынского вмешательства или какой -нибудь кулацкой неувязки? Слушай, Левка, раз ты попал сюда, пожалуйста, сейчас же побрей меня, чтоб я не так много думал.

Увы, хоть Левку забрали со всеми его орудиями производства, — шел он брить большого Осю Зайцева, — бритву у него отобрали. Оказывается, они боятся, чтоб он не покончил с собой. Смешно! Вдруг из за какой-то Пуке Левка станет резать себе шею.

— Но если ты хочешь, Лазик, я могу тебя намылить, потому что они мне позволили взять с собой кисточку. У тебя, конечно, останется борода, но тогда ты сможешь думать, что у тебя больше нет бороды.

Долго Левка мылил подбородок Лазика. Потом он издал несколько ужасных возгласов, которые я лучше оставлю без внимания, и, окончательно утомленный, заснул. Но Лазик не спал. Он накручивал на палец бородку, и он думал. Далеко за полночь он разбудил нагло похрапывавшаго Левку:

— Я уже все понял. Ты знаешь, в чем дело? В этом самом режиме экономии. Она вовсе не боится ни румын, ни неувязки, она только боится, чтоб её не сократили, потому что теперь всюду беспощадно сокращают неподвижных сотрудников. Конечно, даже такая Пуке хочет кушать курицу и рыбу. Это совсем понятно, и я думаю, что мы не должны на нее сердиться, нет, мы должны ей выдать замечательный аттестат, как на сельскохозяйственной выставке.

Увидав одноглазого Натика, Лазик умилился:

— Это замечательно, что тебя посадили, Натик. В-первых, теперь некому будет наклеивать воззвания, и этой гражданке Пуке придется придумать какой-нибудь новый фокус; во-вторых, нас теперь ровно десять, и если кто-нибудь сегодня умрет от тоски по неприкрашенной свободе, то можно будет его похоронить со всеми отсталыми штучками, — ведь нас будет тогда ровно десять евреев. Вы спросите: «откуда десять, если один умрет?» Десятый это сторож. Хоть он и уверяет, что он какой-то закавказский грузин из полусамостоятельной федерации, я думаю, что он скорей всего мой двоюродный племянник из Мозыря и что его настоящая фамилия Капелевич. Впрочем, если от тоски по неприкрашенной свободе и по Феничке Гершанович умру именно я, Лазик Ройтшванец, то я прошу вас не читать надо мной прискорбных молитв. Пусть лучше Левка сплет надо мной контрабандную песенку о заграничных бананах. Я никогда не пробовал этих выдуманных фруктов, но я знаю, что такое самая ужасная страсть. И я прошу вас не говорить надо мной «кадиш». Я прошу вас сказать: «он, может быть, был гнилым продуктом, и он наверное утаил пфейферские брюки. Но он любил неприкрашенную свободу, разгул деревьев на берегу Сожа, звезды, которые вертятся где-то в пустых горизонтах, и он любил одну гомельскую девушку, имя которой да будет покрыто последней тайной». Я прошу вас ска-

зять все это — если я умру, но, конечно, я вовсе не думаю умирать, и я даже думаю сейчас же доказать тебе, Натик, что ты, как говорит товарищ Гуревич, какая-нибудь оскопленная личность. Если я уничтожил самого Гершановича, то я в пять минут докажу тебе, что земля держится вовсе не на трех подпорках и что гораздо лучше заниматься хорошенькой китайской головоломкой, нежели повторять всю жизнь одни и те же прикормные фразы, которые известны всем гомельским кошкам, не говоря уже о собаках.

Только - только Лазик начал просветительную лекцию, как внимание его отвлек новый арестант, вернее пиджак. Лазик смотрел на мир глазами честного кустаря - одиночки — он замечал прежде всего покрой костюма. Глазами он ощупал материю новичка: это самая настоящая контрабанда, может быть, по восьмидесяти рублей за аршин. Скроено не так уже важно, кроил, наверное, Цимах; это не портной — это сапожник. Чтоб испортить такой материал! Но в общем это могло влететь ему в сорок червонцев. Разве глупо сказано: «все суета сует»? Вы увидите, что останется через неделю от этого небесного материала, когда здесь торчит из нар какая-то сплошная щетина. Но кто же мог заказать себе такой предательский костюм?...

Лазик, наконец-то, взглянул на лицо шеголя. Перед ним стоял знаменитый гомельский жулик Митька Райкин, который продавал пишущие машинки, покупал спички и мандаты, держал вокзальный буфет, строил крестьянский киоск для свободной выдачи селькорам лимонаду, а также безбожной литературы и лопая в полное свое удовольствие каждый божий день курицу. Кажется, Митьке нечего было удивляться тому, что он очутился здесь, но Митька искренно удивлялся. Он пожимал плечами, наивно чихал, желая выразить этим свое негодование, и подбирал брючки, чтоб они не коснулись осторожного пола. Он первый заговорил с Лазиком:

— Ну, что вы скажете?

Лазик нашел вопрос Митьки чрезвычайно неделикатным. Пусть спрашивает Цимаха, который так замечательно сшил ему костюм. Митька, кажется, не следователь. Почему Лазик обязан отвечать ему на глупые вопросы?

— Я? Я ничего не скажу.

— Ах, вы тоже ничего не можете сказать? Это же сплошной анекдот! Чтоб меня посадили за решетку, как обыкновенного бандита! Я же выдал целых пять червонцев в пользу этих самых китайцев. Я, кажется, должен строить не кафэ-шантан, но просветительный киоск, четыре раза одобренный центром. Если, например, вас посадили, так наверное вы сделали что-нибудь противозаконное.

Видя душевные муки Митьки, Лазик смилостивился:

— Да, я что-то сделал.. Я — вздохнул в присутствии гражданки Пуке.

— Вот видите — это, наверное составляет полное оскорбление нравов. Вас посадили за ваше дело. А меня за что? Они придумали такую смешную историю, что я бы смеялся до упаду, если бы я только не сидел в этой невыносимой тюрьме. Вы послушайте: если я хочу, чтобы «Укрспичка» купила арифмометры у меня, а не у Шварцберга, я должен дать заведующему двадцать процентов. Это совсем обыкновенная операция. Что же происходит? Сначала он хочет сорок процентов, как будто он не в губернском городе, а на большой дороге. Когда я отвечаю деликатно «нет», он покупает арифмометры у низкого Шварцберга. А потом меня хватают, как будто я зарезал живого человека и кидают в этот невыносимый острог. Когда я спрашиваю: «за что такие терзания»? они отвечают мне: «вы, Райкин, настоящий взяточник». Это же глупо называть обыкновенную операцию таким уголовным именем. Я вовсе не дурак, и я хорошо понимаю, в чем дело. Заведующий «Укрспичкой» — кошмарный антисемит. Это раз. Сле-

дователь готов съесть живьем каждого еврея, несмотря на все их замечательные декларации. Это два.

Здесь Лазик попробовал запротестовать:

— Но ведь товарищ Кугель такой же еврей, как вы и как я, только с вполне испытанным стажем.

Митька, однако, не унимался:

— Это все равно. Когда я говорю вам, что они вполне антисемиты. Это второе дело Бейлиса. Но за Бейлиса вступилась Америка. А кто вступится за меня? Никто. И что мне остается, спрошу вас? Одно — сидеть и вздыхать.

— Сидеть вы, конечно, можете. Но вот вздыхать я вам не советую. Если вы обязательно хотите выразить свое негодование, лучше чихайте, как вы теперь чихаете, только не вздыхайте. Товарищ Ландау объяснил мне, что вздохи это чисто патологическое явление. При чем, я уверяю вас, что если меня наполовину оправдали, то только из за моего исключительного происхождения. А ведь ваших незабвенных родителей наверное венчали не на кладбище, но под каким-нибудь пышным балдахиниомъ и вам за каждый вздох могут закатить несколько долговечных месяцев. Нет, гражданин Райкин, если вы даже второй Бейлис — сидите себе тихо и чихайте, а когда вам надоест чихать, тогда мы сможем поговорить о великом китайском вопросе.

Дня три спустя Лазик познакомился с новым обитателем камеры номер шесть, с заведующим гомельским отделением «Беллеса» гражданином Чебышевым. Костюм на Чебышеве был плохенький, по двадцать рублей аршин — красная цена. Правда, в гардеробе Чебышева висели четыре первосортных английских костюма и даже смокинг, но об этом мало кто знал. Не желая вводить малых сих в соблазн, Чебышев надевал английские костюмы только дома, закрыв наглухо ставни, а в смокинге он даже перед избранными друзьями не решался показаться, в смокинге он только соблазняя по ночам свою черезчур флегматичную супругу. Как же мог попасть такой осмотрительный человек в тюрьму?..

Присмотревшись к посланным ему судьбой сожителям, Чебышев остановился на Лазике. Как-то обняв его за шею, — Лазик приходился ему чуть выше колен — Чебышев завел лирическую беседу:

— Я про вас не говорю. Вы симпатичный еврей. Но не все такие. Я сам в свое время стоял за равноправие. Но ведь кто же тогда знал? Я могу еще понять уничтожение черты оседлости. Что же мы видим? Отбирают у нас землю и дают ее каким-то пришельцам. Где? В Сибири, куда нас теперь ссылают? Нет. В Крыму, куда мы ездили когда-то наслаждаться лазурным морем. Может быть, на берегу, возле Ялты. Скажите, разве это не возмутительно?

Лазик пожалел Чебышева:

— Значит, у вас был на берегу лазурного моря хо-рошенький огород?

Чебышев обиделся:

— Я, милый мой, с университетским дипломом. «Огород»? Я в эту Ялту только на весенний сезон ездил. Я до революции занимался исключительно римским правом. Это вам не капусту сажать. Это непостижимая для вас культура...

— Ну да, хоть я и занимаюсь теперь китайской головоломкой, но это для меня...

— Не перебивайте! Я скажу вам все. Это не равноправие, это еврейское засилье. Это уничтожение коренного населения пришлым элементом. Вы сами судите: я должен был купить для отделения «Беллеса» конторскую мебель. Это связано, конечно, с расходами. Провести смету не так-то легко. Приходит один пархатый из неудачных комиссаров и предлагает мебель втридорога. Я объясняю ему: по такой цене провести почти невозможно. Что скажет рабкрин? Сколько ртов здесь надо заткнуть? Я говорю ему: минимум сорок процентов. Он же начинает торговаться, как на базаре. Простите меня, но это паршивое племя. Мне пришлось взять мебель у его конкурента. В итоге — тюрьма, разбитое положение, отказ от остатков культурной жизни,

черт знает что. Как же я могу жить, я, простофиля, наивный русак среди этого нахального кагала, скажите?

— Очень просто. Пока вы говорили, я думал: И я уже придумал. Молодой человек должен найти хорошенькую девушку вроде товарища Фени Гершановичь, ключ должен найти замок, тогда начинается беспроигрышное счастье. Вы посидите немного, и вас отпустят; потому что рано или поздно всех отпускают. Если эти не отпускали бы, то куда бы они сажали новых? Вас отпустят, потому что будет какая-нибудь маленькая амнистия или разгрузка, или потому что им попросту надоест ваше, простите меня, оскорбленное навеки лицо. И тогда вы будете чем - нибудь заведывать, если не «Беллесом», то «Укрсахаром». Не так уж много людей, которые знают настоящее римское право. Вы будете снова сидеть в роскошном кабинете. Так я сейчас познакомлю вас с Митькой Райкиным. Он продавал пишущие машинки, но если вам понадобится мебель, я даю вам слово, он моментально достанет мебель: это же самый первый мошенник Гомеля. У вас времени, кажется, много — двадцать четыре часа в сутки, и вы можете с ним обо всем сговориться: скажем вы сговоритесь на тридцати процентах. Тогда никто больше не скажет ему, что он дает, а вам, что вы берете. Это будет самая обыкновенная операция, и вы оба будете вполне счастливы. Когда ключ находит скважину, можно пить вино по два рубля за бутылку и смеяться, как смеются одни ангелы. Вы увидите, гражданин Чебышев, что вас ждет настоящая непостижимая мне культура. Только я, извиняюсь, несчастен, потому что у меня нет ключа, и я может никогда не увижу глаза Фенички Гершанович, такие же лазурные, как море вашей незабвенной Ялты.

Срок Лазика кончался десятого августа. Шестого под вечер Лазика вызвали в тюремную контору. Он во время подавил вздох:

— Меня не могут еще выпустить и меня не могут уже расстрелять. Значит, они хотят, чтобы я заполнил сорок девятую анкету. Но скажите, откуда я знаю, сколько кубических метров воздуха проглотил мой безответный отец?...

Лазик ошибся. Председатель «комиссии по разгрузке мест заключения» прокурор Васильев вызвал Лазика Ройтшванца с самыми человеколюбивыми намерениями:

— Мы хотим вас освободить до срока.

Лазик задумался:

— На этот раз я действительно ничего не понимаю. Вы думаете, я не наводил маленьких справок? Мой двоюродный племянник, незапятнанный кандидат, товарищ Капелевич, рассказал мне, что до срока освобождают перед октябрьской годовщиной и перед могучим праздником первого мая. Но, к сожалению, гражданка Пуке узнала о сокращении штатов именно в июле. Это совершенно пустой месяц. Правда, некоторых гражданок освобождают восьмого марта к всемирному женскому дню, но ведь теперь, конечно, не март, и я притом никак не гражданка. Почему же вы хотите освободить меня?

Товарищ Васильев только - только начал:

—Комиссия по разгрузке...

Как Лазик торжествующе прервал его:

— Я же говорил этому жулику Райкину, что у нас не хватит места! Я, конечно, понимаю, что засиживаться в гостях неприлично, и я готов сейчас же разгрузить вас от всего моего печального присутствия.

Товарищ Васильев, однако, был честным прокурором. Испытующе оглядев Лазика, он сказал:

— Ваши шутки мне не по вкусу. Это пошлость и обывательщина. Прежде чем отпустить вас я хочу убедиться, действительно ли вы исправились. Честный труд — вот основа нашего свободного общества. Если какой -нибудь кулак выступает против флага и против герба, как против выразительных символов мозолистой республики, — это вполне понятно. Но кустарь - одиночка должен свято любить эмблему мира и трудовых процессов. Обещайте мне больше не выступать против законов, установленных рабоче - крестьянским правительством, и я тотчас же подпишу приказ о вашем досрочном освобождении.

— Мерси, нет, — стойко ответил Лазик. — Сегодня, кажется, шестое августа. Конечно, я не скрою от вас — четыре дня это что-нибудь да значит. Мы вовсе не живем двести лет, как патриархи или как слоны, чтобы швыряться четырьмя сияющими днями. Увидеть на четыре дня раньше порхающих птичек в парке бывшем Паскевича и товарища Феню Гершанович — это ведь настоящее счастье! Но я не могу вам дать зловещего обещания, потому что я не читал законов рабоче - крестьянского правительства и потому что я не знаю, гуляет ли еще по улицам Гомеля гражданин Пуке. Нет, лучше уж я просижу еще четыре дня, среди горючих слез и вековой паутины.

— Вы меня не проведете, гражданин Ройтшванец. Не одного симулянта я вывел на свежую воду. Вы можете быть малосознательным. Это я допускаю. Но что

такое честный труд и противозаконные демонстрации — это вы хорошо знаете. Итак, я в последний раз вас спрашиваю, — раскаиваетесь ли вы в вашем проступке и намерены ли вы впредь подчинить свое индивидуальное поведение общественным интересам?

— Конечно, я раскаиваюсь в пфейферских брюках. Это было самое последнее злодейство. Я так и сказал на суде гражданину председателю. Потом я об этом, говоря откровенно, больше не думал. Я думал скорее о гражданке Пуке и о глазах товарища Фени Гершанович. Так что, если вы думаете, что я раскаялся, сидя на каких-то занозах вместе с гражданином Райкиным, то вы вполне ошибаетесь. Я раскаялся один раз на суде и этого достаточно. Сколько же можно думать о каких-то брюках? Поставьте у себя в книжечке подходящий крестик: «Ройтшванец раскаялся», и не будем больше обсуждать этот протекший момент. Но вот зловещего обещания я вам не выдам. Если не считать этой истории с Пфейфером, я безусловно честный портной, и если я обещаю сдать заказ к пятнице, я его сдаю. Откуда я могу знать, что со мной будет завтра? Человек — это же крохотное бревно среди кипучих волн нашего Сожа. Почему я утаил от фининспектора тридцать пять рублей? Потому что в окнах отсталой квартиры служителя культа загорелись безумные глаза одной недоступной гражданки. Я не хочу ни вкусных кушаний, ни крымского вина, ни пышных галстухов, ни бриллиантов. Но вот я увидел эти глаза, и я моментально потерял всю свою классовую совесть. Я ходил и вздыхал, а она стояла и смеялась. Я кричал ей: « у меня сердце рвется на куски», а она хладнокровно исполняла свои международные мелодии. Тогда я решился на черное дело. Я утаил брюки от фининспектора и на эти три рубля пятьдесят копеек я купил американский пульверизатор, полный ароматного дыхания орхидей «Тэжэ». Я хотел им обрызгать, как поэзией моего сердца, эту недоступную гражданку. Но вот случилась интервенция одной известной вам особы; о которой я сейчас лучше не буду говорить.

Пульверизатор остался в жестокой конторе, и он наверное опустел. Как я теперь встречу с товарищем Феней Герцанович? У меня нет ни ароматных струй; ни смеха, ни торжественных звуков. Может быть, я кинусь в глубокие воды Сожа или же уеду в какую-нибудь Сибирь искать подложное счастье. Я не могу вам выдать зловещих обещаний. Я не святой, я только полусознательный кустарь - одиночка. Вы мне не верите? Я расскажу вам одну красивую историю. Вы потеряете, конечно, время, которое дороже денег, но зато вы услышите настоящую правду, а правда, по-моему, еще дороже времени. Я почти такой же марксист, как и вы, и я хорошо понимаю, что все это классовые штучки. Но ведь под отсталым скрутком позапрошлого столетия билось настоящее человеческое сердце, и хоть мы с вами вполне марксисты, мы, простите меня, кроме того, настоящие люди, и вот почему я и хочу рассказать вам эту красивую историю.

Это случилось с коцким цадиком, с тем самым цадиком, который всю жизнь искал, запершись, какую-то придуманную истину. Он плюнул и на богатство, и на жену, и на почет. Он не все плюнул. Он сидел в тесной каморке и ел сухой хлеб. Он читал невыносимые книги, вроде китайского вопроса и двадцать четыре часа в сутки он думал над этими книгами. Он был, кажется, самым сильным человеком, которого только можно придумать и все, конечно, говорили, что у коцкого цадика нет ни одной малюсенькой слабости, это даже не человек, а одна высокая мысль.

Но вот перед смертью коцкий цадик говорит своему любимому ученику: «ты не знаешь, мой любимый ученик, что я делал всю мою угрюмую жизнь? Я занимался одним огромным грехом: я слушал женское пение».

Должен я вам сказать, гражданин прокурор, что набожному еврею никак нельзя слушать женское пение. Это, конечно, сознательный предрассудок, но ведь все

люди любят выдумывать различные запрещения; тогда им немножечко веселее жить. Вот жулик Райкин, он беспартийный, и он может преспокойно тапцэвать, у себя дома фокс-трот, а вам, гражданин прокурор, это вполне запрещено и, значит, вы хорошо поймете, что какому - нибудь отсталому еврею нельзя слушать женское пенье.

И вот представьте себе — коцкий цадик признается, что он всю свою жизнь, сидя у себя в тесной камере, где были только книги и мысли, слушал женское пенье. Он раскрывает свою тайну любимому ученику:

— У меня в комнате стояли старые часы с боем. Их сделал несчастный часовщик из Проскурова, вскоре после этого он сошел с ума. У часовщика умерла прекрасная невеста, и бой этих часов напоминал женский голос. Он был так прекрасен и так печален, что я улыбался и плакал, слушая его. Я знал, что это грех, что я должен сидеть и думать над истиной, но я подходил к часам и я уговаривал себя: «они немножечко отстают» или «они чуточку спешат». Я двигал стрелку, и часы снова били и это говорила со мной женщина дивной красоты, она говорила мне о любви и о горе, она говорила о звездах, о цветах, о моей мертвой весне и о живой весне сумасшедшего часовщика, когда поют птицы и когда шумит дождь.

Любимый ученик, конечно, испугался за свою крохотную веру, и он стал приставать к учителю:

— Что же мне теперь делать, реби?

А коцкий цадик спокойно отвечает ему:

— Если у тебя нет часов, ты можешь слушать, как шумит дождь, потому что дождя у тебя не отнимут никакие книги, и улыбки они не отнимут, и греха не отнимут, и не отнимут они любви.

Гражданин прокурор, он же понимал, в чем дело, этот отсталый цадик. Теперь скажите мне, как я могу вам выдать какое-то обещание? Оставьте меня здесь не

только четыре дня, а четыре года, я, все-таки, отвечу вам полным признанием, я скажу вам: «Я слышал эти часы даже в тесной тюрьме, за последней решеткой и мне легче сейчас же умереть под холодной пулей, нежели прожить всю жизнь без одного удара этих недопустимых часов».

Стоя на высоком берегу Сожа, гомельчане вот уже который час спорили. Пфейфер, тот даже охрип:

— Я вам говорю, что этот «Коммунист» сел, и он сел, и он сидит, а мы можем итти себе спать.

(Хорошо, что не было здесь гражданки Пуке! Пойди объясняй потом, что «Коммунист» это обыкновенный беспартийный пароход, груженный яйцами и киевской гастрольной труппой).

— Сел!

Ося Залкин негодуяще отряхивался:

— Чтoб моим врагам было так хорошо, как он сел! Он идет, и он скоро придет. Если не через час, так через два, но он обязательно придет, и вам, Пфейфер, стыдно отрицать науку или эти замечательные черпалки из за каких-нибудь сухих погод...

Кто знает, сколько бы они простояли на высоком берегу Сожа, если бы не раздался сзади тоненький голосок:

— Он сел и он не сел. Вы же не понимаете даже самой коротенькой диалектики. Можно подумать, что вы стопроцентные идиоты и читаете пароходное расписание. Кто же не знает, что солнце печет, что черпалки черпают, что наука это наука, и что «Коммунист» каждый день садится на мель, а потом ему, конечно, надоедает, и он сходит с мели, и он приходит в родной Гомель. Тогда он на радостях свистит, может быть, все сто раз. Если б у меня была труба, я бы тоже сейчас сви-

стел, потому что я тоже торчал на мели, и я сошел с нее и вернулся на этот высокий берег, и мое сердце кустаря — одиночки готово разорваться от восторга, когда я гляжу на свободные деревья, на всю организованную толпу дорогих мне личностей и даже на ваши проклятые брюки, незабвенный гражданин Пфейфер.

Увидев Лазика, спорщики сразу притихли. Вышел? Пусть вышел. Не целоваться же на улице с человеком, которого судили за оскорбление флага и герба! Пфейфер сдался:

— Пароход всегда приходит, раз законом установлены черпалки и летнее расписание, мы это понимаем без ваших опасных слов.

Лазик расхохотался:

— При чем тут расписание? Кажется, он должен приходиться рано утром, но он приходит поздно вечером, и я не возражаю. Можно идти по главной улице и тоже сесть на мель: это законы природы. Но почему вы, гражданин Пфейфер, изображаете какого-то британского дипломата, когда я дрожу от неслыханной радости? Я, может быть, пострадал именно из-за ваших брюк, но я ни капельки не жалею об этом. Я их замечательно сшил, не так, как сшил Цимах из лучшего материала что-то такое жулику Райкину, нет, я сшил их, как осмеянный бог. Вот посмотрите на эту складочку, разве она не выглядит, как улыбка?..

— Вы, вероятно, ослепли, некто Ройтшванец, в вашей заслуженной тюрьме. На мне, кажется, серые брюки и сшил их не кто иной, как товарищ Цимах, который честно кроит брюки, а не оскорбляет гербы. Вы хотели меня втянуть в ваш черный заговор с этими, будь они прокляты, брюками. Как будто я не знаю вашу подлую речь на суде, где вы ни с того, ни с сего произнесли мою чистую фамилию? Ко мне приходили шесть раз из за этих, будь они прокляты, брюк, и, если меня что-нибудь спасло, то только мое чистокрасное прошлое. Я их выкинул — эти, будь они прокляты, брюки. Я их выкинул, как самую грязную клевету, хоть они стоили мне трид-

цать пять рублей, утаенных не мной, а вами. Я могу вам сказать одно: пароход придет во время, и вы сидели за дело, я теперь настоящий кандидат его призыва, и я прошу вас, некто Ройтшванец, не разговаривать со мной, по крайней мере, в таких публичных местах.

Сказав это, Пфейфер быстро удалился. Разошлись гомельчане по домам, так и не дождавшись парохода. Лазик остался один среди свободных деревьев.

— Пфейфер попросту взбесился. Это бывает от жары, когда мелеет Сож, и от этого не помогают никакие черпалки. Цимах сшил ему жестокое посмешище; каждый видит, что складка совсем не на месте. Кандидатом его призыва я тоже могу стать, и я понимаю больше, чем Пфейфер в светлом китайском вопросе. А пока что надо зайти домой и, переменяв хотя бы необходимую рубашку, побежать, задыхаясь от всего приготовленного счастья, к товарищу Фене Гершанович.

Подойдя к своему дому, Лазик съезжился и обмер. Уж не спит ли он? Кажется, один ненормальный цадик часто спал, когда он не спал, и тогда он отчаянно кричал: «ущипните меня, чтоб я видел, наконец, сплю я или не сплю». Ущипните бедного Лазика! Нет, он не спит. Это улица Клары Цеткиной. Это третий дом от угла. Это сердце Лазика, беспокойное сердце, полное любви к Феничке Гершанович. Почему же над левым окном, где висела роскошная вывеска «мужеский портной» Л. Ройтшванец», теперь болтается какая-то юркая дощечка со зловещей надписью: «Изготовка флагов установленного образца, также лучшие пионерские барабаны Моисея Рейхенгольца»?

На всякий случай Лазик почтительно обнажил голову; минут пять простоял он, трепеща и поклоняясь, потом решился; тихо поскребся он в дверь, как провинившийся пес. Дверь открыл Пфейфер:

— Ах, это вы, несчастный Ройтшванец? Но зачем же вы пришли сюда? Разве вы не видите, что вас здесь нет? Здесь живет теперь гражданин Рейхенголец. И он вовсе не портной. Он даже изготавливает...

Лазик затрясся:

— Ради всего осмеянного лучше не говорите при мне этих уголовных слов! Я ведь никого не оскорбляю. Я только хочу спросить вас — где же в таком случае находится мое печальное имущество, хотя бы необходимая мне рубашка?

— Он, наверное, ее носит, этот Рейхенгольц. Как будто, если он изготавливает установленные флаги, ему не нужны рубашки? Говоря откровенно, он последний грубиян, у него неслыханные связи. Что ему ваша рубашка, если он вошел ко мне, увидел на столе пять крутых яичек и моментально слопал их все пять, он даже не сказал мне, что они ему почему-нибудь нравятся. Он взял все ваше печальное имущество, и он отдал вам только два жестоких воспоминания: вот эту вывеску и портрет португальского бича.

Лазик не стал оплакивать потерянной рубашки. Он даже не пожаловался на жестокость судьбы:

— Прощайте, Пфейфер! Вы были удивительным ответственным съемщиком, и вы не должны сердиться за то, что я произнес на суде вашу чистую фамилию. Это было взрывом неожиданного раскаяния, и я теперь сам раскаиваюсь в этом. Но в одном вы неправы: вы их напрасно выкинули. Это были замечательные брюки. Это были, наверное, мои последние брюки или, как поет Феничка Гершанович, это была моя лебединая песня. Я, кажется, больше не мужеский портной, но только неустановленная личность. Если я через четверть часа найду задуманное счастье, я буду жить на высоком берегу Сожа среди деревьев и питаться случайными ягодами. Я буду тогда счастливее, чем этот Рейхенгольц, со всеми его установленными связями. Но если я ничего не найду через четверть часа, я уеду куда-нибудь далеко — в Мозырь или даже в преступную Палестину.

Долго стучался Лазик в дверь служителя культа: ему не открывали. Наконец из окна высыпалась седая борода Гершановича:

— Спрашивается, почему ты скандалишь? Тебя ма-

ло учили в тюрьме? Если тебе не открывают дверь, значит ее тебе не хотят открыть. Я, конечно, отсталый гражданин, но я не бандит. Я молюсь за процветание всего необъятного Союза и я вовсе не хочу говорить с каким-то признанным злодеем.

— Простите мой неприличный стук, гражданин Гершанович, но горячие чувства сильнее всякого разума и я ждал этой минуты ровно шесть долговечных недель. Я вас попрошу только отодвинуть эту жестокую задвижку, чтоб я мог увидеть задушевные глаза вашей дорогой дочери.

— Я думаю, что моя дочка тоже не захочет разговаривать с таким ужасным преступником, если она поет международные мелодии и если она теперь все время разговаривает с уважаемым товарищем Шацманом.

Несмотря на маленький рост и на тоненький голос, Лазик был ревнив. Услыхав имя Шацмана, он начал еще сильнее стучать в дверь и визжать:

— Откройте ее! Если передо мной открылась железная дверь тюрьмы, предо мной откроется и эта смехотворная калитка. Феничка не может разговаривать с Шацманом, потому что у Фенички лебединая душа, а Шацман глуп, как индейский петух. Откройте дверь, не то я совершу преступление! Я оскорблю этого Шацмана, а, может быть, этот Шацман тоже какой-нибудь флаг или герб....

Перепуганный Гершанович открыл дверь. Он попытался успокоить Лазика:

— Зачем тебе понадобилась обязательно Феня? Разве ты не можешь жениться на какой-нибудь другой девушке? И о чем этот крик, когда она уже на одну треть его настоящая жена? Я говорю на одну треть — потому что я отсталый служитель культа. Чтобы жена стала женой, нужно, чтоб он надел на ее палец кольцо в присутствии двух хороших евреев. Это одна треть. И Шацман, конечно, этого не сделал. Нужно, чтоб он подписал брачный договор. Это вторая треть. И этого он тоже не сделал. Он подписал вместо этого удостоверение,

что я инвалид труда и что меня не следует отсылать в какие-то болота. Но остается последняя треть. Нужно, чтоб он провел с ней одну ночь, как с настоящей женой. И это он, наверное, сделал. Он провел с ней даже не одну ночь, а, может быть, двадцать ночей. Значит, для меня она его жена на одну треть. А для него она жена на все три трети.

Лазик впал в беспамятство. От гнева трясся на его крохотной головке пушистый хохолок. Он пищал:

— Я его заколю ножом, как в позапрошлом столетии!

На крик вышла Феничка. Она была в лиловом капоте и, увидев ее белую шейку, Лазик упал на колени. Он протянул к ней дрожащие руки:

— Вы настоящая сирень и вы дивный лебедь из ваших мелодий. Вы не можете быть женой Шацмана. У Шацмана только высокое положение и нахальная душа. Я никогда не говорил вам этого, но теперь я скажу вам ужасную вещь — я люблю вас самой отсталой любовью, и я могу сейчас же умереть от этих преувеличенных чувств.

Феничка в ответ захохотала:

— Тоже... Поклонник! Перемените лучше рубашку, она такая черная, как будто вы пришли на похороны.

— Я не могу этого сделать, потому что мои рубашки больше не мои рубашки. Их забрал один гражданин, который изготавливает неназываемые вещи. Но я пришел не на похороны. Если вы хотите, я пришел скорее всего на свадьбу, потому что, хоть я и презираю дешевый опиум вашего уважаемого родителя, я готов тотчас же выполнить все его три трети, чтобы только заслужить один ваш поцелуй...

— Вы думаете, что я могу целоваться с таким жалким пигмеем? Я выбрала товарища Шацмана, и вы мне прямо таки смешны. Чтобы стать моим свободным другом, нужен, во-первых, пол. А у вас нет никакого пола. Вы десять раз со мной гуляли в парке и ни разу вам не пришло в голову, что меня можно нахально поцело-

вать. Вы должны жениться не на женщине, а на какой-нибудь божьей коровке. Во-вторых, нужны деньги. Что вы мне подарили за все время? Порцию мороженого с лотка и глупые разговоры. В третьих, нужно положение. Замечательная фигура — бывший портной из воровской тюрьмы! В четвертых, мне нужны духовные наслаждения. Может быть, вы скажете, что вы умны, как Троцкий? Может быть, вы скажете, что вы умеете танцевать фокс-трот? Вы даже не повели меня ни разу в американское кино. Вы только ходили и вздыхали, как товарный паровоз. Хорошенький любовник! Что же вы молчите?

Феничка больше не смеялась — она негодовала. Ее голос звучал сурово и непоправимо, как речь гражданина прокурора. Подумав, Лазик ответил:

— Вы совершенно правы, товарищ Гершанович, и я сейчас уйду в глубокую ночь. Я только объясню вам, почему я не поцеловал вас нахально, гуляя в парке, и почему я не подносил вам самых роскошных туалетов. Это называется смешная история об одной корове. Может быть, я ее прочел где-нибудь в Талмуде, а, может быть, мне рассказал ее Левка-парикмахер — он ведь любит позорные анекдоты.

Одному еврею нужны были к субботе свечи, и у него не было денег. Тогда он продал соседу корову. Но вот проходит день или даже два дня и сосед кричит в необыкновенном возмущении:

— Твоя корова не дает молока...

Но еврей преспокойно ему отвечает:

— Я не понимаю, почему ты сердисься? Она же не дает молока не потому, что она не хочет, а потому, что она не может. Ты знаешь, что я тебе скажу — у нее, наверное, нет молока.

Вот и все, товарищ Феня Гершанович. Правда, у меня была горячая любовь и другие позапрошлые чувства, но они теперь никому не нужны. Я желаю вам чудного счастья с этим неназываемым Шацманом, и я прошу вас не сердиться на поруганного пигмея.

Ночь Лазик провел на высоком берегу Сожа, а рано утром он направился к своему бывшему дому; не потревожив Пфейферов, он прямо обратился к гражданину Рейхенгольцу:

— Я пришел к вам не за рубашками. Вы можете их носить до вашего полного успокоения. Зачем мне говорить с вами о рубашках, когда вы все равно не станете со мной об этом говорить? Я же знаю, что у вас неслыханные связи. Но я прошу вас купите у меня за четыре несчастных рубля эту роскошную вывеску. Она вам, наверное, пригодится. Может быть, вы вздумаете стать мужским портным. Это гораздо спокойнее. За оскорбление брюк ведь никого не судят. Но если вы даже не станете портным, может быть, вы вздумаете переменить фамилию. Я вас уверяю, что «Ройтшванец» гораздо ближе к текущему моменту, чем этот пышный «Рейхенголец». Тогда вы замажете верх и у вас будет роскошная вывеска. Наконец, вы можете замазать все и написать самые необыкновенные вещи. Это хороший доверенный материал, и она выдержала восемь разнообразных режимов. На ней стояли смешные твердые знаки и даже какая-то петлюровская завитушка. Дайте мне четыре рубля, и я тотчас же уплыву в неизвестные страны. Я возьму с собой только портрет португальского бича и мое ужасное положение. Если же вы не купите вывеску, я могу умереть у дверей моего бывшего дома и тогда вам будет, наверное, неприятно носить рубашки какого-то живого самоубийцы.

Пароходик отплыл согласно летнему расписанию. Он задорно посвистел, но через полчаса сел на мель. С сочувствием Лазик потрепал борт:

— Это ничего. Это бывает. Потом это проходит. Мы еще с тобой посвистим, дорогой пароход! Я потерял вывеску и счастье. Я потерял даже Феничку Гершанович. Я вполне случайно не умер. Значит, я должен жить. Что же, через неделю я буду каким-нибудь замечательным кандидатом.

Корабли выходят в открытое море, и гомельские портные становятся историческими личностями. По сравнению с Днепром судоходный Сож кажется жалкой речушкой. Что сказала бы Феничка Гершанович, увидев крепдешиновые манто в «Пролетарском саду»? А речи!.. Куда тут товарищу Ландау! Гремят автобусы, сверкают огни, прямо по беспроводному телефону разносятся пылающие призывы.

Лазик Ройтшванец сдержал обещание. Прибыв в Киев, он стал честным кандидатом и даже дежурным членом клуба служащих «Харчсмака». Он ходил теперь все время на цыпочках. Скажу без натяжки, несмотря на всю тщедушность комплекции, он готовился к большому плаванию, как и подобает большому кораблю.

Однако, и здесь ожидали его тяжелые испытания. Мишка Минчик тоже был кандидатом, и к тому же он был большим лентяем. Лазик, тот во сне бормотал: «Чанг-Кай-Ши, Чанг-Тсо-Лин, Сун-Чунг-Фанг». Мишка Минчик не хотел утруждать себя подобной зубрежкой. Нет, он только восторженно улыбался, сталкиваясь с мужественной физиономией секретаря контрольной комиссии товарища Серебрякова.

По вечерам в клубе служащих «Харчсмака» молодежь танцевал, и в этом, разумеется, не было ничего предосудительного. Лазик хорошо понимал, что если двигают ногами какие-нибудь парижские империалисты — это есть настоящее издыхание разлагающегося трупа,

когда пляшут на вулкане и когда призрак уже бродит под окном, напоминая о себе бешеным плеском знамен, но если двигает ногами бодрый молодняк, это только крохотная передышка, и это даже развитие боевой энергии для грядущих схваток. Будучи дежурным клуба, Лазик нежно поглядывал на танцующие парочки и приговаривал: «вертись, вертись, бодрый молодняк». Самъ он не танцевалъ потому, что не мог забыть сиреневого капота Фенички Гершанович и еще потому, что никто из женского молодняка с ним танцевать не желал, ссылаясь на его исключительный рост и на чересчур отзывчивую натуру. Все шло по-хорошему, но тут-то выступил Мишка Минчик:

— Интересно, почему это дежурный не смотрит за своими прямыми обязанностями? Никто не возражает, когда молодняк танцует настоящий вальс или танцы наших великих меньшинств. Но, по моему, некоторые товарищи танцуют самый откровенный фокс-трот, несмотря на все суровые декреты. Если это будет продолжаться, мне придется обратиться к товарищу Серебрякову.

Лазик растерялся:

— Я могу даже во сне отличить розового предателя Чанг-Кай-Ши от безусловного мясника Чанг-Тсо-Лина, но я не умею отличить этот уголовный фокс-трот от вполне дозволенного вальса, и я не знаю, что мне теперь делать?

Мишка Минчик услужливо ответил:

— Это очень просто, товарищ Ройтшванец. Вы можете, конечно, изучить музыкальные арии, но это вам совершенно не поможет, так как они слышат ушами одно, а ногами выводят совсем другое. Значит, вы должны изучить недозволенные прыжки. Отправляйтесь на улицу Карла Маркса в дом номер шесть, там молодой паразит Поль Виолон за какие-нибудь пять рублей немедленно разовьет вас, а тогда вы сможете честно выполнять ваши прямые обязанности дежурного.

Лазику пришлось отказаться от ужинов, чтобы вы-

гнать необходимые пять рублей. Но Поль Виолон, он же, говоря иначе, Осип Кац, гордо заявил Лазику:

— За какие-нибудь пять рублей я могу вас научить отсталому вальсу, но американский фокс-трот стоит десять рублей, потому что это запрещенная литература и я должен буду заниматься с вами в изолированном углу, среди драгоценных ковров.

Лазику пришлось отказаться и от обедов. Танцы давались ему с трудом. Осип Кац шептал:

— Молю вас, дергайте этой ножкой, так будет значительно шикарней!

Лазик потел, дергал ногой, и для успокоения своей совести приговаривал:

— Я этим занимаюсь вовсе не для шика, но как обыкновенным китайским вопросом, потому что я безшибочный кандидат.

Закончив науку, Лазик иными глазами взглянул на танцующий молодняк. Это — ничего. Это — уже сомнительно. А это... Это!..

Он подбежал к таперу:

— Что за провокаторские мелодии вы исполняете, уважаемый товарищ?

— Вальс «Мечта».

— Хорошенький вальс!..

И расталкивая танцующих, Лазик храбро ринулся к одной сугубо преступной паре. Он схватил рослого мужчину за бедра, ибо выше достать он никак не мог:

— Опомнитесь, сумасшедший гражданин! Вы знаете, что вы делаете? Вы делаете преступление. Как будто я не вижу, куда вы заходите вашей левой ногой! Он играет вальс из позапрошлого столетья, а вы плюете на него; вы разлагаетесь на глазах у всего молодняка, как будто вы не в клубе служащих «Харчсмака», но на вулкане в Нью-Йорке. Я истратил десять кровных рублей, чтобы определять эти незаконные выходки. Я вас не отпускаю отсюда. Я отведу вас к товарищу Серебрякову, потому что я безоблачный кандидат. Я сказал себе: «лезь, Лазик», и я лезу...

Высвободив свою ногу, высокий мужчина мрачно ответил Лазику:

— Во-первых, я сам Серебряков. А во-вторых, мы сейчас поговорим с вами, на что вы истратили десять рублей и как вы понимаете обязанности члена.

(Мишка Минчик, видимо, успел во время осведомить товарища Серебрякова).

— Кандидат проводит вечера в отвратительном вертепе среди буржуазных подонков. Стыдитесь, товарищ! Вместо огромных проблем мирового движения или нашего хозяйственного строительства вас интересуют какие-то нездоровые забавы, эротические эксцессы, на-кипь Нэпа. На что вы тратите ваше время?..

— Простите, товарищ Серебряков, я даже потратил на это десять рублей и хоть идеологически время дороже денег, для меня деньги немножечко дороже времени, потому что у меня вообще нет денег, а в Гомеле у меня до недавно шесть недель совершенно ненужного мне времени. Вы спрашиваете меня, на что я потратил эти кровные десять рублей? Я вам отвечу: на трактат об одном яйце. Это кусочек глупого Талмуда. Когда мне было тринадцать лет, я зубрил этот трактат с утра до ночи. Скажем, если курица снесла яйцо в субботу, можно его кушать или нельзя? С одной стороны, курица явно грешила, в субботу надо отдыхать, а она вздумала себе нести яйца, но, с другой стороны, она же вынашивала это яйцо в самые разнообразные дни, а в субботу она только облегчила свою душу. Я скажу вам, товарищ Серебряков, что существуют две фракции талмудистов, одни говорят, что субботнее яйцо чистое, другие говорят, что оно нечистое, и об этом яйце написано каких-нибудь сто невозможных страниц. Я никогда не мог понять, зачем столько дискуссии вокруг одного яйца, которое, наверное, скушал какой-нибудь престарелый дурак. Но вот теперь я понимаю, что это замечательная наука. Вы спрашиваете, чем я занимался у молодого паразита? Яйцом. Если подвернуть ногу налево, то это невероятный скандал, а если загнуть ее и чуточку при-

сесть, так это самое честное занятие. Я боюсь оскорбить ваш безусловный стаж, товарищ Серебряков, но мне кажется, что вы вот этой ногой заглянули совсем не туда, хотя я еще подумаю над этим; может быть, такое авторитетное па можно истолковать иначе. Это, вероятно, зависит от того, к какой школе принадлежать, рассматривая яйцо, если к той, что....

— Хватит! Чорт знает, чем набита ваша голова! Я вам советую лучше заняться...

— Простите, я уже занимаюсь. Вся сущность в Ханькоу. Теперь мне остается...

— Да, да, вот об этом не мешает поговорить. Мало того, что вы сами развратничаете в притоне некоего Каца, мало того, что вы вносите в товарищескую атмосферу враждебный дух вашими глупыми выходками, вы еще проявляете тупое щкурничество в своем отношении к партии. Что значат эти слова: «лезь, Лазик»? ..

— Очень просто. Я предан светлой идее, и я лезу. У нас в Гомеле говорят: «если нельзя перепрыгнуть, надо перелезть». Вы, конечно, полны ума и стажа. Вам ничего не стоило прыгнуть. Вы и прыгнули. А я? Вы же сами говорите, что у меня голова набита чорт знает чем. Так мне остается только лезть, и я себе тихонечко лезу. Я прошу вас простить мне, что я вас схватил за авторитетную ногу. Я ведь знал только вашу роковую фамилию. Я не буду больше омрачать вашей атмосферы. Я ведь теперь понял, что иногда можно кушать эти яйца, если только...

Серебряков не выдержал. Он внушительно постучал кулаком по дубовому столу:

— Можете итти, товарищ. У меня слишком мало времени...

Вежливо кланяясь, Лазик удалился из кабинета. В дверях он, однако, успел договорить:

— Ну да, у вас слишком мало времени, чтобы терять его, как я, например, потерял мои кровные десять рублей...

В коридоре он встретился с Мишкой Минчиком:

— Что же вы скажете после разговора с товарищем Серебряковым? Как вам нравится их безусловная дисциплина?

— Я скажу, что это гораздо труднее, чем Талмуд. Но, все-таки, я попробую пролезть. Я еще остаюсь кандидатом, хоть я теперь немного затуманенный кандидат.

Мишка Минчик не успокоился. Он снова толкнул Лазика на безумный поступок. Произошло это в связи с циркуляром об изъятии из клубных библиотек идеологически вредных книг. Лазик числился библиотекарем и, получив бумагу, он не на шутку взволновался. В циркуляре были перечислены тысяча семьдесят два названия, а в библиотеке клуба «Харчмака» имелись всего на всего три книги: «Пауки и Мухи», задачник Евтушевского и монография поэтического стиля Демьяна Бедного. Ни одна из этих трех книг не значилась в присланном перечне.

— Теперь я вижу, что талмудисты были самыми смешными щенками. Что они придумали? Еврею, например, нельзя кушать осетрину. Потому что осетрина это дорого? Нет. Потому что это невкусно? Тоже нет. Потому что осетрина плаваёт без подходящей чешуи и, значит, она вполне нечистая, и еврей, скушав ее, осквернит свой избранный желудок. Пусть это едят другие, низкие народы. Я вам говорю, товарищ Минчик, эти щенки разговаривали о каких-то блюдах. Но вот пришел, наконец, настоящий двадцатый век, и люди поумнели, и вместо глупой осетрины перед нами стоит какой-нибудь Кант, а с ним тысяча семьдесят одно преступление. Пусть французы на вулкане читают все эти нечистые штучки, у нас избранные мозги, и мы не можем пачкать их разными нахальными заблуждениями. Да, это замечательно

придуманно, и я не понимаю только одного: как я могу изъять эти книги, когда здесь нет этих книг?

— Если сказано «изъять», значит, надо изъять. Я вам советую, товарищ Ройтшванец, обыскать все это обширное помещение.

— Простите, товарищ Минчик, но где же я найду эти недоступные книги? Я сам понимаю, что надо очистить весь безупречный дом. Это, как перед пасхой, когда ищут, не завалилась ли под шкаф корочка нечистого хлеба. Но в этом безупречном доме, кажется, вовсе нет книг. Я могу посмотреть в буфет, но там, конечно, только мелкоградусное пиво и вполне дозволенная колбаса. Правда, хорошие евреи, когда нет под шкапом корочки, нарочно подкидывают ее, чтобы было что сжечь; один еврей подкидывает, а другой еврей находит и, конечно, оба понимают, что это смешные штучки, но за то они замечательно молятся и выполняют на все сто процентов свой строжайший циркуляр. Если б у меня был дома Талмуд, я принес бы его сюда и изъял бы его отсюда, потому что ведь Талмуд наверное значится в этом смертоносном списке. Но у меня нет Талмуда, у меня Талмуд только в голове и я не могу изъять мою злосчастную голову.

— Зачем изъять свою голову, когда надо изъять только чужие книги, и это очень просто, стоит посмотреть в различных закоулках, например, в этом анонимном портфеле, может быть, в нем вы найдете заразные книги.

— Мне становится невыносимо лезть к моей светлой цели. Легче, кажется, утонуть в бушующем океане, который зовут почему-то «Днепром», чем хватать чужие ноги или залезать в чужие портфели. Но я лезу к моим идеалам и я лезу, и я пролезу.

Товарищ Серебряков застал Лазика над раскрытой книгой.

— Во-первых, вы читаете, чорт знает, что. А, во-вторых... во вторых... во вторых, вы посмели залезть в мой портфель!..

— Я вообще не читаю этот смешной роман для чтения, я его читаю для голого изъятия, и я не понимаю вашего справедливого гнева, товарищ Серебряков. Я думаю, что вы должны быть мне благодарны за то, что я очистил ваш авторитетный портфель от этой перечисленной заразы. Вы теперь должны простить мне заблуждение с вашей левой ногой. Вы ведь испугались, что я могу отравиться этой осетриной, но вы ее носили в своем портфеле, и вы наверное отравлялись ей, хоть она решительно без чешуи. Почему же вы снова сердитесь на меня? Вы снова кричите «во первых» и «во вторых». Я прошу вас, не томите мою слабосильную душу. Крикните уже «в третьих» и тогда я буду знать, что мне делать. Тогда я, может быть, начну спешно нюхать все цветы или глядеть на растраченные зря звезды.

Товарищ Серебряков, однако, не сказал «в третьих». Он только зловеще усмехнулся.

Товарищ Тривас занимался со служащими «Харчака», согласно новейшей системе. Скучные лекции он заменял непринужденной беседой. Он начинал сразу с дружеского обмена мнений или же с ответов на неподанные записки.

Так было и теперь. Поглядев на восторженное личико Лазика, товарищ Тривас сказал:

— Ну! Задавайте вопросы.

Лазик задрожал:

— Я еще не совсем знаю, о чем я должен сейчас спрашивать: о чистом разуме муравьев или о позорной ливрее какого-нибудь амстердамского мясника?

— В таком случае я задам вам вопросик. Как вы смотрите, например, товарищ, на половые функции в свете этики образцового члена ячейки?

— Простите, но я еще не подготовился к этому. Может быть, вы спросите меня о чем-нибудь другом, например, о Чанг-Тсо-Лине или даже о стокгольмском съезде? Я ведь не знаю никаких половых достижений. Правда, в Гомеле я встречался с дочерью служителя культа, с бывшим товарищем Феней Гершанович. Но мы оба были совершенно безпартийными и у нас не было никаких функций, если не считать моих чисто патологических вздохов. Конечно, теперь к бывшему товарищу Гершанович примазался один настоящий член ячейки, скажем, товарищ Шацман, но я думаю, что это перечисленный фокс-трот или даже хищническая концессия, пото-

му что Феня Гершанович любит шумные туалеты и пол, а у Шацмана нет никакой этики, зато у него стопроцентное положение и все вместе это исключительно функции, как у несознательных паразитов, но нет ни горячей любви, ни чисто пролетарской сирени, которая доводит мое преданное сердце до этих публичных слез.

И вспомни лиловый капот Фени Гершанович, Лазик заплакал к общему удовольствию сучающих служащих «Харчсмака».

Хоть Лазик орошал свои брюки самыми обыкновенными слезами, товарищ Тривас в восторге закричал:

— Вот она, типичная розовая водица мещанской надстройки! Мы должны покончить с позорными предрассудками. В основе пол это голое средство размножения и поскольку в дело не вмешивается капитализм Мальтуса и прочие перегородки, мы можем рассматривать так называемую «любовь», как строго производственный процесс двух кустарей-одиночек. Чем короче он, тем больше времени остается у пролетариата для профсоюзов и для кооперации. Что же касается слез выступавшего товарища, то они характерны, как пережиток собственности, когда фабрикант рассматривал товарища-женщину, как свои акции. Этому пора положить предел. Я не возражаю против самих функций, поскольку вы — бодрый молодняк, но услышав слюнки о любви, знайте, что это преступное втирание очков и, как паршивую овцу, гоните прочь всякого, кто только вздумает заменить железный материализм какойнибудь любовной кашицей.

Лазик послушливо высморкался. Минчику он признался:

— Это в десять раз труднее, чем хедер. Там нас учили, что на свете существует очень много вкусных вещей, которые нельзя кушать. Это глупо, но это яоно. А здесь нам говорят: «вы можете кушать хотя бы выдуманые Левкой бананы, но вы должны их кушать, как самую низкую картошку, вы не смеете улыбаться или даже плакать от контрабандного счастья, нет, вы дол-

жны посыпать их какой-нибудь обыкновенной солью». Я боюсь, что я на всю жизнь останусь мрачным кандидатом, потому что мне легче умереть среди заноз и паутины, нежели забыть, как пахнет сумасшедшая сирень.

Вечером Минчик повел печального Лазика в парк. Это было чрезмерно жестоким утешением. Лазик видел на небе звезды и на земле цветы, пышные, как пережитки. Беспартийные парочки целовались под кустами. Вдруг Минчик остановил Лазика:

— Ты видишь эту разлагающуюся девицу? Это же никто иной, как товарищ Горенко, член нашего клуба «Харчсмак». Она сегодня была на лекции товарища Триваса, но, можно сказать, что она там не была, потому что она себя ведет, как самая паршивая овца. Я думаю, что тебе нужно действовать, дорогой товарищ Ройтшванец.

— Я не хочу быть черным высматривателем. Я не хочу губить эту отсталую душу, которая любит, как и я, позапрошлую сирень.

— Кто говорит, что ты должен ее губить? Ты должен спасти ее от самых ужасных последствий. Ты должен спасти ее, а с ней и этого несчастного мужчину от какой-нибудь беспощадной комиссии. И потом я грозно спрошу тебя: ты все таки кандидат, товарищ Ройтшванец, или ты сразу готовый отступник в ливрее?

Лазик робко подошел к парочке. Он не видел лиц. Он только слышал страстный шопот:

— Я люблю вас, Аня! Мы уедем в Крым. Ваши губки, как роза.. .

Лазик вскрикнул:

— Я умоляю вас, прекратите сейчас же эту противозаконную демонстрацию! Может быть, я сам мечтал о подобных предпосылках, хоть я люблю не розы, а сирень или даже несуществующую орхидею. Но я не могу видеть вашего жестокого самоубийства. Дорогие кустарники - одиночки, я тоже кустарь и я тоже одиночка. Я срочно скажу вам, вы должны заниматься половым производством, а у вас, вместо голого пола, выходит какой-

то упраздненный Крым. Я заклинаю вас, во имя контрольной комиссии, немедленно замените этот ангельский разговор одной вполне дозволенной функцией.

На этот раз товарищ Серебряков даже не усмехнулся. Он только взглянул на Лазика, и Лазик сразу понял все. Он быстро побежал прочь. До утра он бегал по опустевшим аллеям парка, а утром он напугал парикмахера «Жоржа», то есть Симху Цукера загадочной просьбой:

— Побрейте меня сильнее, товарищ Жорж, побрейте меня до самого основания, раз и навсегда, на шесть недель, может быть, на все шесть лет! Тчан-Тсо-Лин, конечно, разбит, и мы можем улыбаться. Но остается недоступная мне функция... Теперь он наверное скажет «в третьих» и я, Лазик Ройтшванец, затихну среди вековых паутин.

— Вы скрыли ваше темное прошлое и восемьдесят седьмую статью уложения. Вы пытались укрепить свое положение нелепыми доносами. Вы проявили чуждую нам идеологию: антисемитизм, мистицизм и болезненную эротику. В беседах с одним молодым товарищем вы приравнивали разумную дисциплину к каким-то средневековым пережиткам. Отвечайте!

— Может быть, я могу, как товарищ Тривас на своих мировых лекциях, вовсе не отвечать вам стройным хором, но задавать небольшие вопросы? Это доведет наш текущий момент до великой диалектики. Я, например, спрошу вас — зачем мне было скрывать восемьдесят седьмую статью? Ведь это же не пфейферские брюки. Я столько говорил о моих шести вековечных неделях, что это надоело даже буфетной колбасе. Когда я раскрывал рот, бодрый молодняк «Харчсмака» убегал от меня, как от одной гомельской бочки, восклицая: «этот Ройтшванец снова начнет жаловаться на свою занозливую тюрьму». Другой вопрос: кому я, извиняюсь за черное выражение, громко доносил? Я только тихонько шепнул одному авторитетному члену об его собственной ноге. А если я потревожил функции товарища Горенко и этого неназываемого кустаря-одиночки, то исключительно в порыве безусловной дисциплины. Третий вопрос, как я могу быть кошмарным антисемитом, если я сам стопроцентный еврей из Гомеля? Вопрос четвертый и совсем небольшой: что такое «болез-

ненная эротика»? Если это некоторые функции, то я, увы, ими вовсе не занимался, ни в здоровом, ни в больном положении, за что и был справедливо поруган товарищем Тривасом при стечении всего бодрого молодняка. Я могу задать вам еще сто вопросов, но я не хочу у вас отнимать ваше знаменитое время. Я только спрошу вас, товарищ Серебряков, почему же вы, гуляя ночью в ароматном парке, не украсили вашу авторитетную грудь каким-нибудь сигнальным фонариком? Почему вы не опечатали вашего портфеля вопиющей печатью? Почему, заходя левой ногой, вы не крикнули в огромный рупор, что это заходите именно вы, а не я и не другой Ройтшванец? Почему вы смущали мою неокрепшую душу вашим безмолвным мистицизмом?

Товарищ Серебряков иронически прищурился:

— Это все?

— Нет, это еще не все. Я хочу вам сказать о вашем «молодом товарище». Его, конечно, нужно поблагодарить. И я говорю ему: «народное мерси, дорогой товарищ Минчик! Ты теперь, конечно, вместо трепещущего кандидата станешь вполне стойким членом, и вот я предлагаю тебе немедленно жениться на одной драгоценной особе. Правда, у нее злополучная фамилия, но это может помешать какой-нибудь колоратурной певице, а она всё не певица, нет, она только гуляет по улицам Гомеля и, если ты женишься на ней, дорогой товарищ Минчик, вы сможете гулять вместе и это будет настоящая международная мелодия.

Товарищ Серебряков нахмурился:

— Это все?

— Нет, это еще не совсем все. Так как я неслыханно осмелел от моего грохочущего провала, я хочу вам сейчас же высказать одну мысль, курчавую, как предстоящая мне борода. Вы, конечно, знаете, что отсталые евреи верят в Тору. Тора — это такой закон, который свалился прямо таки с неба, и вот они няньчатся с Торой, как вы няньчитесь с вашей безусловной дисциплиной. Каждое утро они благодарят бога, что он им подарил

эту невыносимую Тору. Они ее читают и перечитывают, из одного закона они делают тысячу, и они не могут в субботу курить, и они не могут кушать какие-нибудь битки в сметане, и они ничего не могут, они сто процентные ослы, и это понятно каждому марксисту. Но вот раз в год они окровавливаются со своим выдуманым богом. Они говорят с ним вполне по душам, как я говорю сейчас с вами. Евреи обязаны радоваться исходу из Египта, хотя, может быть, они именно хотят теперь попасть в этот потерянный Египет, и они радуются, потому что таков закон; они едят толченые орехи и они пьют сладкое вино. Вот тогда то они и начинают прямой разговор с богом. Конечно, они не ругаются, они говорят, как роскошные дипломаты; ведь если нужно подпустить позапрошлую вежливость, беседуя с каким-нибудь эстонским послом, то тем паче евреи надевают на свои слова смехотворные фраки, когда им приходится говорить своему избранному богу довольно таки неприятные вещи. Они начинают издали, чтобы не обидеть бога. Они расшаркиваются перед ним: «если бы ты только вывел нас из Египта и ничего больше не сделал, то и это было бы хорошо». Они подходят с другой стороны: «если бы ты дал нам манну и ничего больше не сделал, то и то было бы хорошо». А потом им надоедает, и они уже с нахальным отчаянием говорят: «но, если бы ты нас вывел и, если бы ты нам дал манну и, если бы ты вообще не дал нам этой самой Торы, то было бы замечательно хорошо». Это, конечно, можно говорить только раз в год, когда это стоит вот здесь в горле, и вот я говорю вам это, товарищ Серебряков.

Грозно крикнул товарищ Серебряков:

— Это, наконец-то, все?

— Это почти все, но это еще не все. Я отчислил один рубль восемьдесят копеек в пользу общества «Руки прочь от Китая», хотя я вообще не собираюсь хватать этих трехсложных китайцев своими руками, у меня и так от них разрывается слабосильная голова; но я с удовольствием оплакал мой один кровный рубль семьдесят

копеек. Пусть их никто не хватает. Зачем залезать руками в какой-нибудь сплошной Китай? И затем я понимаю, что служащий «Харчсмака» должен буйно приветствовать возрождение самого последнего востока. Против этого я не возражаю. Нет, меня занимает один роковой вопрос: что, если я устрою добровольное общество: «Руки прочь от несчастного Ройтшванца», с уставом и с вопиющей печатью, скажите мне, подействует это или нет? Я, конечно, не попрошу у вас, товарищ Серебряков, никаких восторженных отчислений, вроде оплаканного мною одного рубля семидесяти копеек. Нет, теперь меня интересуют не деньги, а время, то есть предстоящие мне шесть недель или даже шесть лет. Я хочу знать, как отнесется к этому мощному обществу какой-нибудь новый Минчик и станут ли меня, после таких восторженных лозунгов хватать бескорыстными руками?

Здесь товарищ Серебряков не выдержал. Задыхаясь, он крикнул:

— Это все? Это все?

— Это, кажется, все. Нет, это не все. Мне остается сказать вам одну вполне интимную новость: вы можете теперь со мной не церемониться, так как я вас все равно перехитрил с самого утра. Вы еще только сидели и думали, чтобы такое сделать с Ройтшванцом, а я уже все понял и я моментально побрился.

Прошло несколько недель. Опали деревья в «Пролетарском саду», товарищ Аня Горленко проследовала вместо Крыма в лечебницу. Поля Виолона увезли куда то на восток. Только Днепр попрежнему сверкал под роковым обрывом. Как то утром Лазик, весь заросший рыжей бородкой, постучался в дверь Мишки Минчика.

— Так ты не женился на Пуке? Жаль! Ты по крайней мере стал непрерывным членом. А она? Она ничего не получила. Я, скажу между нами, я боюсь, что она останется навеки бездетной, эта замечательная гражданка. Но ведь такие мелодии не должны замирать без следа. Впрочем, я вовсе не хочу насиловать твоих свободных функций. Я пришел к тебе совсем по другому делу. Мне придется покинуть Киев, как я уже однажды покинул родной Гомель. Это законы природы, я чувствую, что мне предстоит полный круговорот. Думал ли безответный Мотель Ройтшванец, что его замотильному сыну предстоит такая бурная жизнь? Но я не плачу. Я утешаю себя словами одного умного цадика. Он сказал, что двигаться, это значит жить, а сидеть на одном месте, это значит умереть. Самая скверная кляча лучше самого пышного дворца. По моему, еврей, который не двигается, это даже неприлично, это как поломанный паровоз. Итак, я покидаю Киев. Я разучился кроить брюки, и я не могу стать удивительным спецом, потому что я вовсе не знаю государственного языка. Я выучил десяток слов, не считая авторитетных имен, но, оказалось,

что это вовсе не украинские, а белорусские слова. Меня учил Юзя-настройщик, и он, конечно, надул меня. Я решил уехать в маленький городок, где нет ни бурных рек, ни грохочущих фокс-тротов, ни таких государственных языков, как, скажем, твой язык, Минчик. Ты думаешь, что я пришел к тебе проститься и поцеловать твои бритые ежедневно щеки? Как же я могу подобной глупостью отрывать тебя от твоих великих забот? Нет, я пришел, чтобы прежде всего спросить тебя — скоро ли установится настоящий мир, то есть, после нашей смерти или до нашей смерти?

Мишка Минчик бодро сплюнул:

— Какие тут могут быть разговоры? Конечно, до. Это зависит от одного-другого урожая и от полного уничтожения Тчан-Тсо-Лина. Это дело плевых минут.

Лазик радостно улыбнулся.

— Очень хорошо, что ты так думаешь, Минчик. Скажи мне теперь — в этом настоящем мире у каждого будет своя часть, и все эти части будут равны — так или не так?

— Конечно так, за исключением паразитов, которых тогда вообще не будет.

— Теперь послушай меня, Минчик, я пришел к тебе с очень выгодным предложением. Я хочу тебе продать мою часть за какие-нибудь десять несчастных рублей. Это же не деньги! Паразит Поль Виолон взял с меня за уроки позорных телодвижений тоже десять рублей. Это же не деньги! Паразит Поль Виолон взял с меня мою свежую часть в этом будущем мире и я согласен выдать форменную расписку.

— Ты, что же сошел с ума, Ройтшванец, после стольких злодейских прыжков? Как ты смеешь предлагать мне, проверенному марксисту, какой-то мистический кукиш?

— Почему ты сердисься? Это вполне здоровый товарообмен. Я от тебя не скрою, что я надул Арона Когана, но тебя я вовсе не собираюсь надувать. Арон Коган купил у меня совсем другое. Он, как и всякий отста-

лый продукт, верил в загробную жизнь. Ему было мало, что он был в Гомеле строительным подрядчиком и каждый день кушал курицу, он захотел кушать курицу на небе и так как он был неслышанным обжорой, он наверное побоялся, что ему дадут там слишком мало, ну, какую-нибудь лапку или крылышко. Каждому еврею приготовлена одна часть в будущей жизни, и вот я продал Арону Кагану мою часть. Я его надул вдвойне. Во-первых, я уже однажды продал эту часть, еще будучи мальчиком, в хедере, я ее проиграл, когда я играл с другими мальчиками на пуговицы. Конечно, Кагану я об этом не сказал, потому что нельзя же продавать уже проданную вещь. А во-вторых, я знал, что я умнее его и что существует, скажем, обыкновенный газ или печальные кости, но никаких загробных блюд. Кагана я надул, но с тобой я веду вполне деловой разговор. Я тебе предлагаю самую настоящую часть в настоящем мире. Если ты стойкий член и веришь в наше светлое торжество, как же ты не хочешь мне дать десять переходных рублей ради такого близкого счастья?

— Мне некогда слушать твой смешной бред, Ройтшванец. Отправляйся лучше в какое-нибудь сатирическое обозрение, если у тебя такой пышущий талант. Я тебе дам один рубль, чтобы ты сейчас же ушел отсюда.

— Нет, ты мне дашь, кроме этого рубля, еще девять других рублей. Билет ведь стоит червонец, и я должен уехать отсюда. Если я останусь в Киеве, я останусь у тебя, Минчик. Я, может быть, перережу себе шею твоим пролетарским ножом или я повешусь на твоих честных подтяжках. Посмотрим, что ты тогда скажешь с твоим государственным языком! Ты будешь дрожать, как самая маленькая дробь. Дай мне еще девять рублей и я уеду далеко отсюда, чтобы начать тихую жизнь бывшего кандидата в каком-нибудь бывшем парке, среди бывших или даже не бывших цветов.

Велика сила человеческого слова: два часа спустя Лазик гордо подошел к железнодорожной кассе, сжимая в руке все десять рублей.

В вагоне было тепло, накурено, уютно. Лазик, блаженствуя, жевал охотничью колбасу. Вдруг один из пассажиров, глядя на Лазика в упор, спросил:

— Простите, гражданин, вы не Пыскис ли из Белгорода?

Лазик затрясся.

— То есть, как это Пыскис? Я прошу вас прекратить подобные намеки. Я всего на всего Ройтшванец, и я, кстати, не из Белгорода, а из Гомеля. Я вовсе не знаю, кто этот Пыскис. Может быть, он последний растратчик? Может быть, он выстрелил в когонибудь? Тогда при чем тут я, если у меня билет до самой Тулы и трудовая книжка?

— Да, вы не обижайтесь! Этот Пыскис не убийца, а дантист. Правда, у моего сослуживца Егорова он вырвал четыре здоровых зуба и Егоров обещал его отлупить. Так это Егоров, а не я. Я ведь только из любопытства спросил. Вот какое сходство! Курьезы природы. . .

— Хорошенькие курьезы! У нас в Гомеле был сапожник Шайкевич. Он пил круглый год «пейсаховку» и ругал соседа Вульфа «полосатой блохой». Так вот, пришли белые, и они вдруг объявили, что этот Шайкевич переодетый командир конной армии, хоть все в Гомеле знали, что Шайкевич умер бы от страха, если бы его посадили верхом на живую лошадь даже в самое мирное время, но его все таки расстреляли, как конного командира. Этого вам мало? Так я могу сказать вам, что

подрядчика Закса прикончили потому, что он был похож на какого то деникинского генерала, хотя опять таки все великолепно знали, что Закс играет в «стуколку» и ревнует жену, а генерал наверное стреляет из пушки или скачет, как безумный, по пылающему полю битвы. У Закса, видите ли, был подозрительный подбородок. А после всего этого, вы сидите напротив меня в честном, то есть жестком вагоне, и пьете чай, я жую себе колбасу и вы говорите вслух, что я, это не я, а загадочный Пыскис. Я же могу умереть, если не из за подбородка, так из за носа! . .

— Бывает! Как говорится — судебные ошибки. Вот и у нас в Белгороде доктора Ростовцева приняли за какого то Ростовцева из сарапульской чеки. Ну и крышка. Совпадение! Время, конечно, такое. Здесь и обижаться не на кого. Лес рубят — щепки летят. Мало, скажете, народу погибло? Зато утряслось. Без этого дела не сделаешь.

Пассажиры лениво позевывали. Лазик не вытерпел. Долго он уговаривал себя: молчи, Лазик! Он и вправду все утро молча жевал колбасу. Зато теперь он разошелся.

— Конечно, если этот доктор такая же важная птица, как, скажем, Лазик Ройтшванец, то он мог заранее лечь в готовую могилу, потому что, когда гуляет по улицам стопроцентная история, обыкновенному человеку не остается ничего другого, как только умереть с полным восторгом в глазах. Это китайское дважды два и это понятно всякому. Но ведь мы с вами не история. Мы только злополучные попутчики какого-нибудь жесткого вагона и мы можем сказать прямо: почему это анонимный доктор должен был платить за великую фазу? Может быть у этого доктора даже были милые детки? Может быть, ему попросту хотелось жить еще двадцать пять лет? Я его никогда в глаза не видел, но я понимаю одно: он был наверное обыкновенным человеком, а вовсе не каким нибудь денежным знаком, чтоб его совали в билетную кассу. Почему же вы жестоко пьете ваш

чай и не хотите понять этой простой трагедии? Вы думаете, если убить человека и припечатать его вопиющей печатью, как будто это не живой труп, а только дважды два замечательного будущего, кровь перестанет быть кровью? Я хотел бы лучше лежать вместе с этим законченным доктором, нежели слушать такое бездушное умножение. Я не умею сделать из моих чувств грохочущий реферат, но я расскажу вам сейчас одну суеверную историю.

Я слышал ее в моем кровном Гомеле от старого нищего Берки. Это история о бердичевском цадике, но может быть это история о Герше или даже о каком-нибудь докторе. Вы вовсе не обязаны верить в разные пережитки, вы можете сознательно думать, что бог это такое же глухое предположение, как китайское дважды два.

Значит, в Бердичеве жил один знаменитый цадик. Конечно, надо вам сказать, что цадик — это вполне благочестивый человек, это настоящий вождь своего местечка. А бердичевский цадик считался чуть ли не святым, до того он был добр и умен. Потом он разговаривал с богом запросто, безо всякой там дипломатии. Он разговаривал с ним не на том невыносимом языке, на котором написаны разные старые книги, нет, он разговаривал с богом на самом обыкновенном жаргоне, как разговаривает один еврей с другим. Он сердился на бога, и он его уговаривал, он ему доказывал все толком, и он считал с ним по пальцам, и он смешил бога, так смешил, что бог смеялся на весь свет и в Бердичеве стекла дрожали от этого небесного смеха. Словом, он умел, когда нужно заговорить бога, только чтобы спасти какую-нибудь человеческую жизнь. Можете вы себе представить, как в Бердичеве уважали мудрого цадика, его уважали и его любили, потому что, я уже говорил вам, он был самым добрым человеком на земле. Он, кажется, боялся пройти по смешной траве, чтобы трава не расплакалась.

Конечно, Бердичев большой город, и кроме цадика в нем жили другие евреи, в нем жил, например, некто

Майзель, и я даже не знаю, как его назвать. Скорее всего он был закоренелым паразитом. Он был стопроцентным спекулянтом, и наш гомельский Райкин по сравнению с ним — слепой щенок. Он хапал деньги, не стесняясь никаких уложений. Он давал ссуды под заклад, и он раздевал догола бердичевских простаков. Он скупал дома, и кто знает сколько евреев он оставил без крова, так что они даже не знали, где им зажечь субботние свечи. Но вот у каждого насекомого бывают свои прыжки. Этот Майзель раз в год терял черную линию. У евреев существует Иом-Кипур — это день самого высокого суда; тогда нужно поспешно каяться, и вот каждый год в Иом-Кипур этот нахальный Майзель плакал неподдельными слезами. Он вовсе не выдавливал из себя несколько приличных капелек, нет, он обливался настоящими слезами, потому что он хорошо видел, что он самый последний злодей. В Иом-Кипур он отдавал все свои деньги нищим. Он бил себя в грудь кулаком и отчаянно вопил. В этот день он боялся взглянуть на цадика, потому что глаза цадика жгли его, как угли, он корчился под ними. Но вот наступал следующий день и он просыпался утром, как ни в чем не бывало. После дня поста, он кушал две курицы. Он снова хапал деньги и, если вчера он отдал бедняку украденные у него сто рублей, сегодня он спешил вернуть их какой-нибудь новой хитростью. А встретив цадика, он не опускал глаз, нет, он даже засовывал руки в карманы.

— Сегодня, кажется, не Иом-Кипур? Когда придет срок, я может быть снова покаюсь. А пока что, я устраиваю мои дела. Говорят, что даже бог не любит бедных, почему же я их должен любить? Я люблю только хорошие деньги, и вы можете оставить меня в покое с вашими вопросительными взглядами.

Мудрый цадик мог беседовать с богом, но в сердце Майзеля он не мог проникнуть. Майзель оставался ужасным злодеем, и все в Бердичеве боялись Майзеля; его боялись и его ненавидели.

Теперь я должен что нибудь сказать о третьем че-

ловеке, о старом Герше, но я не знаю, что можно о нем сказать. Он был стар, как наша земля. Он был уродлив, как уродливо горе. Он был несчастен, как может быть несчастен старый еврей, у которого нет ни жены, ни детей, ни угла, ни копейки. Ему было, кажется, шестьдесят лет. Из его больных глаз текли постоянные слезы. Если он не спешил умереть, то может быть, потому, что у него не было денег на саван. А, может быть, и не потому. Может быть, ему попросту хотелось жить, как хочется жить мне и вам, как хотелось жить этому законченному доктору. Словом, он не спешил умереть. Он, как и мой безответный отец, стирал постыдное белье. Когда в доме бывало такое белье, что его стыдились давать служанке, приходил старый Герш, брал белье и уносил его куда-нибудь за город.

Цадика все любили, Майзеля все ненавидели, а на старого Герша никто не обращал внимания. Он мог бы умереть, и никто бы не вздохнул; постыдное белье дали бы другому старику — Лейбе или Элии. Но он не умирал. Он тихо жил и только цадик иногда заглядывал в его глаза полные готовых слез. Тогда глаза цадика загорались, как угли.

Теперь вы знаете, кто жил в Бердичеве, и я могу сказать, что Майзель наконец-то умер. Конечно, можно говорить, что он умер от божьего гнева, но, я думаю, что он умер от переполнения желудка, потому что он один, кажется, кушал всех бердичевских куриц. Его похоронили, как подобает, то есть нищие про себя смеялись от счастья, а вслух они плакали от обязательного горя, потому что они получали за свои вздохи старое платье и какое-нибудь мясо с подливкой.

Тогда то злодей Майзель предстал перед богом. Вы, конечно, знаете, как об этом говорят позапрошлые люди. Сидит, скажем себе, бог, и он судит мертвого человека. Он должен еще решить, куда итти этому отчаявшемуся трупу — в рай или в ад, — как будто человек даже после смерти не может лежать тихонько в могиле. Что делать, ведь люди очень любят судить. Меня тоже

судили в Гомеле по одной сумасшедшей статье из за приснившегося им флага, и я знаю, что ничего нет приятнее для человека, как сесть выше всех на один аршин и начать читать невозможное уложение. Когда люди выдумывали бога в какойнибудь старой комиссии, они его сделали, конечно, по своему замечательному подобию. Они захотели угодить ему: «ты будешь судить нас как самый невыносимый судья».

Майзель предстал перед богом, и это было как раз в Иом-Кипур. В Бердичеве живые евреи постились и калялись, как каждый год. Цадик пел в синагоге свою надрывающую молитву, а из глаз Герша текли постоянные слезы. Они, конечно, не знали, что вот в эту самую минуту господь судит жулика Майзеля. А на небе уже шла работа. Притащили огромные весы и все начали говорить в полное удовольствие. Жаль, что не было при этом товарища Ландау из нашего гомельского суда — вот где бы он мог показать все свое затихнувшее красноречие. Сначала, конечно, выступил прокурор, то есть, умоляю вас, не ищите в этом никакого текущего намека — это был самый настоящий чорт, и он приводил все статьи уложения. Он требовал, чтобы умершего паразита предали ему для какойнибудь высшей меры. Потом заговорил правозаступник, и он заговорил, и он говорил, и он ссылаясь на все его происхождение, и он бил себя в грудь крылом, пока богу не надоело. Бог, конечно, схватил звоночек, и у всех бердичевских евреев сразу зазвенело в ушах:

— Довольно! Теперь пора уже вешать дела этого мертвого Майзеля.

Ангелы быстро стали кидать на одну чашу разные шумные злодейства: здесь были слезы бедняков и жалобы вдов, и крики голодных детей, и все это самого первого сорта, так что черная чаша со страшным грохотом ударилась о какое-нибудь облако. Тогда, на другую чашу ангелы стали накладывать совсем смешные капли. Да, они не клали добрые дела Майзеля, хоть он в Иом-Кипур и раздавал награбленное нищим, нет, они только

клали на чашу разные крохотные капельки. Майзель совсем приуныл: какие же тут могут быть разговоры? С одной стороны куча злодейств, может быть на сто тысяч целковых, а с другой стороны — кувшин соленой водицы. Но что же он видит? Светлая чаша мало по малу опускается вниз. Конечно, будь это приличные слезы, они бы весили мало, но я ведь сказал вам, что это были настоящие слезы, которые текли из самого сердца, и они весили пуд, если не все сто пудов. Чаши остановились — ни одна не может перетянуть другую. Поровну оказалось добрых и злых дел в жизни мертвого Майзеля. Тогда сконфузились ангелы и даже сам бог. Никто не знал, что делать дальше, а Майзель стоял и дрожал, но в голове его уже бродило новое злодейство. Улучив минуту, когда бог отвернулся, чтобы поглядеть, что делается в какой-нибудь Америке, жулик Майзель схватил с черной чаши одно ужасное дело и быстро засунул его в карман. Но наверное Майзель был уже не первым и бог устроил весы так, что бы они выдавали подобные обманы. Только-только Майзель совершил свою загробную низость, как черная чаша с двойным грохотом ударила об облако, и все поняли, что Майзель хотел надуть самого бога, после того как он надул уже тысячу людей.

Здесь даже заступник отказался от своего пышного красноречья: он не хотел защищать подобного злодейства. Но выдуманный бог все таки хоть чем-нибудь да лучше обыкновенных людей, и он сказал ангелам:

— Я вовсе не хочу без последней речи отправить этого Майзеля в ад. Скажите мне, кто из вас хочет защищать такое последнее преступление?

Но ангелы, конечно, признанные трусы, они побоялись нарушить небесную дисциплину.

— Мы не хотим защищать подобного злодея, но если ты обязательно хочешь, чтоб его кто-нибудь для виду защищал, то ты можешь вызвать сюда бердичевского цадика, потому что еще не было случая, чтоб он отказался защищать самого постыдного человека.

В синагоге евреи увидели, что цадик, не допев своей надрывающей молитвы, вдруг уснул. Они, конечно, удивились, но они не попробовали разбудить его: если мудрый цадик уснул, значит, так нужно. Они продолжали молиться.

Они думали, что цадик уснул. На самом деле, цадик поднялся вверх, и он предстал перед богом и даже, не успев оглядеться по сторонам, где сидит какой ангел, он сразу начал защищать мертвого Майзеля. Он не перечислял его добрых дел и он не показывал на кувшинчик с соленой водой. Нет, он сразу начал наседавать на бога. Он сразу схватил бога за живое:

— Спрашивается, за что ты его судишь? За то, что он здесь совершил еще одно злодеяние? Я думаю, что одним злодеянием больше или меньше — это никому не интересно. Если он надувал невинных детей, то это немножечко хуже, чем смешная история с твоими весами, потому что их он действительно надувал, а тебя он только попробовал надуть, и это по своей полной невинности, как дитя пробует надуть отца. Если же ты его судишь за то, что он плохо жил на земле, я тебе отвечу, что в этом виноват вовсе не мертвый Майзель. В этом виноват скорее всего ты. Если бы ты сначала показал людям рай, они бы все были бы такими замечательными, как эти выдуманные ангелы, но ты ведь показал им сначала самый настоящий ад, потому что ты не станешь отрицать, что жизнь это ад и это даже два раза ад. Что же ты удивляешься, если они в аду жили так, как будто они в аду? Ты еще хочешь теперь взять этого мертвого Майзеля и снова посадить его в ад. Где же тогда справедливость, и зачем ты говоришь, что ты судишь людей? Ты их тогда, скорее всего, пытаешь, и это можно делать безо всяких весов, как делают люди на земле. Значит, ты должен немедленно оправдать этого мертвого Майзеля.

Бог, конечно, ничего не мог возразить против таких умных слов, и он смутился. Он закричал:

— Хорошо! Отведите этого мертвого Майзеля в самый пышный рай

Бердичевский цадик мог бы вернуться обратно в Бердичев, но он заметил, что бог сегодня в хорошем настроении и уже немного растроган его жаркими доводами. Цадик подумал: нужно воспользоваться этой минутой, нужно доказать богу, что он довольно уже испытывал человеческое терпение, что люди в Бердичеве, да и в других местах, очень несчастны, что пора, наконец, то послать на землю какого-нибудь выдуманного Мессию, чтоб он сейчас же спас все обширное человечество. Цадик не сошел вниз. Он продолжал стыдить бога и угрожать ему. И бог начал поддаваться. Он уже растерянно улыбался и он успокаивал бердичевского цадика:

— Почему ты так волнуешься? Я ведь не говорил, что я не пошлю Мессию. Наоборот, я сказал, что я его обязательно пошлю. Может быть, ты и прав, говоря, что настало время. Давай-ка обсудим с тобой этот вопрос. Который у нас теперь год на земле? . .

Я говорю вам, что бог уже готов был согласиться, но здесь то произошла заминка. Евреи в синагоге, конечно, не видели цадика, который беседовал с богом, но цадик, стоя на небе, очень хорошо видел всех евреев в синагоге. Он видел, что из за его разговора с богом затянулась молитва и значит затянулся пост. Легко поститься в двадцать лет, но не в шестьдесят. И вот вдруг цадик видит, что старый Герш падает на пол без чувств. Шутка сказать — со вчерашнего дня он ничего не ел и ничего не пил. Цадик понял, что, если сейчас же не кончится молитва, старый Герш умрет на месте. И цадик сказал богу:

— Я может быть поступаю очень глупо. Я должен был убедить тебя, что больше ждать нельзя. Тогда бы ты спас все обширное человечество. Но я не могу сейчас больше с тобой разговаривать, потому что мне некогда: если я останусь еще один час на небе, старый Герш, который стирает в Бердичеве постыдное белье, обязательно умрет. А где это сказано, что я имею право

заплатить за счастье всего обширного человечества жизнью старого Герша?

И он, не кончив разговора, слез с неба. Он поспешил допеть свою уже бесполезную молитву и закончить пост. Конечно, может быть, Герш умер через год, но он не умер в тот вечер. Цадик не сунул его, как билет, в какуюнибудь железнодорожную кассу.

Вот, что я хотел вам рассказать, мои злополучные попутчики. Вы, конечно, можете пить ваш чай и оправдывать черное сердце какойнибудь великой историей. Я скажу вам только одно: хорошо, этот доктор уже лежит в глухой земле и не один доктор. Но скажите, что же вам выдали в вашей замечательной кассе? . .

Лазик умел артистически кроить брюки. Что бы там ни говорил Пфейфер и другие недоброжелатели, я стою на своем: куда тут Цимаху, с его якобы английским фасоном! Но в Туле было немало своих портных; граждане меланхолично отвертывались, проходя мимо сверкающих вывесок. Это ведь только в бабьих сказках Тула кует самовары и печет пряники, на самом деле Тула сокращает штаты. Ножницами Лазик не прожил бы здесь и дня. Спасла его знаменитая диалектика: если сокращают, значит набирают. Это закон природы: одного человека выгоняют из комнаты, вместо него сажают другого; а выгнанный, он, конечно, тоже должен кушать, если его выгнали из одной комнаты, он может войти в другую, ибо земля, вопреки глупому Талмуду, вертится и на ней вертятся все бурные сотрудники всевозможных подотделов.

Не прошло и недели, как Лазик нашел подходящую дверь. Он стал сотрудником губернского отдела животноводства, и ему было поручено следить за размножением во всей тульской губернии породистых кроликов, так как центр установил, что это одна из наиболее выгодных разновидностей предстоящего сельхозяйства.

Войдя в открывшуюся перед ним дверь, Лазик бодро оглядел поле своей будущей деятельности, в виде стола с грязной промокашкой, и спросил курьершу Дуню:

— Простите, товарищ, где же они?..

Дуня зевнула:

— Да где же им быть сейчас? Дома, чай пьют. Или у Марии Игнатьевны.

— Тсс! Я вас спрашиваю не о товарище заведующем. О нем я вовсе не хочу вас спрашивать. Довольно я в Киеве хватал авторитетные ноги. Нет, я вас спрашиваю только о вполне невинных кроликах.

— Таких тут нет, а если вы хотите Кропоткова, то они не тут, а в бухгалтерии.

Лазик заглянул в ящик стола, но там оказалась только пустая коробка от папирос. Он просидел честно до пяти часов, потом ушел домой. Он твердо решил не философствовать. На следующее утро он все же осмелился спросить заведующего:

— Извиняюсь, товарищ Петров, я хочу вас только спросить, где же они, то есть, порученные мне кролики — здесь или в губернии?

Петров проворчал:

— А шут их знает! Кажется, в том шкапу. Поройтесь в бумагах.

Весь день Лазик работал. С надлежащей осторожностью, как густопсовый террьер, рылся он в ящиках, чихая от едкой пыли. Наконец, он обнаружил, если не кроликов, то копию исходящей под № 2178, в которой говорилось о печальной судьбе одной породистой четы, прибывшей из центра в благословенную Тулу. Предшественник Лазика, некто Рожков, ныне сотрудник музыкального подотдела, сообщал в Москву: «Подтверждая получение породистого груза, сообщаем, что присланные экземпляры не поступили в тульский случпункт, в виду особенностей местного климата, продовольственных затруднений, а также незнакомства местного населения с племенным кролиководством, так как в ящике оказались при проверке только мертвые разновидности, и по свидетельству ветеринарного пункта смерть последовала либо от морозов, либо от недостаточно азотистого питания, либо от поведения граждан на вокзале, самовольно вскрывших ящик и допустивших дезорганизо-

ванную охоту с участием беспризорных собак г. Тулы». Раза три перечел Лазик это печальное послание и, пользуясь отсутствием курьерши, пронзительно вздохнул:

— Бедная породистая чета — вот все, что осталось от вашего восторженного прыганья где-нибудь под американскими пальмами — копия исходящей номер две тысячи восемьсот семь! Но, спрашивается, что же мне делать? Как я могу размножить по всей обширной губернии это жестокое воспоминание?

Не выдержав томительной пустоты письменного стола, а также тульской губернии, Лазик, дня два спустя, обратился к товарищу Петрову:

— Что же мне теперь делать, если они решительно умерли и даже припечатаны этой копией?

— Как, что делать? Работать, товарищ, работать! Размножать! Производить! Интенсировать! Поняли? Видите сравнительную таблицу? Мясо — раз. Мех — два. Невзыскательность — три. Экономия времени — четыре. К концу отчетного года у нас будет не менее тридцати тысяч голов.

— Извиняюсь, товарищ Петров, но откуда же вырастет этот замечательный мех или даже мясо, если их безответных прародителей растерзали дезорганизованные собаки. Я могу размножать только одну циркулярную скорбь, но это не даст нам никакой красивой таблицы, потому что они, извиняюсь, как на зло сдохли.

— Сдохли? Ха-ха! Действительно, сдохли. Ну, между нами, какие же тут могут быть кролики? Я еще понимаю свиньи. Но вы, товарищ, все таки размножайте. Из Москвы пришлют новых, а пока что можно составить хотя бы инструкции сельхозам. Или устройте лекцию с туманными картинками. Словом — не углубляйте. Поняли? Вот, кстати, мы получили анкету из центра. По вашей части здесь семнадцать вопросов.

Лазик остался с семнадцатью вопросами и с тяжелым недоумением. Что значит — «не углубляйте»? Рассматривать кроликов, как кроликов? Допустим. Но вот его спрашивают в одиннадцатом параграфе: «Как отра-

зились постановка племенного кролиководства на экономическом положении крестьян? На культурной жизни? На семейных взаимоотношениях? Замечается ли в связи с ней увеличение рождаемости? Установите соотношение в круглых цифрах между количеством кроликов и потреблением мыла на каждый двор». Если кролики — это кролики, то их вообще нет. Правда, можно предположить, что кролики это только могучий символ какой-нибудь роскошной электрофикации. В Талмуде много таких сумасшедших шуток. Например, сказано «овечьи сосцы», а на самом деле это священные сосуды каких-нибудь левитов. Может быть они понимают под словом «кролики» самую обыкновенную ячейку? . . . Но, ведь, товарищ Петров сказал ему: «не углубляйте»

После долгих колебаний, Лазик решил от аллегории воздержаться. На первый вопрос: «сколько в Тульской губернии голов кроликов ко дню заполнения анкеты», он стойко ответил: «один надгробный памятник, в виде разрывающей мое сердце исходящей» и против шестнадцати остальных провел трагическую черту: ни мыла, ни рождаемости, ни семейных отношений — пустота, горе, небытие.

На всякий случай, он показал лист заведующему. Тогда товарищ Петров начал бегать по длинному корридору и вопить:

— Вы с ума сошли? Вы знаете, что такое сокращение штатов?

— Еще бы! Кажется, шесть недель отсидел я, а не гражданка Пуке.

— Вы ничего не знаете! Вы хотите всех нас погубить! Как можно так отвечать на анкету? Надо углубить вопрос. Надо похвастаться достижениями. Таблицы, сметы, диаграммы. Если бы вы отослали этот бред, мы бы все попали под суд. Переправьте сейчас же все ново! У вас нет ни на грош понимания государственности. «Надгробный памятник»! Это что — остроумие?

Настали для Лазика трудовые дни. В три часа ухо-

дил товарищ Петров, в пять курьерша Дуня. Но Лазик не знал часов: он сидел согнувшись над столом, он вычислял, обдумывал, распределял.

К концу пятого дня он закончил работу. Он ответил на все семнадцать вопросов. Она написал:

— «Так как покойная чета была прислана в Тулу 18-го ноября 1924 года, можно определить к текущему моменту кроличье население губернии в 11.726 с половиной головы. В виду исправных функций и отсутствия розовой водицы, к 1 января 1930 года в губернии намечено 260.784 головы. Вредителей, вроде сусликов или филоксеры не замечено. Что касается других болезней, то кроме несчастья с первой четой и возможного, ничего не выражающего насморка, благодаря героическому мужеству губздрави, не можем пожаловаться. Кроликов держат в плантациях под пальмами и в прочих шкапах. Рождаемость населения в связи с этим неслыханно бурлит, а мыльному производству, конечно, угнаться за нами трудно, потому что, если и приходится на двор какойнибудь жалкий кусочек, наполовину смыленный, то в круглых цифрах можно сказать, что это голый ноль, рядом с роскошным оперением тысячи-другой кроликов».

Написав это, Лазик решил не волновать больше товарища Петрова, занятого Марьей Игнатьевной и отослал бумагу в Москву. Недели две он наслаждался миром и тишиной. Курьерша Дуня зевала, стыл одиноко чай, товарищ Петров плодотворно отсутствовал и заведующему кролиководством не оставалось ничего другого, как рисовать на промокашке уши незабвенных прародителей. Но вот корридор наполнился бодрым криканием сапог: из Москвы прибыла комиссия для изучения образцовой постановки кролиководства в Тульской губернии.

— Мы прежде всего должны вас поздравить, товарищ, — в вашей губернии больше кроликов, чем во всем Союзе. Очевидно, вы нашли особо удачный корм. В Англии подобные результаты достигнуты фосфорными

препаратами. Но мы им утрем нос. Чем же вы их кормите?

Лазик скромно потупил глаза.

— Исключительно служебной фантазией.

Москвичи не поняли. Они деликатно сказали:

— Ну, это мы увидим на месте. Завтра мы отправимся в сельхозы. Скажите нам, в каком уезде предпочтительно водятся кролики?

— Где они водятся? Не в уезде и не в шкапу, а здесь —

Лазик с гордостью показал на свсю крохотную головку.

Тогда корридор снова заполнился кряканьем сапог, и на этот раз кряканье было зловещим. Товарищ Петров, забыв о Марье Игнатьевне, вопил:

— Вы всех подвели! В тюрьму! Под суд!

— Почему вы кричите на меня, товарищ Петров?

Когда я написал, что от покойников трудно ждать пышного размножения, вы начали топтать ногами. Тогда я измучил свою хилую грудь таблицей умножения и я сделал настоящее служебное чудо: я заставил этих мертвецов размножаться. Но вот вы снова топаете ногами, и я ничего не понимаю. Вв мне напоминаете, извиняюсь за неприличное сравнение, какого-нибудь римского императора, потому что был такой сумасшедший идола Адриан и когда один еврей, увидев его, не поклонился он крикнул: «отрежьте ему скорее голову! Как он посмел, этот нахальный еврей не поклониться римскому императору». Но потом он увидел другого еврея, который тотчас же, конечно, поклонился ему и все равно он закричал: «еще скорее отрежьте и этому еврею голову: как он посмел, подобный нахал, кланяться мне!». Я вас спрашиваю, товарищ Петров, что же делать какому-нибудь разводителю кроликов, если он не может ни говорить правду, ни даже смешно врать?

— Вы прикидываетесь Иванушкой-дурачком, но посмотрим, что вы скажете, когда вас посадят.

— Ничего, я привык, и я там скорее всего просто

молчу или я рассказываю постыдные истории. Но я не люблю одного: когда меня берут. Тогда у меня делается ужасное сердцебиение. Я лучше сейчас же сам пойду к тюремным воротам и я попрошу, чтобы меня пустили, скажем, за один час вперед. Так будет гораздо спокойней. Прощайте, товарищ Петров! Прощайте, тишина этих столов в отделе животноводства, чай курьерши Дуни и прискорбные тени двух погибших прародителей, которые прыгали день и ночь в моей неудачной голове вполне преданного спеца!

Лазик сидел на скамейке Тверского бульвара и думал, какое должно быть вкусное мясо у кроликов. Это нечто вроде бананов, о которых пел Левка, или вроде орхидей, но нет, орхидей, кажется, не едят, их только нюхают, а Лазику хотелось прежде всего закусить. Он не настаивал на кроликах, он обрадовался бы и ломтику давно минувшей колбасы. Шутка сказать, третий день довольствовался он обнюхиванием различных столовок и пивных, из которых вылетали запахи, достойные таинственных орхидей. Денег у него не было, не было ни друзей, ни рекомендательных писем, ни верных адресов. Москва встретила Ройтшванца парадно и сухо: «ну, памятник Пушкину, ни, десять тысяч переулков, ну, совет самых невозможных комиссаров!.. Что же дальше?... Нельзя ведь только нюхать, как пахнут подъезды кухмистерских».

Лазик искал лазейку. Внимательно обозревал он окрестности. Повсюду глаза его натыкались на назидательный окрик: « берегись автомобиля!»

— Именно, нашел я чего беречься! Во-первых, здесь столько же автомобилей, сколько у нас в Гомеле орхидей, во-вторых, они двигаются гораздо медленней, чем, например, старик Гершанович, когда он идет из синагоги домой ужинать, а в третьих, если меня и раздавит автомобиль, то это, по крайней мере, американская смерть, как в настоящем двадцатом веке, что все-таки приличней, чем умереть от позапрошлого голода. Нет, дайте

мне написать маленькое предупреждение, я напишу так: «Берегись моментальных глаз товарища Фени Гершанович! Берегись запахов кролика и вообще сильного аппетита!» Впрочем, кто обращает внимание на самые мудрые наставления?

Рядом с Лазиком сидел рослый детина в трусиках и в порыжевших от времени штиблетах, но без прочего. На его груди и ногах бодро курчавилась поросль. Он держал портфель под мышкой, насвистывал военный марш и перебирал ногами, как застоявшаяся лошадь. Лазик на него не глядел: мало ли в Москве людей? Голый? Пусть голый! Это ведь не Феничка Гершанович. Зато оголенный гражданин, посвистывая, не сводил глаз с Лазика: что он ищет, то на домах, то на небе, то под скамейкой?.. Заинтересовавшись, он, наконец, спросил Лазика:

— Потеряли что-нибудь?..

Тогда Лазик недоверчиво взглянул на волосатые плечи соседа: как будто тот же Минчик не может в два счета раздеться?..

— Потерял? Нет, мне нечего терять, кроме нашей гомельской надежды, но ее я еще не потерял. Можно, конечно, потерять жену или деньги или даже собственное имя. Это совершенные пустяки. Сегодня человек теряет зубы, а завтра американский дантист вставляет ему новые. Но нельзя потерять надежду. Это все равно, что взять и умереть за двадцать лет до своей собственной смерти. На что мне надеяться, если у меня нет протекции, и если вся Москва пахнет так вкусно, как одно рагу из несуществующих кроликов? Но я все-таки надеюсь. Может кто-нибудь сейчас пройдет по бульвару и уронит хорошенькую связь. Тогда я стану заведующим московскими плантациями ананасов или даже питомников для скрещивания сознательных граждан с угнетенными обезьянами.

— Здорово! Вы, значит, товарищ, тоже литературой занимаетесь? Давайте знакомиться: Архип Стой-

кий. Читали в «Комсомольской Правде» отрывок из романа «Мыловаренный Гуд»? Вот это эпос! Производство и без слюняйства. А вы где же печатались?..

Лазик задумался. Чем он вправду не писатель? Если нужно снять рубашку, он снимет. Главное — фантазия, а ведь Пфейфер не раз говорил ему: «вы, Ройтшванец, врете, как будто вы не живой человек, но целая газета». Конечно, Лазик в душе писатель! Вот за чем он приехал в Москву.

До этой минуты, говоря откровенно, Лазик мало думал о литературе. Он только знал, что Пушкин ревновал свою жену, совсем, как подрядчик Шайкевич и, что у Льва Толстого была замечательная борода, как у Карла Маркса, но у Маркса лопатой, а вот у Толстого совком. Но теперь он понял, что он, Лазик Ройтшванец, вовсе не «мужеский портной» и даже не спец, а грохочущий писатель. Фамильярно подмигнул он ревнивому Пушкину.

— Печатался? Где угодно, и у меня было, кажется, штук сорок хорошеньких псевдонимов. Меня, например, в Гомеле считали почти что Пушкиным, конечно, без инстинкта собственности, как у фабриканта. Вы слышали, наверное, о нашем гомельском барде Шурке Бездомном? Он пишет стихи исключительно о ненормальных комбригахъ. Так вот я и ему давал советы: «вставь-ка еще одну улыбку на чело, дорогой Шурка Бездомный». И он всегда вставлял.

— Устарело, товарищ. И Пушкин, и Шурка Бездомный, все это — слюняйство. Вот я покажу вам, как теперь пишут у нас, в Москве.

Архип Стойкий вытащил из портфеля несколько листков и, дрыгнув голый ногой, прогромыхал:

— Отрывок 98-ой. «Мыло гудело, как железные пчелы. Бодро тряхнул головой Сенька Пувак: «так-то, братва, отстояли». Рядом с ним улыбалась Дуня. С гордостью взирала она на приводные ремни, и красная звезда колыхалась на ее груди, полной здорового энтузиазма. Мыло кипело. «Обслужим весь Союз», сказал Сенька.

Он смотрел теперь на звезду девушки: «Что же, Дуня, пойдём! Наша дорога молодого класса к солнцу. Забудем о грязных забавах тех, что владели когда то этим заводом. Дай я тебя прижму к себе трудовой рукой!» И отдаваясь биению новой жизни, Дуня, чуть заалев, прошептала: «ты видишь, мы обогнали довоенную норму. Гуди, мыло, гуди! Если у нас будет сын, мы назовем его просто: «Мыловаренный Гуд».

Архип Стойкий горделиво оглядел Тверской бульвар. На поросли сверкали теперь крупные капли пота.

— Здорово? Вот и вы так валяйте! Можно, например, о шелковичных червях. Главкое — гнуть линию. Кто в журналах? Буржуазные дегенераты. Мы их в дверь, а они в окно. За этим надо глядеть в оба! У меня вот только шестнадцать отрывков напечатано. А их всего двести четырнадцать. С этим пора кончить. Я вам советую, товарищ, сразу войти в нашу группу: «Бди». Мы бдим, чтобы в издательства не пролезли всякие трупы. Если вы войдете в нашу группу, вас будут повсюду печатать. Идет?

Лазик охотно согласился:

— После мертвых кроликов, я уже ничего не боюсь. «Бди» так «Бди». Только скажите мне, что я должен немедленно делать? Снять рубашку, конечно, дело двух минут, но у меня нет, например, роскошного портфеля.

— Пустяки! Это необязательно. Я, правда, стою за загар. Это — здоровье и это отделяет нас даже с виду от разных бледных выродков из промежуточных групп. Я загораю. Я ем черный хлеб и пью артезианскую воду. Я прост, суров, непримирим. Я настоящий «бдист», и вы теперь тоже «бдист».

При напоминании даже о столь неизысканном кушаньи, как черный хлеб, Лазик меланхолично вздохнул:

— Конечно, вкуснее, когда на этом суровом хлебе — ломтик промежуточной колбасы. Но, если «бдист» должен есть только хлеб, я в текущий момент не возражаю, я только прошу вас об одном: скажите, где мне

его моментально найти, этот непримиримый хлеб, потому что я на свежем воздухе чья-чуть проголодался?

Архип Стойкий бодро подмигнул Лазику и повел его в укромную пивную. Вскоре на столе появились битки с луком и четыре бутылки пива. Вицив стакан, Лазик сразу охмелел и начал восторженно пищать:

— Если это — суровая вода и артезианский хлеб, то спрашивается, кто же я и кто же вы? Я думаю, что тогда вы Лев Толстой, а я сам Пушкин, хотя у меня нет никакой жены, кроме Фенички Гершанович, но она скорей всего жена петуха-Шацмана, а у вас нет бороды, то есть борода у вас растет под мышкой. Скажите, как называется это сумасшедшее блюдо? Битки? Вы говорите, что это обыкновенные битки, а я вам скажу после трех дней сплошного «Иом-кипура», что это не битки, это кролики, а, может быть, это все бананы.

Архип Стойкий пил на славу. Менялись бутылки, чадили битки, бодро звенели стаканы.

— Мы их отовсюду выкурим!... Да здравствует бдизм!

С трудом ворочая языком, отяжелевший Лазик лоптал:

— Конечно, пусть здравствует, раз на столе такой пышный кролик. Вы говорите, что трупы лезут? Какие это, однако, нахальные трупы! Труп должен лежать под какой-нибудь трогательной надписью. А лезть в окно это для трупа прямо таки неприлично. Это же не мыло, чтобы вечно гудеть. Я вот только хочу вам предложить одно. У меня с колыбели слабые глаза. Я однажды схватил по ошибке совсем не ту ногу. Я могу спутать, как говорят в Гомеле, заграничного слона с Мошкой-папиросником. А вы человек вполне занятой. Вы загораете и вы пьете эту артезианскую воду, не говоря уже о Дуне, которая, наверное, все время гудит. Словом, своими средствами мы не обойдемся. Так вот я предлагаю вам включить в нашу группу одну гомельскую особу. У нее, правда, постыдная фамилия, но мы ей подарим неприступный псевдоним. Она, наверное, может быть поэтес-

сой. Стоит ей только взглянуть на вашу свободную грудь, как она разразится сплошными стихами.

Веседуя на литературные темы, друзья и не заметили, как прошло время.

— С вас восемь рублей двадцать копеек.

— Ну, ну, я не спорю... Так и быть сегодня платите вы. А в следующий раз уж я выставлю батарею.

— Я тоже не спорю. Зачем спорить? Я ведь, кажется, не труп. Но у меня в кармане только портрет португальского бича и, может быть, еще одна дырка. Я же вам сказал, что я три дня постился и, кажется, ясно, что это не опиум, а только железный материализм.

Архип Стойкий встал, икнул и философически заметил:

— Чорт побери — нет даже карманов, чтобы хоть для виду пошарить! Эй вы, гражданин! Анекдот, но факт: забыл дома пиджак с бумажником. Ничего не делаешь — физкультура. Ну, пока...

Шатаясь, он вышел на улицу. Хозяин пивной попробовал было потрясти за шиворот оставшегося Лазика, но убедившись, что ничего из него, кроме какого-то портрета не вытряхнешь, удовлетворился тумачком.

Лазик очутился на бульваре с чуть припухшим глазом. Но он не унывал: позади был роскошный ужин, а впереди слава Пушкина. Вы еще увидите, что ему поставят в парке Паскевича хорошенький памятник! Он будет стоять в бронзовых штанах и пренебрежительно улыбаться. Вот тогда-то придет к этому памятнику Феня Гершанович и заплачет: « почему я полюбила петуха-Шацмана без памятника, а не этого прославленного на всю Америку героя? И хоть у Лазика будут бронзовые штаны, он не выдержит, он сбежит с подставки, он скажет: «я люблю вас даже после смерти и, если вы хотите, мы можем сейчас же жениться на все три трети». Мечтая так, Лазик уснул.

На следующий вечер Лазик отправился в «Литературный Клуб». Он важно расписался при входе «Ройтшванец-Бдист». Кто-то спросил его:

— Вы, товарищ, поэт или критик?

Лазик, не смущаясь, ответил:

— Беспощадный критик из контрольной комиссии. А что это у вас сегодня за гуд? Танцы меньшинств или лекция о половом вопросе?

Узнав, что он попал на литературный диспут: «Нужно ли печатать и кого?», Лазик обрадовался. Вот тут-то он покажет себя!

Докладчик был «бдист». Долго говорил он о том, что «красные ризы должны быть белыми». «Попутчики» — надстройка над базой. Пока читатель был зелен, ему еще могли преподносить подозрительные книги, но теперь он созрел, он требует, чтобы его мозги ограждали от гнилой продукции. Можно ли после таких мировых шедевров, как «Мыловаренный Гуд», печатать старческое шамкание разных дегенератов, да еще в двадцати тысячах экземплярах? Долой политику страуса и да здравствует писательский молодняк!

Лазик неистово аплодировал. Он хотел было сразу выступить с предложением поставить двойной памятник Архипу Стойкому и Лазику Ройтшванцу, — вот как Минину и Пожарскому, но его опередил представитель какого-то издательства:

— Я только хотел обратить внимание докладчика

на голые цифры. Товарищи, мы ведь состоим на хозрасчете. Читатель, к сожалению, еще не покупает произведений «бдистов». Роман «Великая Братва» разошелся всего в шести экземплярах, а повесть «Трудовой Поцелуй» в четырех. Надо попытаться примирить марксистскую линию, с тяжелым экономическим положением. Мы издаем з двадцати тысячах яд какого-нибудь «попутчика», чтобы иметь возможность выпустить в роскошном издании полное собрание сочинений товарища Архипа Стойкого — это испытанное противоядие.

Архип Стойкий негодуяще хрипел:

— Вздор! Если издавать только нас, кого же они будут покупать?.. Довольно компромиссов!

Но представитель издательства не сдавался. Он усыпил зал цифрами. Тогда-то Лазик нашел, что настало время высказаться. Нежно глядел он и на докладчика, и на Архипа Стойкого, и на заведующего издательствомъ.

— Вы все очень симпатичные марксисты, и я сейчас маленькой диалектикой примирю вас. Архип Стойкий— это вроде Льва Толстого, и его надо сегодня же напечатать. Какие тут могут быть разговоры, если он хочет, чтобы его напечатали. Деньги здесь, кажется, не при чем. Если вчера мелкий собственник накормил нас кроликами, не останавливаясь ни перед какими расходами, то государство, по-моему, должно моментально напечатать все отрывки из этого. «Мыльного Гуда», потому что, если их не напечатать, то товарищ Архип Стойкий перестанет загорать, и он станет лазящим трупом. Но остается второй вопрос об этих неприличных «попутчиках». С одной стороны, их нельзя печатать, потому что это не вполне выдержанный дух, а с другой, их необходимо печатать, потому что без этого в издательстве одна сплошная дыра и никакой даже разменной монеты. Как же разрешить такое противоречие? Да очень просто. На что уже глупы наши гомельские евреи, которые еще верят в бога и отрицают передовую вет-

чину, но даже они до этого додумались. Я вам скажу, например, что еврей должен перед пасхой продать всю свою посуду и оставить дома только пасхальную. Так придумали спецы в талмудической подкомиссии. Но кому же продать всю посуду в городе? И потом продашь горшок за десять копеек, а новый стоит весь рубль. Так вот еврей перед пасхой зовет к себе русского, скажем, носильщика или сторожа, и он говорит ему: «я продаю тебе всю посуду за пять копеек», а тот отвечает: «хорошо, покупаю». Конечно, оба понимают, что это нарочно и сторожу просто дают за душевное подкрепление полтинник на водку. Вот, что значит найти выход из последнего положения!

Я вижу, что вы не жили в Гомеле и еще не понимаете, как это делается, так я вам расскажу о носовых платках. В субботу еврею нельзя ничего носить, даже необходимого платочка, кроме как у себя во дворе. Но ведь насморк бывает и в субботу. Нельзя же весь день сидеть дома. А в синагоге, например, совершенно некуда высморкаться. Вы думаете, что евреи остались с двумя пальцами? Ничего подобного! Они подумали, и они придумали. Если протянуть проволоку вокруг всего Гомеля, то можно считать весь Гомель за один двор и тогда можно ходить по всему Гомелю хоть с дюжиной платков. Они сложились и купили проволоку и в десять минут обкрутили весь Гомель. Я говорю вам: главное заранее условиться. Может быть, эти «попутчики» и то и се, платочки и посуда и чорт знает что. Но мы их продадим сторожу и мы обнесем их проволокой. Мы скажем, что они у нас во дворе и тогда можно будет их печатать с каким-нибудь оглушительным предисловием. Он там пишет, что у Шурочки большая любовь, а мы в предисловии продадим его, как сто горшков: «Шурочка не Шурочка, и любовь не любовь, но одни классовые скакания». Книжка пойдет хоть в двадцати тысячах, и в кассе будут деньги, и Архипу Стойкому выдадут за его «Мыльное Гудение», может быть, груду червонцев.

Архип Стойкий недоверчиво поморщился.

— Вы бдист или не бдист? Юлите! И нашим и вашим. С кем вы только успели снюхаться?...

Лазик, однако, быстро его успокоил:

— Это, чтобы заткнуть рот тому в очках и чтобы вам выдали, наконец, немножко червонцев, потому что номер с пивной, кажется, больше не пройдет, а я уже успел снова проголодаться.

Хоть на Архипе Стойком и была блуза с карманами, но денег в карманах не было. Лазику пришлось отдаться сладким воспоминаниям: как они дивно пахли, кроличьи бананы! Вдруг к нему подошел какой-то упитанный гражданин весьма пристойного вида. Виновато улыбаясь, он сказал Лазику:

— Извиняюсь, можно вас на два слова? Вы говорили прямо, как Троцкий. Одна блестящая мысль за другой. Я думаю, что мы с вами пойдем друг друга. Я, видите ли, ищу снисходительного марксиста.

Лазик умилился:

— Я вас понимаю. Я в Гомеле тоже искал снисходительную девушку. Но Феня Гершанович оказалась неприступной, как два американских замка. Правда, потом она стала снисходительной, но не ко мне, а к Шацману и, конечно, тогда она перестала быть девушкой. Это называется гомельское счастье! Но скажите мне, зачем вам понадобился снисходительный марксист. Уж не вздумали ли вы исправлять самого Карла Маркса?

— Тсс! Что вы говорите? И в таком месте!... У меня очень деликатное дело. Может быть, мы выйдем вместе? Разрешите представиться — Рюрик Абрамович Солитер.

Ноздри Лазика раздувались, во рту было мокро, кружилась голова. Он решил действовать напролом:

— Вы знаете, Рюрик Абрамович, с кем вы говорите? Я же великий писатель. Я завтра, может быть, буду стоять в бронзовых штанах. Я беспощадный критик. У меня внутри тысяча анкет. Но мы с вами выйдем вместе. Мы не только выйдем вместе, мы еще выйдем вместе в какой-нибудь рай. Сразу видно, что у вас в карманах не

только дырки, и вы угостите меня этими кроликами, то есть, хорошенькими битками в сметане.

Рюрик Абрамович ласково обнял Лазика за шею.

— Конечно, конечно. Мы пойдем с вами в ресторан «Венеция». Там рябчики и пиво, что надо.

Прикончив вторую птицу, Лазик сказал.

— Мерси. После этих кроликов я стал таким спсиходительным, что я могу сейчас заплакать. Но если вы хотите, чтоб я исправил Карла Маркса, на это я ни за что не пойду. Я люблю бриться через день, а не сидеть на исправляющих занозах.

— Да что вы, что вы!.. Разве я разбойник? я ведь только несчастный еврей из Крыжополя. Хотите еще птичку? Соуску? Здесь дело литературное. Мы же почти земляки, и вы меня поймете. Мне нужно продать дворнику посуду. Вы из Гомеля, а я из Крыжополя. Это две кочерги. Но вы себе марксист, а я нетрудовой элемент, полный слез и несчастья. Чем я только ни торговал? Я могу даже сказать об этом стихами, как ваш Пушкин: сахарин, и аспирин, и английский фунт, и изюм, и чорт знает что. Меня восемь раз выслали: и минус шесть, и Нарым, и Соловки, и еще куда-нибудь, как будто я им Наусен, чтобы открывать Ледовитый полюс. Я все вытерпел. Но теперь — никаких дел. Можно сойти с ума от их понижения цен! Я потерял сто червонцев на одном коверкоте. Я не знал, чтобы мне еще придумать. Я стоял на Петровке, как у иерусалимской стены плача. Если из меня не текли слезы, то только от воспитания. Вдруг выскакивает Фукс и говорит мне «издавай! Я издаю и ничего — дает». Я, конечно, схватил его за шиворот: «может быть, ты съел тухлую рыбу? Что я государственный комитет, чтобы издавать?» А он смеется: «ты же не будешь издавать какую-нибудь пропаганду. Нет, ты будешь издавать романы с парижскими штучками, и ты зарабатываешь сто на сто». Что же, он оказался не таким дураком, этот Фукс! Я уже все придумал. У меня есть название: Издательство «Красный Диван». У меня даже есть рукопись. Это такой роман,

что я не могу читать его спокойно. Я его читал уже восемь раз, и все-таки я не могу успокоиться. Глаза у меня на лоб лезут. Ну, и городок, скажу я вам, Париж! Вы сами прочтете. Сначала мальчик спит с девочкой. Хорошо, это и у нас в Крыжополе бывает. А потом мальчик спит с мальчиком, а девочка с девочкой, и каждый отдельно, и все вместе, и на двухсотой странице я уж не могу ничего разобрать, потому что это даже не кровать в семейном доме, а какая-то ветряная мельница. Я не знаю, может быть, и переводчик наврал, потому что это один эстонец, настройщик роялей. Он понимал из десяти слов пять, и он даже сам сказал мне, что за сорок рублей не может понимать все слова, хватит с меня половины. Но разве в словах дело? Книга эта замечательно пойдет, верьте моему нюху. Я только боюсь взять ее и просто издать. Довольно с меня этих полярных прогулок! Я хочу, чтобы вы написали к ней настоящее марксистское предисловие. Я дам вам пятьдесят рублей. После вашей тонкой речи, я знаю, что вы напишете предисловие, как последний дипломат. Идет? Вот вам авансик. Еще пивца? Кофейку?

Над предисловием Лазику пришлось прокорпеть не меньше, чем над памятной анкетой о кролиководстве. Одиннадцать раз перечел он рукопись, и все же ничего не понял.

«Здесь Валентин взял трамвай, и он увидел Анжелику танцевать среди лимузинов. Тогда в нем пробудилась страсть к очертаниям, и он невольно отобрал у своего соседа теннисную ракетку. Он сказал ему: «ты ведь хочешь лежать со мной, после «Быка на крыше», среди леса в Булони или даже в ложе глухой привратницы?»

Лазик тихо стонал. Вот, кто съел тухлую рыбу! Ну, пусть себе лежат на крыше или даже в глухой ложе: это их семейное дело. Но при чем тут ракетка? Нет, кажется, легче размножать мертвых кроликов! Однако, Ройтшванец был человеком твердой воли. Он решил дослужиться до бронзовых брюк, и он работал, как вол. Че-

рез несколько дней он закончил краткое, но содержательное предисловие:

«Французский писатель Альфонс Кюроз, книгу которого мы торопимся преподнести пролетарскому читателю, не так прост, как это кажется с поверхностного виду. Под видом столкновений разных полов, он на самом деле звонко бичует французскую буржуазию, которая танцует, как сумасшедшая, среди люстр и лимузинов. Валентин — типичный дегенерат, который, наверное, хочет нашу нефть и пока что эксплуатирует свою глухую привратницу. Положение угнетенного класса раскрыто автором хотя бы в таких словах этой якобы голосующей рабыни: «господинъ, промолвила она, вытрите ноги, если это вам нравится». Сколько здесь раболепства под видом ложной свободы!

Конечно, Альфонс Кюроз шатается между двумя станами, и он не может никак стать на твердую платформу. Мы знаем с точки зрения беспощадного марксизма, что он вполне деклассированный тип и содрогается на перепутьи. Но талант подсказывает ему, что скоро уж не будет никаких очертаний, а теннис перейдет в мозолистые ладони бодрых пионеров. Когда падает в будуаре массивный таз, он символически вздрагивает и, пряча в комод грязное белье своего прошлого, невыносимо кричит «идет, он идет!» Наш пролетарский читатель усмехнется: да, он таки идет, новый хозяин жизни, и пора вам, мечущиеся Кюрозы, стать под великий флаг установленного образца!»

Легко понять, как дрожал Лазик, заканчивая это предисловие: он ведь хорошо помнил 87-ую статью. Но вдохновение победило страх. Рюрик Абрамович прочел предисловие вслух, он прочел его с пафосом, брызгая слюной и жестикулируя.

— Что говорить, первый сорт! Представляю себе, как бестия Фукс будет мне завидовать...

Получив деньги, Лазик возгордился. Он пошел в «Венецию», выпил графинчик водки и начал хвастаться:

— Я все могу разрезать с марксистской точки. Даже

пупок. Я прямо таки гений, и мне смешно думать, что передо мной сидят какие-то живые люди, а не одна вечная память. Что, Феничка, ты таки прогадала? Я вскрываю научно твой сиреневый капот и говорю — это шатанье между двумя платформами. Эй, вы, Бетховен, играйте мне мелодию! А вы кто такой? Оффициант? Не знаю. Не знаком. Вы, может быть, Максим Горький? Одним словом, помогите мне встать, потому что у меня ноги не двигаются. Они уже, наверное, стали из бронзы.

Лазика повели в уборную. Позабыв о мировой славе, он виновато застыл над раковиной. Что делать — он ведь никогда не пил столько.

Две недели спустя Ройтшванца уже знала вся литературная Москва. Он заходил, как свой человек, в редакции посидеть, поговорить, он требовал в издательствах авансы под различные труды, он выступал на диспутах. Все быстро привыкли к его непомерно маленькому росту и тонкому голосу, похожему на писк мышки. Правда, никто не знал толком, чем он знаменит, но на всякий случай гессорили: «надо позвать и этого Ройтшванца»... Когда Лазика спрашивали:

— Работаете?

Он гордо отвечал:

— Еще бы! Заканчиваю шестой том марксистской критики всяких очертаний.

Это вызывало благоговейный трепет одних, зависть других. Однажды Лазик сидел в «Литературном Клубе», поджидая okazji: вдруг объявится какой-нибудь новый Солитер. С ним заговорил очкастый субъект, все время надрывно зевавший:

— Скучный сегодня доклад...

— А когда он не бывает скучным? Это же вам не «Венеция» с мелодиями...

Очкастый усмехнулся:

— Вы — поэт? Прозаик?

— Я? Я марксист на седьмом томе. Да, не что-нибудь возле, но стопроцентный критик. А вы кто же?

— Я — ученый секретарь Академии

Лазика передернуло: вот это номер! Наверное, ему

платят все сто рублей за предисловие и вообще громовой почет. Какъ должны, например, кормить такого академического фрукта! Сплошными орхидеями. Почему же Лазик не может быть секретарем Академии? Это, вероятно, обыкновенный дом, если не на Лубянке, так на Петровке. А на счет учености не может быть речи. Более ученого, кажется, трудно себе представить. Мало учил его хотя бы товарищ Серебряков, уж не говоря о хедере?

На ближайшем диспуте «О современном языке», Лазик так начал свою речь:

— Я говорю не только как беспощадный критик, но как очень ученый секретарь самой главной Академии. Я знаю ваш могучий язык вдоль и поперек, и я скажу, что это только предсмертное скакание, потому что, когда волнуется классовый океан...

Кончить ему не удалось.

За одной бедой пришла другая. Рюрик Абрамович снова уехал открывать Северный полюс, и, разбирая дела издательства «Красный Диван», нескромные люди заинтересовались автором патетического предисловия. После скандала на диспуте «бдисты» поспешили отступить от Ройтшванца, и литературная карьера Лазика кончилась следующим, не вполне литературным разговором:

— Имя? Год рождения? Состоите на учете? Хорошо. Теперь объясните мне, кто вы, собственно говоря, такой?

— Я? Надстройка.

— Как?...

— Очень просто. Если вы база, то я надстройка. Я говорю с вами, как закоренелый марксист.

— Знаете что, вы эти истории бросьте! Меня разыграть не так то легко. Я вас насквозь вижу. Отвечайте без дураков, что вы за птица?

— Если птица, то филин. Как? Вы не знаете этой постыдной истории? Но ведь ее знает весь Гомель. Тогда я вам сейчас же расскажу. Два еврея разговарива-

ют: «что такое филин?» — «рыба» — «почему же она сидит на ветке?» — «сумасшедшая». Так вот я скорей всего птица или рыба, одним словом, что-то сумасшедшее.

— Ах, так!.. Прикидываетесь?.. Я, кстати, спец по части симуляторов. Здесь один прохвост был, продавал на черной бирже доллары. Так он вроде вас комедию затеял. Объявил себя собакой. На четвереньках ползал, лаял, даже заднюю лапу подымал. Ну я ему: «что же, раз вы собака, то и говорить не о чем: собаке — собачья смерть!» Он мигом вскочил на обе ноги и как закричит: «хорошо, я уже не собака, я — Осип Бейчик и, пожалуйста, обращайтесь со мной по-человечески!» Итак, вы — рыба?

— Нет, я не рыба. Я вовсе не хочу плавать в какой-то холодной воде. Я попробовал говорить с вами возвышенно, как на самых шикарных диспутах, но если вам это не нравится, я могу говорить с вами просто. Кто я? Я — бывший мужеский портной. Все началось с брюк Пфейфера, а кончилось этими бронзовыми брюками. Меня раздавило величье истории. Я, например, три дня постился, а потом я встретил товарища Архипа Стойкого. У него росла борода не на месте, и он читал мне такие глупости, что услышь их последняя гомельская кляча, и та, наверное, сдохла бы от сухого сарказма. Тогда я подумал, если этот Архип Стойкий — великий писатель, почему же мне не взлезть на готовый пьедестал? Я не виноват, если я ничего не понял в романе гражданина Кюроза. Вы тоже не поняли бы, и я даю вам честное слово, что даже китайские генералы здесь тоже ничего не поняли бы. А если я один раз и нализался в «Венеции», то это еще не государственный порок. У нас в Гомеле говорят: «человек, конечно, вышел из земли, и он, конечно, вернется в землю. Это вполне понятно. Но между тем, как он вышел и между тем, как он вернется, можно, кажется, опрокинуть одну рюмочку». Я не помню, что я говорил там, в этой журчащей «Венеции», потому что меня там просто на просто тошнило. Теперь я

развенчан, как несуществующий бог. Что делать, я не возражаю. Вы не хотите, чтоб я был новым Пушкиным, я не буду. Я снимаю с себя эти бронзовые штаны, и я прощаюсь с вкусными орхидеями. Я обещаю вам быть тише, чем, стриженная под бобрик, трава. Только не отсылайте меня к Рюрику Абрамовичу! У меня нет никакой шубы, а он теперь, наверное, не заказывает больше предисловия. Не пытайте злосчастного Ройтшванца! Нет, лучше отпустите его на все пятнадцать сторон!..

К осени Лазик устроился. Он снова ел битки. Правда, в его новой службе не было ничего возвышающего душу, но наученный горьким опытом, он больше не мечтал о мировой славе. Некто Борис Самойлович Хейфец получал из Минска контрабандное сукно. В обязанности Лазика входило разносить материал частным портным. За это он получал шесть червонцев в месяц. Конечно, в Москве было теплей, чем на северном полюсе, но Лазик все время дрожал. Он нес сукно, как бедная мать подкидыша, прижимая его к груди и пугливо озираясь на щебечущих воробьев. Он даже завидовал Рюрику Абрамовичу — тот уже на месте, привык, может быть, оброс толстой кожей, как ледовитый медведь, а ему, Лазику, только предстоит эта лихорадочная экскурсия.

Единственным утешением Лазика были две соседки. Он встречал их иногда в коридоре или на лестнице, останавливался, благоговейно вздыхал и терял отрез сукна. Время взяло свое — он в душе изменял Фене Гершанович. Как никак Феничка была яблоком отсталога продукта, а соседки Лазика работали в «Льняном Тресте», ходили в театры со стрельбой, и выражались научно; так, например, одна из них, столкнувшись в дверях с Лазиком, сказала: «такие арапы зря занимают жилищную площадь»... Лазик влюбился сразу в обеих, и это его несколько смущало. Он знал, что одну, пышную и розовую, зовут «товарищем Нюсей», а другую, остроносую брюнетку, — «товарищем Лилей». В кого же он влю-

блен в Лилю или в Нюсю? Впрочем, этот вопрос занимал его абстрактно, так как он скорее согласился бы отправиться в гости к ледовитому Рюрику Абрамовичу, нежели заговорить с одной из прекрасных соседок.

Однажды вечером, вернувшись домой, после трудового дня (Хейфец получил большую партию коверкота), Лазик увидал в дверях своей комнаты товарища Нюсю. Он тихо пискнул от восторга. Нюся первая заговорила:

— Почему вы все время на меня смотрите и не здорваетеесь?

Лазик молчал.

— Вы, что же — немой?

Тогда героическим усилием воли Лазик заставил себя заговорить:

— Нет, я не немой. Немая это Пуке. А я — Ройтшванец. Но как я могу с вами говорить? О, если б я вас встретил раньше, когда я был кандидатом в Пушкины или хотя бы просто кандидатом! А что я теперь? Отпетый курьер вполне частного предприятия, то есть Бориса Самойловича. Вы же — бронзовое божество.

Нюся рассмеялась.

— Я не божество, а делопроизводительница, но комната у вас хорошая. Вы один ведь живете? Как только вам раздобыть удалось?

— Это — Борис Самойлович. У него удивительные связи. Но почему вы говорите о глупой комнате, когда вы даже не передовой отряд, а бронзовое очертание?

— Что вы к бронзе привязались? Я не из бронзы. Я, кажется. . .

Нюся не договорила, вместо слов она только члговляля своими не бронзовыми формами. Лазик зажмурился. Он еле-еле пролепетал:

— Какой сверхестественный фейерверк! . .

Нюся подошла к окну; тщательно осмотрела она скромную обстановку. Лазик не сводил с нее глаз: мираж, дивное видение!

Надо сознаться, что Лазик отличался чрезмерной

восторженностью. Хоть Нюся и была женщиной дородной, красотой она никак не отличалась: нос картошкой, вместо бровей — белый пух, короткая, толстая шея. Единственное, чем могла она похвастаться — это изобилие материала; рядом с Лазиком казалась она в ширину бушующим океаном, а в высоту небоскребом.

Молчание длилось довольно долго. Наконец, Нюся сказала:

— Вы все еще на меня глаза пялите? Нравлюсь?

— О!.. О!..

Лазик не находил слов. Он размахивал ручками и прерывисто дышал.

— Нравитесь? Какое постыдное слово! Почему я не Пушкин? Почему я хотя бы не Шурка Бездомный? Я смеюсь, когда думаю сейчас о моих недавних сомнениях. Вы слышите, как я ужасно смеюсь?

Нюся только пожала плечами: Лазик ведь не смеялся.

— Вы не слышите?

Он громко крикнул: «ха-ха!»

— Теперь вы слышите? Я смеюсь, потому что я сомневался в связи с этим товарищем Лилей. У нее же ничего нет, кроме носа. Она недостойна даже спать с вами в одной комнате. Когда я гляжу на вас со всех четырех сторон, в мои глаза летит электричество. Вы стоите сейчас над миром, как бронзовая.. .

— Тьфу! Снова бронза? Да вы попробуйте — я не холодная.

В голове Лазика пронеслось: Феня Гершанович, Шацман, корова, пигмей.. . Здесь надо быть действительно храбрым! Я же бодрый класс! Но как поцеловать ее, если она стоит? Взлезть на табуретку? Смелей!.. В который раз Лазик пришпорил себя любимым назиданием: «лезь, Лазик, лезь!» Он вскочил на табуретку. Сразу стал он высоким и дерзким. Тонкими ручками обнял он массивную шею. Он поцеловал Нюсю прямо в губы, как целовал этот нахальный Валентин свою парижскую Анжелику. Но здесь то и произошло непредвиден-

ное: у него закружилась голова и под хохот Нюси он упал на пол.

Встать? Не ведь она смеется... Он не виноват. Он смело пошел в бой, и если он контужен, то это бывает с самыми безошибочными героями. Но она этого не понимает. Значит, лучше не вставать. Лучше лежать на полу, как будто он уже умер от нахлынувшего счастья.

— Хи, хи!.. Чтож вы не встаете? Расшиблиць?

— Нет, я не расшибся, но я может быть окончательно умер от таких обжигающих чувств. Может быть, перед вами лежит только холодный труп торреадора или, даже, Евгения Онегина.

Власть насмеявшись, Нюся заставила Лазика встать. Преспокойно, она сказала:

— Лилка и мне надоела. Лезет со своим носом куда не следует. Нельзя никого к себе позвать — сейчас же отобьет. А вы хоть ростом не вышли, но, в общем, ничего, сойдет. Словом, — хотите, поженимся? Завтра с утра пойдем в «Загс», а после службы я перетащу мои пожитки. Будем жить вместе.

Вместо ответа, Лазик упал на колени. Несвязно восклицал он:

— Вы слаще бананов! Вы бурлите, как сто Днепров! Когда я получу от Бориса Самойловича шесть червонцев, я куплю вам теннисную ракету. Я люблю вас, как ископаемый бог!

Нюся потрепала его по головке и сказав: «значит, до завтра», как благоразумная невеста былых времен, ушла к себе спать. Не до сна было Лазику. Забыв о строжайших постановлениях жилтоварищества, как тигр, метался он по комнате от страха, от страсти, от счастья. Он разговаривал сам с собой: «Лазик, ты понимаешь, что случилось? Ты жил тридцать два года, как последний крот. Кто тебя вздумал бы поцеловать, кроме тети Хаси? А теперь ты стал счастливым любовником. Тебя можно показывать во всех театрах. Завтра ты войдешь в рай. Чем такая комната хуже ложи глухой привратницы? О тебе будут писать парижские романы. Рычи, Ла-

зик, смейся, танцуй! Ты уже не рассыльный Бориса Самойловича, ты бык на последней крыше».

Утром, Лазик презрительно отпихнул ногой пакет с коверкотом. Он заявил Борису Самойловичу:

— Сегодня я вообще не работаю. Я открыл себе высший план. Может быть, завтра я отнесу весь материал Сухачевскому, на эту дикую Шаболовку. Но сегодня я даже не хочу с вами разговаривать, потому что вы живете на земле с вашим собачьим коверкотом, а я порхаю среди сплошных очертаний.

— Что с вами? Вы с утра наладились? Или у вас грипп с осложнением?

— У меня любовь с осложнением. Завтра я к вам приду, но сегодня я женюсь, и не на обыкновенной женщине, а на приснившемся очертании.

В «отделе записей» Лазик держался с достоинством. Вот только никак не удавалось ему взять Нюсю под руку, как он ни старался. Встать на стул в учреждении он счел неудобным, а Нюся ни за что не хотела присесть на корточки.

Я не стану рассказывать о том, как Лазик на тридцать третьем году своей жизни стал торжествующим любовником. Уже светало, когда он разбудил Нюсю, заговорив от полноты чувств:

— Ты знаешь, мы играли в Гомеле трагедию товарища Луначарского. Тогда я ничего не понимал. Я был слеп, как бронзовая крыса. Мне нужно было кусать герцогиню, но я только несознательно хрипел. Теперь я понимаю, что это за замечательная трагедия! Если бы я был настоящим классовым герцогом, я бы стал сейчас же кусать тебя от предпоследней вспышки. Но я не герцог и я только хочу еще раз поцеловать эту не бронзу.

Нюся огрызнулась:

— Пошел к чорту! Я спать хочу.

Утром Нюся встала, зевая оделась, выпила чаю, а потом сказала Лазику:

— Ну, теперь идем в «Загс».

— Мы же вчера там были. . .

— «Вчера»! Вчера поженились, а сегодня разводиться пойдем.

Лазик присел на табуретку — здесь познал он первое счастье — и тихо заплакал.

— Нюся! Очертание! Почему же ты хочешь расстаться? Я ничего не понимаю... Ведь мы не обязаны разводиться. Мы даже можем жить вместе до замогильных досок. У позапрошлых евреев есть такое правило, что если молодые не спали вместе, они должны утром развестись. Это, конечно, насилье над свободной совестью, но это еще понятно. Зачем же люди женятся? Но разве есть такой закон, что если молодые спали вместе, то они обязаны утром развестись?..

— Надоел ты мне, пискун! Ну, спали! Кажется встали. Хватит! Не буду же я с таким клопом каждую ночь возиться! У нас свобода теперь. Выбирай кого хочешь. А не пойдешь в «Загс», я и одна забегу — мне по дороге. Вот давай-ка лучше с тобой о комнате поговорим. Пополам ее не разделишь. А назад к Лильке я не могу. Я с ней из за тебя поссорилась. И потом она сказала, что сегодня тоже в «Загс» пойдет с Гариным. Жить будут у нее. Ну, а ты мужчина, тебе легче устроиться. Значит, комната за мной. А свое добро забирай, только сразу, чтобы не валандаться. Я этого не люблю. И в гости не вздумай ходить. Я в «Загсе» четырнадцать раз была. Если все бывшие мужья начнут ко мне шляться — места не хватит.

Лазик тихонько высморкался.

— Я знаю, что я несчастен. Тетя Хася говорила, что я ударился головой о горшок. Когда у меня кончается мираж, ты говоришь о какой то смешной жилплощади. Будь у меня Академия, я отдал бы тебе всю Академию. Прости, что я разбудил тебя ночью с моими театральными апплодисментами. Я сейчас иду бродить по миру, как подобает проклятому Ройтшванцу. На земле есть квадратные метры и «Загс» и даже что то не из бронзы. Но на земле нет счастья. Это только отсталое слово могучего языка.

Увидев Лазика, Борис Самойлович рассмеялся:

— Женились? Поздравляю!

— Дайте мне коверкот для Сухачевского и не трогайте моих наболевших мест. Я не только женился, я уже и развелся. Зачем вы мне дали эту жестокую жилплощадь? Лучше бы я спал на скамье бульвара! Я сейчас могу всех перекусать, как бешеный кролик. Я отрицаю ваш организованный мир! Вы хотите только червонцы. Она хотела квадратные метры. Я хотел что-то другое, о чем я с вами вовсе не буду говорить. Но я спрошу вас — кто же ничего не хочет? Кто хочет только гробовой любви и капельки веселых слез от чужого счастья? . .

Лазик поселился у Хейфеца на кухне вместе со старой служанкой Дашей. Даша числилась тетушкой Бориса Самойловича, а Лазик его племянником. Ночами, Лазик оплакивал свое короткое счастье. Днем же по прежнему он разносил товар, получал деньги или чинил брюки Бориса Самойловича. Вы, пожалуй, спросите, почему Борис Самойлович не мог сделать себе новые из лучшего английского шевиота? Как будто, брюки это булавоочная головка! Впрочем, Лазик хорошо знал, что такое брюки. . .

Жил Борис Самойлович сосредоточенно, как человек преданный высокой идее. Он любил, например, индюшек или каплунов, но в квартире находился гражданин Тыченко и Тыченко мог учуять подозрительный дух. Борис Самойлович ел суповую говядину. Он ходил в заплатанных Лазиком штанах.

— Ты, Ройтшванец, хоть одну ночь был женат, а я вот уже второй год, как обхожусь скомканными воспоминаниями. Сюда привести нельзя — Тыченко узнает: «кто, почему, что это за роскошная жизнь? . . .» А пойти тоже опасно: вдруг попадешь на облаву. Марьянич рассказывал, что в Никольском три голых датчанки изображают подводный телеграф и всего червонец за телеграмму. Это же даром! У меня даже сердцебиение сделалось. Из дому вышел. Вернулся. Схватят и крышка.

Как то ночью Борис Самойлович привел Лазика к себе, закрыл дверь на ключ, посмотрел, не шляется ли

по корридору Тыченко и, наконец, вынул из под грязного белья небольшую картину в пышной раме. Лазик увидел охотничью собаку, которая бесцеремонно разрывала юбку крестьянки. Борис Самойлович благоговейно зашептал:

— Видишь? Это мне Сапелов продал за десять червонцев. У Сапелова не только оружейный музей был, но и конский завод. Он прямо сказал мне: «риск, что отберу, большой. Но, если продержите это до конца, — богатство. Иностранцы дадут не меньше ста тысяч, потому что это великая кисть. Это или Репин, или Рафаэль, или оба вместе». Вот и рискнул. Я даже не о деньгах думаю. Я гляжу тихонько по ночам и наслаждаюсь. Какое выражение юбки! Это — кисть! Ты хоть, Ройтшванец, ничего на свете не признаешь, но я тебе скажу, что есть, брат мой, замечательная красота.

Дни шли, полные опасностей. Лазик обходил портных. Иногда, при виде ножниц и утюга, просыпались в нем угрызения совести: «зачем я променял это на какие то скитания? . . . Но что же мне было делать? Не я отобрал у себя вывеску и счастье. Поздно жаловаться! Теперь я мчусь как бедный листик, гонимый столетним ураганом».

Червонцы Борис Самойлович выменивал на английские фунты и порой пересчитывал их; тогда Лазик должен был сидеть в уборной и отчаянно шуршать бумагой, чтобы сбить с толку Тыченко.

Пересчитав деньги, Борис Самойлович меланхолично вздыхал. Он шел в кухню на цыпочках и говорил прислуге:

— Тетя Даша, может быть вы поставите мне простой пролетарский самовар?

— Ни девочек, ни пообедать в «Московской», ни послушать оперетку, — жаловался он Лазику. Я же мученик! Я святой! После смерти я, наверное, не буду вянуть, нет, тогда я начну благоухать. Но пока что, чем мне утешиться?

— Вы можете думать, например, что вы уже после

смерти, и тогда вы можете благоухать во всю, если для вас это утешение.

Но не так то легко было Борису Самойловичу утешиться. Он шептал:

— Ты понимаешь, болван, что весь их коммунизм, это только пломбированная чепуха?

Лазик отвечал уклончиво:

— У нас в Гомеле говорят: одной селедки хватит и на десять человек, а большую курицу слопают двое. Это полная правда. Вы, конечно, любите кушать курицу, и я тоже люблю, и это все любят. Селедка во рту — другой разговор. А все вместе — это вовсе не ваш одинокий гнев, когда вы шуршите бумажками, но точная арифметика. Я это понимаю без всякой политграмоты, и мы с вами два ожесточенных класса. Всякий увидит, что вы это мягкий вагон, а я черезчур жесткий. Пока что нас везет один рассеянный паровоз. Но что будет завтра, я не знаю. . .

Как то вечером, возвращаясь домой, Лазик увидел Бориса Самойловича, обмотанного башлыком, который почему то прихрамывал:

— Где это вы упали, Борис Самойлович? Может быть на Шоссе Энтузиастов? Там таки скользко. . .

— Тише! Я уже не Борис Самойлович, я Оскар Захарьевич и хромаю с самого детства. Во первых держи этот сверточек. Только осторожней — здесь все мое будущее. А во вторых они сцапали Тыченко и оказалось, что Тыченко вовсе не в партии, он работал вместе с Марьянчиком. Значит, это идет через Минск, и сегодня схватят меня. Если б еще в Нарым, я подумал бы. Но здесь пахнет процессом. Ройтшванец, я решил удрать в Лодзь. Там у меня племянник. Не как ты — настоящий. Бог даст, проживу. Только бы провести этот сверточек. Теперь, спрашивается, что тебе делать?

— Мне? Ничего. Я привык. Самое большое, что я могу сделать при данной ситуации, это пойти в парикмахерскую.

— Ты дурак, Ройтшванец! Ведь, если я убегу, схва-

тят тебя. Пойди, доказывай им, что ты не племянник. Потом, кого видали с материалом? Тебя. Хочешь десять лет получить? Хочешь? Идиот! А что, если тебя расстреляют?

— Зачем же я стану заглядывать вперед в мое кровавое будущее? Лучше я пойду и перемену на всякий случай белье.

— Постой!... Знаешь что, я возьму тебя с собой. Ты перевезешь этот сверточек. А остальное устроится. Нас переправит Файгельсон из Минска. Ты еще сомневаешься? Но ты, мало сказать, идиот, ты дерево. Я тебя устрою в Лодзи.

— Я не понимаю, зачем мне бежать? Вы, конечно, спасаете вашего Рафаэля и беленькие бумажки. А что мне спасать? Если себя, то ради этого не стоит ехать в Лодзь, я спокойно могу умереть на Дорогомиловском кладбище. Если не себя, то кого? Мою бывшую супругу, или Тыченко, или, может быть, ваш неприступный сверток? Хорошо, у вас там племянник, но у меня там нет племянника, а вам я верю, как позапрошлому снегу. У меня была тетьа в Глухове, но ее уж нет. Зачем же мне бежать, или хотя бы ускорять походку? И вот я всетаки соглашаюсь, и я бегу с вами впопыхах в вашу проклятую Лодзь. Я уже больше не стоячий гражданин, но одно скаканье и неизвестность. Я сам не могу остановиться. Бежим, Оскар или Борис, или Репин с кистью, бежим! Мы — листики, а кругом ураганы. Но стойте — я плачу заядлыми слезами. Я прощаюсь с моей провалившейся молодостью. Я прощаюсь с Гомелем и с наперстком. Я прощаюсь с этим Иваном Великим и с табуреткой моей бывшей супруги. Я стою, как вкопанный, я рыдаю и я всетаки ничего не могу поделывать с подобным землетрясением — я бегу, и бегу, и бегу...

— Посмотрим с тобой правде в глаза, Ройтшванец. Ты большой философ и ты не дорожишь жизнью. Ты даже хотел немедленно умереть на Дорогомиловском кладбище. У тебя нет никого на свете. А у меня вот племянник в Лодзи. Я так не хочу умирать, что, когда я вижу на улице чужие похороны, у меня начинает колоть в животе. Значит, сверточек должен взять именно ты. Если тебя схватят, что же, ты умрешь какой-нибудь интересной смертью. Но если ты провезешь этот сверток, я тебя озолочу. А ты его наверное провезешь. Ты же такой маленький, что тебя вообще никто не заметит. Потом, ты, как никак, мой служащий, и ты обязан носить мои свертки.

— Я не говорю «нет», но я могу петь над собой похоронный марш, потому что мне тоже хочется еще пожить, хотя бы один год и у меня колет в животе, как будто я уже вижу свои собственные похороны.

Беглецы благополучно миновали пограничные посты. Завидев издали шапку польского жандарма, Борис Самойлович подозвал Лазика:

— Ну, теперь давай-ка сюда этот сверточек.

Лазик расстегнул брюки и вытащил заветный пакет. Отдавая его, он только спросил:

— А когда вы начнете меня золотить? . .

Но Борис Самойлович ничего не ответил. Конфиденциально улыбаясь, протянул он жандарму одну из шуршащих бумажек:

— То, пане, лепший паспорт.

Жандарм решил поторговаться: мало; это с одного, а не с двоих. Тогда Борис Самойлович, недоуменно пожимая плечами, сказал:

— То не есть муй человек. Я его совсем не знаю. То есть наверное большевик. По морде видно, что то есть пся кровь.

Лазика арестовали. Он не спорил, не защищался. Он только тихо сказал Борису Самойловичу:

— Я же говорил еще в Москве, что я вам верю, как позапрошлогоднему снегу. Вы можете кланяться от меня вашему дорогому племяннику, а потом золотить себя со всех сторон. Тогда вы станете таким красавчиком, что все польки устроят один беспроволочный телеграф. А Ройтшванец будет сидеть на заграничных занозах и думать, что нет на свете даже воровской справедливости.

Перед тем, как приступить к допросу арестованного ротмистр решил малость подкрепиться: он съел кусок копченой полендвичи и опорожнил графинчик «чистой». Хоть его ноги отяжелели, голова стала зато легкой, и невинно гогоча от детского веселья, он приветствовал Лазика:

— Здравствуй, лайдак! Ты что же, червонный шпег?

— Я? Нет, я скорей всего горемыка Ройтшванец.

— Не прикидывайся глупцом. Какие планы ты хотел выкрасть, например, варшавские или виленские? Или, может быть, ты хотел замордовать самого дедушку Пилсудского?

— Он мне вовсе не дедушка, и я никого не хотел замордовать. Я даже не хотел замордовать этого Бориса Самойловича, хоть он обещал меня озолотить, а потом убежал вприпрыжку. Планы мне тоже не нужны, я не рисовальщик и у меня нет кисти Репина. Одну ночь, я, правда, провел в высшем плане с моей бывшей супругой, но это кончилось простой жилплощадью.

— Это же не человек! Это ясная холера! Здесь тебе не советская гноювка, чтобы молоть глупости. Отвечай, почему ты перешел в Польшу?

Лазик задумался. Ему было и впрямь трудно ответить на этот резонный вопрос:

— Скорее всего, потому, что на меня подул задний ветер. Если у вас есть часок, другой времени, я, конечно, расскажу вам все по порядку. Началось это с глухонемой Пуке. Я был влюблен тогда в Феню Гершанович, а вы сами знаете, что любовь не простой овощ. . .

— Быdle! Так ты разговариваешь с польским офицером? Здесь тебе не Азия. У нас Париж. У нас «Лига Наций». У нас в Вильне — шикарный университет. Мы Коперника родили. У нас роскошные кокотки в цукернях. Я тебе морду развалю! Отвечай по порядку: кто ты такой?

— Бывший мужеский портной.

— Ага! Кравец.

— Я вовсе не Кравец, а Ройтшванец, но у нас в Гомеле не мало Кравцев. Один Кравец даже состоял комиссаром и давил тифозных блох; а другой Кравец готовил из венгерского скипидара «пейсаховку», потом его конечно загнали куда теленок Макара не гонял. . .

— Помолчи, болван! Откуда ты родом?

— Я уже сказал вам, что я из самого Гомеля.

Ротмистр, утомившись, задремал. Разбудили его шаги вестового. Очнувшись, первым делом он крикнул:

— Еще едно бутэлька! . . Откуда ты, сукин сын? Из Хомеля. Вот так! Значит, ты поляк. Хомельщина это же наши крессы. Стань во фрунт перед офицером, старая шкапа! Ты паршивый жидентко, но ты доляк моисеева закона, потому что эту Хомельщину мы у вас скоро отобьем. Вы все хомельские на самом деле поляки.

Ротмистр теперь дул водку из чайного стакана, Лазик глядел на него задумчиво и нежно:

— С вами же будет, как со мной в «Венеции» и здесь даже нет чашки. Вы говорите, что я поляк? Может быть. Я об этом еще не думал. Но я был ученым кандидатом Академии. Почему же мне не стать поляком? Вот с Пфейфером вам будет наверное труднее, потому что он упрям, как осел, и потом он сейчас в польском Гомеле, а вы еще

здесь. Он может сказать, например, что он не поляк, а гневный член ячейки. Я же стою здесь и я не спорю. Поставим десять точек и скажем, что я полнокровный поляк. . .

Ротмистр больше не слушал его. Он гаркнул:

— Встань, холера!

(Хоть Лазик и до этого стоял).

— Встань и пой наш богатырский гимн: «Еще Польска не сгинела, пуки мы жиемы!»! . .

Здесь то Лазик прервал пение отчаянным возгласом:

— При чем тут Пуке? . .

— Молчи, стерва! Ты ликовать должен, бить в бембены, дуть в тромбы, ходить на голове, а ты еще пищишь что то. Я из твоей морды компот сделаю! Я тебя выкину в окошко! Ты у меня будешь на брукле лежать! . .

Лазик вздохнул:

— Снова брюки? Но эти суконные близнецы преследуют меня до самого гроба! . .

— Я тебя в козе загною! Ты у меня узнаешь, что такое Речь Посполита! Это тебе не червонный навоз!

— Я уже узнал. Мне кажется пора итти на посполитные занозы, а вам не мешает поискать где здесь какаянибудь удобная чашка, не то вы испачкаете мое дорогое признание, которое вы записали на этом роскошном листе. Я сам вижу, что я не у себя в Гомеле, а в замечательной Речи. Правда, там меня спрашивали о кубических метрах безответного отца, зато вы хотите сразу варить из меня какое-то сладкое блюдо. Рожайте же ваши шиковные цукерни и отбирайте у меня хоть сто Пфейферов, но теперь закончим этот певучий монолог.

Тогда ротмистр, понатужась, встал, отвесил еще одну затрещину и, видимо, покоренный красноречием Лазика, пошел разыскивать укромное место. Лазика отвели в камеру.

Через несколько дней его перевезли в Гродно. Там он подвергся новому допросу. Офицер, допраши-

вавший его, был отменно вежлив, он даже сказал «пане старозаконный» и Лазик в умилении воскликнул:

— Нельзя ли, чтоб меня всегда допрашивали утром, когда господа ротмистры пьют кофе с молоком, а не эту «чистую»?

Ротмистр ничего не ответил. Он только деликатно прикрыл рукой рот. Что делать, — он любил иногда схватить на тощак склянку хорошей сливовицы.

— Итак, вы сами сознались в том, что нелегально перешли границу для преступной пропаганды среди, якобы, белорусских крестьян.

— Он, наверное, не нашел чашки, тот первый ротмистр, он испачкал лист и вам показались ненаписанные буквы. Я сознался только в том, что меня зовут Ройтшванец и что я полнокровный поляк. О крестьянской пропаганде и о якобы мы даже не разговаривали. Мы говорили о самых различных вещах, например, о том, что можно взять и замордовать дедушку Пилсудского или украсть целое Вильно со всеми его планами, но о крестьянах, пан первый ротмистр даже не заикался.

— Значит вы отказываетесь от своих собственных показаний? Теперь вы утверждаете, что вы поляк?

— Положим, это утверждаю не я, а вы или даже ваш родимый товарищ по профсоюзу. Он ведь сам сказал мне, что Гомель это полнокровная Польша, а я только пархатый Моисей польского закона.

— Конечно, Гомель — польский город. Мы были там и он принадлежит нам по праву.

Лазик оживился.

— Вы были, пан ротмистр, в Гомеле? Это город высший сорт! Неправда ли? Один парк Паскевича красивей всех кисточек Рафаэля. А театр, что он плох? А Сож, чем это не показательное море? Таких деревьев, как в Гомеле, я еще нигде не видел, и таких женщин я тоже не видел, потому что, если сравнить теперь с исторической высоты Феничку Гершанович и Нюсю, временно Ройтшванец, то сравнение не выдержит. Но зачем я говорю вам об этом, когда вы сами были в Гомеле? Ин-

тересно, где вы там останавливались? Если в первой коммунальной гостиннице, то, конечно, там отборное положение, так что можно с балкона глядеть на всех проходящих знакомых, но зато там нахальные клопы.

— Вы меня не совсем поняли. Я лично в Гомеле никогда не был, но мы, поляки, были в Гомеле, следовательно, морально, он наш.

— Вы такой симпатичный, пан ротмистр, что мне хочется сделать вам цветочное подношение. Вы не кричите мне, что я, скажем, старый шкап, и вы держите ваши руки всего на всего в положенных карманах. Так послушайте — я разводил в Туле мертвых кроликов. Это очень красивый город с сокращенным штатом. Что же, в Туле тоже был один поляк, я даю вам честное слово. Он заведывал в коммунальном отделе постыдными бочками и он приходил к нашей курьерше Дуне, и он все время причмокивал: «Что это у вас, коханный товарищ, за божественные перфумы»?.. Дорогой пан ротмистр, вот вам еще один город. Это не шутка! За пять минут вы неслыханно разбогатели. У вас Хомельщина, у вас Тульщина. Напишите открытку Рюрику Абрамовичу, и он наверное подарит вам всю Нарымщину. Тогда вы станете целым полушарием. Я же вас попрошу только об одном: отпустите меня на свободу! Вдруг я попробую сшить какому нибудь польскому Моисею костюм из его материала. Я все таки устал сидеть на занозах, у меня сзади уже не Ройтшванец, но полное решето.

— Увы, я не могу отпустить вас. Вы советский шпион и вас можно присоединить к любому делу, например, к заговору во Львове, к бомбам в Вильне, к гродненским прокламациям, к подделке печатей в Лодзи, к покушению на маршала в Кракове, к складу оружия в Люблине...

— Умоляю вас, остановитесь! Я же знаю, что у вас много городов. Такой походкой вы дойдете сейчас до Тулы. Но я не хочу, чтоб меня присоединили. Я уж присоединился к вам и я полнокровный поляк. Если вы встанете, я сейчас же спою вам богатырский гимн: «Еще Пукке не сгинела». . . Я хочу сам родить нового Коперника!

Я хочу, наконец, поглядеть на этих цукерных кокоток! . .

Лазик просидел в тюрьме четыре месяца. Из Гродно его перевезли в Вильно, из Вильно в Ломжу, из Ломжи во Львов. Не без гордости говорил он другим арестантам:

— Вы — быдло! А я пан ученый секретарь. Я же открыл эту Польшу, как новый Нансен. У меня теперь внутри уже не потроха, но один посполитый план с полной карточкой сильных напитков. Но я не унываю. Я уже успел заметить, что у вас здесь еще теснее, чем у нас. Шутка ли сказать, когда у вас и крессы, и «Лига Наций», а на каждую нару приходится десять штук полнокровных поляков. Я хоть Мойсей незначительного роста, но я все таки занимаю свои квадратные метры, а паны ротмистры все время устраивают буйные заговоры. Значит настанет день, когда меня выпустят и я ударю с размаху в бембены.

Наконец, Лазик попал в Варшаву. Двенадцатый ротмистр любезно сказал ему:

— Скоро мы вас вышлем из Польши.

Лазик вздохнул освобожденно.

— Слава Богу,! Вы таки недаром родили Коперника! А что вы собираетесь выкинуть: обмордование пана Пилсудского или просто восстание сотни-другой виленских галичан? Впрочем, это я спрашиваю из голого любопытства. Мерси, пан ротмистр, мерси! Я вот все время сижу на занозах и думаю, что у вас здесь за удивительная свобода! Я ведь объехал уже десять тюрем, и я могу сказать, что это не страна, а детский праздник. Я понимаю, что вы пана Пилсудского зовете дедушкой. Глупое родство здесь непричем. У меня дядя Борис Самойлович, но куда ему до пана Пилсудского! Как у вас дышется самой полной грудью! Стоит только сказать последнему быдле не такое точное слово, как его поправляют на государственный счет. А что у вас за пышные окраины! У других на окраинах один невыметенный сор. Преступник Архип Стойкий говорил мне, что у нас на окраинах живет сумасшедшая мордва, и она даже кричит по мордовски. А у вас и в Гомеле одни поляки. И все они конечно поют, чтобы не сгинуть. Я понимаю, что стоило, как сказал мне седьмой пан-ротмистр, двести лет умирать, чтобы получить такую неслыханную свободу.

Ротмистр умилился.

— Это хорошо, что вы оценили нашу свободу. Польша, как и во времена великого Мицкевича, умеет завоевать даже самые черствые сердца. Теперь, через месяц-другой, мы вас вышлем. Вы очутитесь на свободе в какой-нибудь несвободной стране. Там то вы вспомните о польской «дефензиве». Вы вдохновенно скажете: «Речь Посполита не только очаг свободы, это и оплот правосудия».

После столь патетической речи ротмистр в изнеможении закрыл глаза и предался приятной дремоте. Лазик не торопился возвращаться в камеру, он решил prolong беседу:

— Я хочу сейчас рассказать вам одну историю о мелком скоте. Хоть я и не слышу вашего благородного дыханья, пан ротмистр, я уже понимаю, что вы не пьете ни «зубровки», ни «старки», ни «чистой», ни даже «сливовицы». Вы наверно все думаете о какой-нибудь «Лиге Наций». Так вам будет занятно послушать эту старую историю. Когда я был еще не поляком мойсеева закона, а только обыкновенным евреем из неустановленного Гомеля, я учился в хедере, и там мне рассказали этот веселый факт. Вы, конечно, знаете об Александре Македонском. Он был самым главным маршалом. Кто-нибудь его наверно да родил, как вы Коперника. Так вот этот Александр Македонский ездил по всему свету, вроде меня, и он попал в гости к дикому царю. Можете себе представить разницу между Александром Македонским и каким-нибудь сплошным дикарем! На одном наверно был пышный мундир, вроде вашего, а на другом, хорошо, если штаны из последней бумажной дряни. Александр Македонский попал прямо на суд и дикий царь перед ним допрашивал своих дикарей. Видите ли, один дикарь купил землю у другого дикаря, он хорошенько порылся и нашел там сверточек, может быть с английскими бумажками. Спрашивается, кому принадлежит этот сверточек: тому, кто продал землю или тому, кто ее купил? Дикарский царь говорит:

— У тебя есть, может быть, сын?

— Есть.

— А у тебя, нет ли кстати дочки?

— Есть.

— Тогда ты женишь твоего сына на его дочке и сверток вы отдадите молодым.

Александр Македонский услышал это и он стал в изумлении пожимать плечами: что за дикарские выдумки? Они же не знают настоящего правосудия! Тогда дикарский царь спрашивает его:

— А разве в твоей великой стране суд поступил бы иначе?

Здесь Александр Македонский так расхохотался, что у дикарей лопнули все дикарские перепонки. Вот, кстати, я хотел бы послушать, как смеется пан Пилсудский. Это должно быть тоже сильная музыка. Но все-таки, я думаю, Александр Македонский смеялся еще почище. А когда ему надоело смеяться, он сказал дикарскому царю:

— У нас? Но у нас нет таких дикарей, как, скажем, ты. У нас обоим отрубают на всякий пожарный случай головы. Может быть, они устраивали заговоры или вообще швыряли бомбы. А сверточек? Сверточек берут в государственный банк, потому что деньги всегда пригодятся, если нужно каждый день резать головы и еще содержать шикарную свиту.

Ну, тогда настал черед пожимать плечами дикарскому царю. Он не умел так смеяться как Александр Македонский: для этого нужно иметь настоящее государство, вот как у вас, с шикарным университетом. Нет, дикарский царь только кротко спросил Александра Македонского:

— Скажи, а в твоей великой стране солнце светит?

— Еще бы! Когда на небе солнце, то оно светит.

— А дождь в твоей великой стране идет?

— Что за вопросы? Когда идет дождь, тогда он идет.

— А есть в твоей великой стране мелкий скот?

— Дай бог тебе столько мелкого скота, сколько в моей стране.

Задумался дикарский царь, а потом говорит:

— Знаешь что, Александр Македонский, если в твоей великой стране еще светит солнце и еще идет дождь, то это только ради мелкого скота.

Хорошенькая история, пан ротмистр? Но почему вы так смотрите на меня? Вы же не Александр Македонский! Ой, пан ротмистр, что у вас за кулак! Это настоящая артиллерия! У вас кулак, как у пана ротмистра номер шесть. Я тоже рассказал ему один старозаконный факт, а он ответил мне кровавыми бенбенами. Еще два-три пана-ротмистра, и от Ройтшванца вообще ничего не останется — только один синяк верхом на занозах.

С тринадцатым ротмистром Лазиком довелось беседовать в Познани. Войдя в кабинет он весело представился:

— Я тот самый Ройтшваец. Сегодня чудесное утро! В этой тюрьме не слышно воробьев, но сегодня они наверное поют, как звезды в оперетке, потому что это международная весна. У нас, в Гомеле, сейчас тает могучий лед, Пфейфер, конечно, ругается, потому что у него дырявые галоши, а Феня Гершанович швыряет улыбки, как первая любовь, хоть рядом с ней Шацман или даже не Шацман. Что же на свете лучше такого дня!.. Я очень рад с вами познакомиться. Правда, вы не первая любовь, вы тринадцатая любовь, но это счастливое число, это чортова дюжина.

—Преступный москаль, ты должен плакать, а не шутить. Только что я подписал приказ о твоей высылке и завтра ты должен покинуть нашу прекрасную Польшу.

Здесь с Лазиком случилось нечто невообразимое: от радости он совсем потерял голову. Он прыгал из угла в угол, жужжал, как шмель, бил себя по злосчастным местам ладошами; наконец, вспомнив уроки киевского паразита, он стал танцевать перед растерянным ротмистром настоящий фокстрот.

— Ты взбесился?..

Но Лазик не мог вымолвить ни одного слова. Он

только продолжал издавать трубные звуки. Тогда, всполошившись, ротмистр вызвал врача:

— С арестованным от душевного потрясения сделались страшные судороги. Это может быть пляска святого Витта или апоплексический удар? Как тяжело глядеть на страдания человека, будь то даже большевистский злодей!

И добрый ротмистр, вынув большой фуляр, трагически высморкался. Доктор осмотрел Лазика.

— Покажите язык. Говорите тридцать три. Дышите. Не дышите. Я думаю, пан ротмистр, что это не так опасно. Я пропишу ему касторки и шестимесячный курс водолечения.

Услышав это, Лазик мигом присмирел.

— Я выпью хоть бочку касторки, пан доктор, но разрешите мне лечиться гденибудь за границей. Честное слово, я найду воду и в другой стране, это же не такая редкость.

Ротмистр не выдержал: он заплакал.

— Как это ужасно! Он мог бы еще шесть месяцев провести в польской тюрьме и вот он должен завтра уехать. Сколько на свете горя! Я гляжу на него и мое сердце рвется на части. Дайте ему, пан доктор, хотя бы касторки, чтобы он не умер в пути от разрыва сердца. Почему ты не плачешь, разбойник? Облегчи себя слезами. Подумай, завтра взойдет солнце, на улицах будут гулять прекрасные панны, в графинчиках будет играть всеми цветами радуги наша знатная «перлувка», даже за тюремной решеткой будет журчать певучая речь, а тебя в это время повезут куда-нибудь в угрюмые страны. . .

Лазик забеспокоился:

— Что вы называете «угрюмыми странами»? Северный полюс? Или Румынию?

— Тебя вышлют на ближайшую границу. пей касторку! Молись богу! Рыдай! Завтра утром. . .

— Утром. . .

Лазик опять издал неподобающий звук.

— С тобой начинается снова припадок?

— Да нет же, пан ротмистр. Как говорил ваш самый первый родоначальник, я только дую в тромбу. Будь у меня монета, я бы выставил вам на радостях бутылку этой знатной «перлувки».

— Безумец! О какой радости ты говоришь? Если бы у меня было черствое сердце, я бы радовался: вот еще один азиат покидает нашу святую землю! Вот мы вытряхиваем прочь еще одного большевика, татарина, москаля, насильника, палача, варвара! Не забывай, что вы сморкались двумя пальцами, когда у нас жил Сенкевич. Да, я бы мог радоваться. Но ты должен бить себя горестно в грудь. Или ты сумасшедший, и тогда мне придется подвергнуть тебя медицинской экспертизе.

— Нет, не подвергайте! Лучше я выпью касторки. Я ударю себя в грудь. Я бы вам объяснил, почему я дую, я только боюсь, не занимаетесь ли вы по утрам гимнастикой. Нет? Вы по утрам пишете доклады? Вот и чудесно. Тогда я расскажу вам в чем дело. Когда я связываю пожитки, у меня моментально развязывается язык. Начнем с фараона. Это был один высокий чин, который сидел наверху, а внизу евреи строили пирамиды. Он щелкал бичем, а они должны были строить. Скажем, что они были Мойсеями Фараонова закона, хотя Мойсея тогда не было и когда Мойсей оказался, они решили сколько же можно строить, ну, десять пирамид, хватит, и они ушли пешком из Египта. Здесь началась дискуссия. Одни говорили, что евреи радовались, удрав из Египта, хоть им и пришлось кушать какие то мелочи с неба, а другие уверяли, что радовался фараон, потому что с евреями, как вы сами знаете, уйма хлопот, надо их громить или вешать, или бесплатно кормить в тюрьме певучими разговорами. Вот тогда то нашелся умник, который сразу осветил момент. Он так сказал: «когда едет тучный человек на маленьком ослике, ему неудобно и ослу неудобно, а когда они приезжают, то оба рады. Но вот вопрос: кто больше радуется, всадник или осел»... Значит, мы можем оба радоваться. Вы спрячьте ваш пла-

чевный платок и перестаньте сморкаться, как Сенкевич. Танцуйте лучше фокс-трот. Ведь это радость избавиться от подобного Ройтшванца! Но что касается меня, я все таки думаю, что еще больше радовался осел. . .

На этом кончилась беседа между Лазиком и познанским офицером. Я не стану описывать последующего. Достаточно сказать, что тринадцатый ротмистр подвел Лазика: по утрам он не только писал доклады.

Сначала Лазик обрадовался: ему показалось, что все кругом говорят на еврейском языке, только слегка испорченном. Он даже шепнул в восторге начальнику станции: «вус махт а ид?», но тот так мрачно гаркнул, что Лазик поспешил скрыться. Внимательно всматриваясь в лица, он бродил по местечку:

— Наверное, здесь живет какой-нибудь Мойсей немецкого закона.

Действительно, вскоре он увидел недвусмысленный нос. Радостно подбежал он к его владельцу:

— Я таки нашел вас! Здравствуйте, здравствуйте, как вы здесь живете, и да пошлет вам бог все двенадцать сыновей, чтобы было кому сказать хорошенький «кадиш» на вашей близкой могиле! Вы, конечно, должны помочь мне, потому что вы еврей, и я еврей, и до свидания в будущем году в Иерусалиме. Мне нужно несколько плевых марок, чтобы доехать до Берлина и приятное дело закусить. В Польше я успел проголодаться. Подумайте, у вас, наверное, были родители и их, наверное, уже нет. Я буду всю жизнь за них молиться. Но если вам мало моих набожных слез, я могу вам сшить, например, галифе защитного цвета. Я могу даже....

Господин Розенблюм строго оборвал Лазика:

— Я вас пошимаю только потому, что живу недалеко от границы. Однако, я не иудей, я настоящий немец. Конечно, я исповедую мозаизм, но это мое частное дело. Для заупокойных молитв я уже панял одного чело-

века, и я не так богат, чтобы за моих дорогих родителей молились двое. Я не ношу никаких галифе. Меня одевает портной Шпигель, который одевает также всех господ советников коммерции и даже господина фон-Кринкенбауэра. Но если вы укоротите мое зимнее пальто, перелицуете костюм, выгладите весь гардероб и почините детские костюмчики, я дам вам пять марок, хоть вы восточный иудей, полный холеры, тифа и большевизма, я дам вам пять марок, потому что вы тоже исповедуете мозаизм.

— Вот мы и спелись! Я так кладу заплаты, что люди видят за сто верст, и они кричат от восторга. А что касается родителей, то для такого коммерческого советника одного молельщика мало — надо двоих. Ведь я могу биться о заклад, что их было двое — ваших родителей, а не один. Я, например, выберу вашу безусловную маму. Одним словом, мы пойдем друг друга. Главное, что вы частный мозаист, а остальное ерунда, это детский костюмчик...

Важен почин: Лазик прожил в местечке десять дней, перелицовывая, латая, украчивая. Он прямо заходил во двор:

— Ах, вы тоже исповедуете?.. Что же вам такое укоротить?

Наконец, все брюки были укорочены и заплатаны. Лазик кое-как добрался до Кенигсберга. Увидев памятник Канту, он загрузил:

— Гомельское счастье! Что мне делать с ним? Не укорачивать же. А найди я его тогда в клубе «Харчсмака»! Как бы обрадовался товарищ Серебряков, если б я сразу изъял такую каменную осетрину. Впрочем, о чем теперь говорить? Я должен либо закусить какой-нибудь крошкой хлеба, либо немедленно умереть.

Он остановился у витрины колбасной и захлебываясь слюной, прошептал:

— Какая красота! Какая кисть!
Но хозяин прогнал его:

— Не занимайте места! Здесь покупательницы привязывают такс.

Он хотел перейти на другую сторону улицы, но полицейский строго прикрикнул на него:

— Вас мог раздавить автомобиль. Сегодня здесь нет автомобиля, но вчера вечером проехало два. Вы не имеете права рисковать вашей жизнью.

Он присел на скамейку парка, но тотчас же вырос из под земли неутомимый сторож:

— Это только для кормилиц и для слепых или полуслепых солдат.

Тогда Лазик уныло вздохнул:

— Я, кажется, схожу с ума.

— По средам и пятницам с девяти сорок пять до десяти тридцать бесплатные консультации в городской лечебнице.

Он разыскал в толпе носатого господина:

— Остановитесь с вашим мозаизмом! Я тоже, и я еще ничего не ел!

Носатый оттолкнул Лазика:

— Синагога помещается на Викториаштрассе семнадцать, а торговля кошерным мясом на Шиллерштрассе одиннадцать; нищенствовать запрещено постановлением полиции-президиума от шестого июня тысяча восемьсот восемьдесят девятого года.

Лазик крикнул:

— Я хочу сейчас же лечь в готовую могилу!...

Тогда из толпы вынырнул какой-то субъект и, протянув ему карточку, быстро проговорил:

— Продажа кладбищенских участков всех исповеданий с серьезной рассрочкой.

Наконец, Лазик свалился без чувств на мостовую. Над ним наклонился высокий мужчина с мутными опаловыми глазами и коротко остриженными усиками:

— Эй, вы, упавший... В чем дело?... Вы задерживаете движение. Вы акробат или у вас эпилепсия?

Не получив ответа, он пихнул ногой Лазика. Тогда раздался слабый писк:

— При чем тут акробаты? У меня только сильный аппетит, после певучей речи. Будь у меня деньги на серьезную рассрочку, я сейчас же лег бы в загробный участок.

Высокий мужчина внимательно оглядел Лазика.

— Лежать на тротуаръ запрещено. Вот вам десять пфенигов. Зайдите в ту булочную и купите хлебец. Вы съедите его потом на темной улице. Я жду вас у остановки трамвая. Здесь стоять нельзя — это задерживает движение. Живее!..

Последнее было излишним — несмотря на слабость, Лазик рысью помчался в булочную.

— Где же хлеб? В кармане?

— Увы, нет! В кармане только дырка. А хлеб по содеству — уже внутри.

— Беспорядок. Десять пфенигов — мои. Вы обязаны меня слушаться. У меня — серьезные планы. Я могу обеспечить ваше будущее. Что вы умеете делать?

— Все, что хотите. Я кладу, например, такие заплатки, что их нельзя ни с чемъ спутать. Когда я в Гомеле залатал брюки Соловейчика, все узнавали его только по моей работе. Он еще шел по базарной площади, а уже возле вокзала кричали: «Идет заплатка Ройтшванца»..

— Лишено смысла. Должны быть незаметны. В Кенигсберге шесть фирм. Больше вы ничего не умеете делать?

— То есть как это «ничего»? Я же сказал вам, что я все умею, я умею даже размножать мертвых кроликов.

— Лишено вдвойне. Кроликов здесь не едят. Свиному и телятину. Из дичи, например, заяц или коза.

Булочка была крохотной, Лазик завопил:

— Остановитесь, как будто вы задерживаете движение! Если вы размножаете зайцев, я тоже могу, только дайте мне вперед какой-нибудь хвостик или крылышко козы.

— Ошибка. Не размножаю. У меня лучший аптекарский магазин города Кенигсберга и всей восточной

Пруссии. Поставщик бывшего его высочества. Подберите при имени живот! Я обслуживаю достойные семьи. Меня вы можете называть просто «господин доктор Дрекенкопф». С размножением здесь вам нечего делать. Размножаем только немцев. Будущих солдат бывшего его высочества. Демократы и прочие изменники по два на чету. Национально мыслящие по шесть или по восемь. Бывает двенадцать — медаль. Я, увы, воздерживаюсь. Как патриот — хочу, как владелец аптекарского магазина — связан духовными обязанностями. Я ведь должен живым примером рекламировать мой товар. Итакъ, вы ничего не умеете делать. Кто же вы такой?

— Я — ученый секретарь.

— Ученый? Химия? Газы? Анилин? Инженер? Дороги? Мосты? Архитектор? Железобетон? Клозеты?

— Нет, я ученый с другой стороны. Я, видите ли, не много спец на счет могучего языка.

— Филолог? Наверное, санскрит? Лишено тройне. Знаете малайский? Ацтекский? Зулусский? Тогда поезжайте в Гамбург. Предстоит торговля. Еще пять лет — у нас будут колонии..

— Не думайте, господин доктор Дрекенкопф, что в этой булочной мне дали, скажем, свиной окорок. Это был хлебец не больше ваших наследственных часиков. Я даже не успел его хорошенько обнюхать. А после такой голодной предпосылки, вы говорите «ацтек». Это же полное истязание! Ну, откуда я могу знать какой-то малайский язык, когда я сам из Гомеля? Языки? Я знаю кучу языков! Я знаю, например, как евреи говорят в Гомеле, как они говорят в Глухове и как они говорят в самой Москве. Это, правда, не санскрит, но это три могучих наречья в одном союзе. Потом я знаю польский язык. «Пане Дрекенкопф, вы таки бардзое быдло». Это ведь не язык, это сплошная певучесть! Я знаю, наконец, немецкий язык, и если я сейчас говорю не так, как вы, или как он или как господин Гинденбург, то только потому, что я с детства был неслышанным оригиналом. Но

разве это не замечательно звучит: «господин доктор, ир зонд а замечательный хожем»? Кажется, сам господин Гинденбург не сказал бы лучше.

Господин Дрекенкопф молчал. Его лицо выражало душевную борьбу: опаловые глаза отливали радугой, а усики судорожно подпрыгивали. После долгой паузы он заговорил:

— Раздвоение личности. Интересно для чистого разума. Не кольд-крем, но психоанализ. Развивая коммерцию, я тоже служу отечеству. Его высочество поняло бы. Оно ведь покупало свечи в задний проход и рень. Подберите, кстати, живот! Вы — еврей. Следовательно, вас надо прогнать. Сообщить в полицей-президиум. Настаивать на высылке. Вы предали бело-красно-черный ради желто-красно-черного. Это неслыханно! Это потоп! Это покушение на нашу расу! Вы, наверное, родственник Вирта, Вильсона, Гейне. Кузен. Отобрать у васдесять пфенигов. Дать лучшее рвотное из моего магазина. Дело нескольких минут. Стоп! Куда вы бежите? Я еще ничего не даю вам. Я только размышляю вслух. Как Кант. Как его высочество. Подберите!... Это одна половина. Другая: у меня имеется план. Вы — находка. Во всем Кенигсберге нет такого выродка. Вы весите, наверное, сорок килограммов. Не больше. Дегенеративный рост. Метр тридцать. Не больше. Можете сойти за восьмилетнего ребенка. Преждевременная старость. Вы же уникам! Я колеблюсь. Моя душа рвется на две части.

Лазик трусил рядом и дрожал: какой же он страшный, этот доктор! Если он даже даст заячий хвостик, этим еще не все сказано, когда он только что хотел взять назад несчастную булку. Откуда я знаю Вирта? И если у него рвется душа — пусть, только чтоб он меня не рвал!...

— Решено. Я прощаю вам ваше проклятое происхождение. Я беру вас. Двадцать марок в неделю. Деньги вкладываю еженедельно в банк на ваше имя. Контракт на один месяц. По истечении этого срока банк выдает вам всю сумму. Питаться вы будете у меня. Предупре-

ждуя — строгая диета. В день один сухарь, два стакана молока. Необходимо предотвратить увеличение в весе. Вы должны сохранить в глазах томность. Изредка па-
дать без чувств. Зато через месяц вы получите восемь-
десять марок. Вы сможете съесть хоть сотню свиных кот-
лет. С капустой или с картошкой. Или даже с яйцом. В
сухарях.... Вкусно? Согласны?

Тогда Лазик проговорил, нет, он прорычал:

— Но ведь это в сухарях через месяц!..

— Если мы подпишем контракт, я разрешу вам на
сегодня отступление от диеты. Вы получите кусок кол-
басы и яблочное пюре.

— Хорошо. Я уже подписываю. Зачем моей душе
вперед рваться на части? Я ведь все равно хотел лечь в
рассрочку. Конечно, с одним сухариком я обязательно
лягу, но пока что я съем кусок колбасы, и это нечто из
яблок. Скажите мне только, господин доктор Дрекен-
копф, от какой болезни вы хотите меня лечить и что
это у вас за сострадательные привычки?

— Лечить? Не собираюсь. Я — доктор философии.
Я развиваю коммерцию. Германия первая страна в Ев-
ропе. Но она отстала от Америки. Мы должны совершен-
ствоваться. Развитие воли и разума. Основной двига-
тель торговли — реклама. К сожалению, не применяется
в аптекарских магазинах. Кант написал о чистом ра-
зуме. Его высочество огласило письмо к инвалидам. Я
скажу: пузырь для льда, клистирная кружка, даже
скромный горчичник ничуть не хуже мельхиоровых
подносов или самопишущих перьев. Это вещи в себе.
Их можно возвысить до абсолюта. Необходима только
реклама. Весной я рекламировал клизмы. Я выставил
грудю камней: пища. Точная таблица: мясо — столько-
то, хлеб — столько-то. Мы глотаем камни. Люди ленят-
ся, боги ленятся, ленятся кишки. Да здравствует промы-
вание! Электрические лампочки освещали весь путь от
глотки до прохода. По стеклянным трубочкам струилась
вода. Все, что задерживает движение, должно быть уст-
ранено. Громкоговоритель ревел: «я промываю, ты про

мываешь, его высочество промывает». Ну, живо, подберите!... Теперь я хочу рекламировать рыбий жир. Вы ребенок, которому давали подделки. Вилли — употреблял только исландский жир моей марки. Кроме того, в виду больших затрат, я присоединяю рекламу некоторых изделий. Деликатно, чтобы не смутить почтенных матерей. Герметическая упаковка. Первый в Восточной Пруссии. Опережил Америку. Мы, немцы, не останавливаемся на полпути. Разум так разум. Багдад так Багдад. Америка так Америка. Главное — осветить духом. Вода бежит по трубочкам. В герметической никогда не рвутся. Звезды на небе радуют. Жир из лучшей трески...

Лазик не слушал господина доктора. Зачем его слушать, когда это, наверное, полный санскрит? Вот, что он понимает под «кусочком колбасы»? Ломтик или четверть фунта?..

Немец провел Лазика в столовую. Там находились белобрысая, рыхлая женщина лет сорока, с печальным взглядом мертвой трески и чрезвычайно упитанный детина в коротких штанишках и в детской матроске. Господин Дрекенкопф обратился к супруге:

— Это мой новый пациент. На строгой диете. Один сухарь, четверть литра молока. Иногда — падать без чувств. Сегодня — отступление. Ты дашь ему кусочек колбасы и яблочное пюре. Два сухаря. Спать не больше шести часов. Понятно? Теперь гербовую бумагу. Мы подпишем контракт.

Рука Лазика дрожала. Еле-еле он вывел «Ройтшванец» и рядом поставил маленький крест, объяснив недоумевающему доктору:

— Коротенький символ, хоть я и исповедую мозаизм, ведь скоро я лягу в рассрочку.

Прежде чем проглотить крохотный ломтик колбасы, Лазик старательно его обнюхал. Госпожа Дрекенкопф обиделась:

— У нас все продукты свежие.

Господин Дрекенкопф прибавил:

— Самые свежие в Восточной Пруссии.

Но Лазик виновато пояснил:

— Я нюхаю его только на память, чтобы не забыть как это может раздирающе пахнуть, когда я буду есть один самый свежий сухарь.

Настоящее испытание началось, однако, когда служанка принесла ужин толстому детине. Хозяин пояснил Лазику:

— Это — Вилли. Редкая находка. Двадцать семь лет. Лицо ребенка. Вес девяносто два килограмма. Рост один метр восемьдесят один. Видите — цвет лица? Треска из Исландии. Четыре марки девяносто пять литр.

Вилли подали большущий хлеб, солонину с картошкой, манные клецки с жареным салом, свиные котлеты с фасолью и, наконец, рисовый пуддинг. Он пил пиво кружку за кружкой и тяжело дышал. Потом он даже стал хрипеть. Он попробовал было оставить на тарелке одну клецку, прикрыв ее ложкой, но господин Дрекенкопф сурово сказал:

— Вилли!...

— Я больше не могу. Я лопну. Вам же будет хуже: я разобью стекло.

— Вилли!...

Тогда Лазик попробовал вмешаться:

— Господин доктор, может быть, я съем эту клецку? Я ведь, наверное, не лопну.

Но хозяин не удостоил его ответом. Он только взглянул, так взглянул, что Лазик тотчас же опустил глаза.

На следующее утро возле аптекарского магазина гоподина Дрекенкопфа толпились прохожие. В витрине сидели два мальчика. Один, розовый и огромный, блаженно улыбался. На его груди значилось: «Меня поили настоящим рыбьим жиром из печени исландской трески. Продается только здесь 4.95 литр». Другой мальчик уныло вздыхал. Зеваки дивились:

— Можно подумать, что ему сорок лет.

— Откуда они такого уroda выкопали?...

— Может быть, это карлик?...

— Какой же карлик! Поглядите, он со слюнявкой. И написано «мне одиннадцать лет». Это просто отсталый ребенок.

Кроме справки о возрасте, надпись гласила: «Меня поили поддельным рыбьим жиром. У меня рахит, малокровие, белокровие, паралич, истерия и семнадцать других болезней. Предохраните ваших детей от моей ужасной судьбы! Если вы вовсе не хотите иметь детей, вроде меня, приобретите «Нимальс», абсолютная гарантия. 1.90 пакет».

Господин Дрекенкопф сквозь щелку наблюдал за поведением экспонатов. Время от времени он шептал:

— Вилли, улыбайтесь! Пошлите воздушный поцелуй даме! Поднимите гирю! Пойте от счастья!

— Еврей, стоните! Бейте себя в грудь! Рвите волосы! Постарайтесь упасть без чувств!

Мальчики тихонько беседовали. Оказывается краснощекий Вилли не так то был счастлив.

— Это мясник мучает меня уже третью неделю. Я не могу столько жрать. Я лопну, видит бог — я лопну. Он запретил мне ходить. Хуже того, я живу, как монах. Ему хорошо — он сумасшедший, это все знают. Он может жить с ночными туфлями. А у меня все внутри чешется. Еще — улыбаться даме! Я вот разобью стекло и как прыгну на нее...

Но Лазику трудно было понять своего товарища:

— Зачем вам прыгать, когда вам через час дадут снова десять клецок? А мне — пол сухаря. Эти болваны, может быть, думают, что я в Гомеле пил какие-то дурацкие подделки? Я сейчас расскажу вам, что я ел на свадьбе у Дравкина. Я сшил Дравкину позапрошлый сюртук, и он так растрогался, что сразу сказал мне: «Ройтшванец, приходи на мою роскошную свадьбу!» И я пришел. И я ел. Я ел, например, рубленую печенку с яйцами. Это раз. Я ел гусиные шейки с гречневой кашей. Это два. Я ел шкварки, и я ел кнедлах, и я ел студень. Это, уже, кажется, пять. Но зачем глупый счет? Я ел сто блюд. Какая курица! Но я же идиот, я забыл о фарши-

рованной рыбе! Она была с красным хреном, потом — «кугель» с изюмом, «цимес» с черносливом и редька с имбиром. Но зачем забегать вперед? Можно еще поговорить о тех же шейках. Они были так хорошо поджарены, что корочка хрустела на весь Гомель, а фарш сделали с луком и с грибами...

Здесь раздался зловещий шопот господина Дрекенкопфа.

— Еврей, сейчас же перестаньте улыбаться! Какая наглость! Думайте о чем-нибудь высоком! Например: вы — в рассеянии.

— Хорошо, господин доктор. Я уже думаю: «несчастный Ройтшванец, ты в рассеянии. О шейках не может быть речи, а через час тебе дадут половину незаметного сухаря. Вы видите — я вздыхаю. Я плачу. Я опускаюсь в вашу Исландию. Я, кажется, снова падаю без всяких чувств...

В последующем виноват сам господин Дрекенкопф. Нельзя даже в Кенигсберге жить только звездами и чистым разумом. Будучи, как известно, патриотом, он произвел сына и дочь, но на этом остановился, заявив озадаченной супруге:

— Здесь начинается аптекарский магазин.

Госпожа Дрекенкопф осталась с вареным картофелем и с ненужной негой в тусклых очах. Господину доктору было не до нее. Он двигал вперед коммерцию. Он размышлял об абсолюте. По воскресеньям совместно с единомышленниками исполнял он на тромбоне патриотические марши. Он исправлял на школьной карте границы Германии. Он чистил мелом каску. Он пил пиво. Он душил во сне колониальных наложниц. Словом, у него было не мало государственных дел. Кроме того, он знал и невинные развлечения. Раз в неделю он двоился. Почтенный господин доктор оставался на вывеске аптекарского магазина, и в сознании всех уважаемых клиентов. Тело же уходило на Кайзерштрассе в дом номер шесть. Там жесткие усики экстатически топорщились. Вилли не соврал: господин доктор Дрекенкопф любил исключительно обувь. В доме номер шесть на Кайзерштрассе, он кусал по вечерам старую туфлю, восклицая:

— Я грызу тебя, вечная Гретхен!.. Ура!

Все это, конечно, было в порядке вещей и никого не касалось, кроме разве госпожи Дрекенкопф. От картофеля она с каждым годом тучнела, но где-то под жи-

рами билось ретивое сердце. Узнав о тайной страсти супруга, она попробовала надеть на голову вместо ночного чепца туфлю. Но не так - то легко было провести господина доктора!...

Госпожа Дрекенкопф отнюдь не отличалась легкомыслием. Как-то Вилли, доведенный до отчаяния хорошенькими покупательницами, толпившимися у витрины, попробовал было прикоснуться к многолетним жирам! Но госпожа Дрекенкопф строго осадила его:

— Вилли, без глупостей! Кончайте ваши клецки. Я вижу, что вы там спрятали три штуки. Я расскажу господину доктору.

Вилли раздражал госпожу Дрекенкопф. Он сопел, как боров, а госпожа Дрекенкопф мечтала о бледном юноше с пылкими очами.

Однажды вечером она осталась с Лазиком. Господин Дрекенкопф жевал на Кайзерштрассе туфли, а Вилли спал, покорно переваривая грудку клецок. Лазик взглянул на нее, и она обомлела. Какой огонь! Какая страсть! Очарованная, она пролепетала:

— Вы похожи на Лоэнгрину... Когда так хотят, можно ли отказать?...

Обнадеженный Лазик упал на колени и зарыдал:

— Один раз! Только один раз! Он не узнает. Мы назовем это выдуманным сном. Дайте же мне две или три клецки!

Жиры госпожи Дрекенкопф мощно бились о дверцы буфета, как бьются волны океана о скалы. Она дала Лазику не три, а четыре клецки. Пусть гибнет добродетель, и даже рыбий жир из лучшей в Восточной Пруссии трески!.. Она вытащила из вышитого бисером футляра ночной чепчик.

— Потеряйся в моей любви!..

Лазик вспомнил: еще в хедере его учили, что хлеб надо добывать в поте лица, тем паче это относится к таким первосортным клецкам.

Четверть часа спустя, он решил заговорить:

— Вы видите — я потерялся, и я уже нашелся. Я

весь в поте моего лица, и я умоляю вас дайте мне скорее, например, свиную котлету с бобами! Я слышал, как они неслыханно пахли, когда их лопал этот толстый дурак.

Лазик быстро проглотил большую котлету.

— Еще! вздохнул он, думая о рисовом пуддинге.

— Еще! вздохнула госпожа Дрекенкофф, думая со всем о другом.

Однако, они поняли друг друга. Вилли угрюмо храпел. Где-то на Кайзерштрассе господин доктор топтал в избытке чувств послушную туфлю, а счастливые любовники нежно воржовали.

— Ты такой маленький, что я боюсь — ты можешь потеряться, как булавка...

— Не бойся, я не потеряюсь. Меня сразу все замечают. Стоило мне переступить через порог великой Польши, как меня сразу все заметили. Но я хочу спросить тебя о другом. Господин доктор говорил мне о какой-то козлиной дичи. Может быть, завтра ты приготовишь мне эту нежную шейку с капустой?..

Дня три спустя господин Дрекенкофф заметил перемену. Щеки Лазика покрылись легким румянцем. Он перестал стонать. Он даже нагло насвистывал Левкину песенку: «Хотите вы бананы» и, улыбаясь, сам себе отвечал: «Еще бы, хочу с капустой». Словом, он вел себя так, как будто он пил всю жизнь прославленный рыбий жир по 4.95 за литр.

— Еврей, вы сошли с ума! Почему вы улыбаетесь? Как вы смете нахально розоветь?

— Это, вероятно, от вашей промывательной диеты, господин доктор Дрекенкофф. Я ведь питаюсь замечательным воздухом, лучшим в Восточной Пруссии. Почему я розовею? Это перед смертью. Так ведь розовеет небо на закате в Гомеле или даже в вашей Исландии. Потом вы на меня надели детскую курточку и обрезали меня ровно на двадцать один год, а мой прогрессивный организм, наверное, пошел вперед, и мне теперь уже не одиннадцать лет, а всего - на - всего одиннадцать меся-

цев. Я нежно розовый, как дитя в колыбельке, и я пою, и я свищу, хотя у вас гербовая бумажка, потому что я или солнце накануне самой смерти, или новорожденный факт.

Ко всему Вилли заболел несварением желудка. Он сидел в витрине, мрачно подсапывая; и прохожие говорили:

— Кажется, тот маленький здоровей. Рост — это пустяки. А вы поглядите на его щечки... Вот вам и рыбий жир...

Господин Дрекенкопф хватался за голову:

— Гибнет гениальный план. Его высочество потеряло все. Восточная Пруссия теряет лучшую аптекарскую фирму.

Унынье настолько охватило его, что направившись вечером на Кайзерштрассе, он вдруг повернул домой:

— Мне теперь не до страсти. В крайнем случае, погрызу туфлю жены.

Увидев возле ночного чепца супруги наивные штанишки одиннадцатилетнего мальчика, господин доктор отчаянно завопил:

— Где вы?

Лазик плохо соображал в чем дело — он успел съесть две гусиных печенки и большой картофельный пирог. Он запищал:

— Я здесь! Вы не бойтесь — я не булавка, и я не потеряюсь.

Пока разъяренный господин Дрекенкопф тряс его за шиворот, он спокойно бормотал:

— Почему вы так волнуетесь? Я вовсе не собираюсь на ней жениться. Достаточно с меня московского опыта. Я у вас не отберу вашу жилплощадь. И размножать немцев я тоже не хочу. Ваш магазин ведь первый в Восточной Пруссии, и вы можете на этот счет совсем успокоиться. Перестаньте меня трясти — вы же не посполитый ротмистр! У вас чистый разум, так подумайте две минуты. Я же ничего не сделал плохого, когда я исповедую мозаизм, и там прямо сказано, что необходим пот сво-

его лица. Неужели вы думали, что я могу жить одним моментальным сухариком?

Господин Дрекенкопф в бешенстве рычал:

— Посмотрим, разбойник!... Я тебя в тюрьму посажу! Я сейчас же отведу тебя в полицей-президиум! Вор! Большевик! Тебе покажут там, что значит касаться суруги господина доктора Дрекенкопфа.

Воспользовавшись тем, что господин Дрекенкопф забыл прикрыть дверь, Лазик выбежал на улицу. Он добежал до первого перекрестка и осторожно, не нарушая правил о переходе улиц пешеходами, приблизился к полицейскому:

— Скажите мне, господин доктор полицейской философии, как вы думаете, если я сейчас пойду в тюрьму, меня посадят или нет? Ведь я таки ее коснулся, и она лучшая в Восточной Пруссии.

Полицейский добросовестно задумался.

— Этого я не знаю. Наверное, с вас потребуют три фотографические карточки и свидетельство о прививке оспы.

Тогда Лазик тягостно вздохнул:

— Ну, что же, в таком случае мне остается только одно. Вы видите, господин полицейский доктор, я уже лежу без чувств, и я затрудняю великое движение, так что скорее ведите меня туда и без всяких фотографических прививок!

Счастье улыбнулось Лазику. Он не только добрался до Берлина, он нашел там нового покровителя. Выручил его, опять-таки рост. Судьба как бы хотела загладить обиды, нанесенные низкорослому влюбленному и Феничкой Гершанович и товарищем Нюсей. Лазик, пожалуй, мог бы попасть в сердечную оранжерею какой-нибудь новой госпожи Дрекенкопф, вроде карликового кактуса, тем паче, что в тот год мода была на крохотные зонтики и на коротконогих собачек из породы скотч-терьеров, но новые горизонты открылись перед ним. Его подобрал свободный художник Альфред Кюмель, режиссер крупной кинофабрики.

— Какая находка! Сразу чувствуется, что вы русский и что вы большевик. Вы вели за собой орды. Эта таинственность взгляда... Скрип телег среди степей... Монгольский профиль. Мановение руки атамана. Фотогеничность ресниц. Вы получите пять тысяч марок. Вы будете играть главную роль в моей новой картине: «Песня пулеметов и губ».

Лазик оробел:

— Господин художественный доктор, хотя пять тысяч марок это столько, что это наверное даже не бывает, как, например, орхидеи, но я все-таки еще не тороплюсь прыгнуть вам на шею моими манованиями монгольского атамана. Во-первых, вы говорите, что я большевик, хотя я с вами совсем не знаком, чтобы доходить до таких семейных подробностей. Правда, в Гомеле

Левка всегда кричал «я закоренелый Большевик», чтоб его пропустили на музыкальные гулянья, но ведь вы, кажется, не из Гомеля, а, наоборот, и чтоб человека постоянно колотили — на это не пойдет даже пропавший Ройтшванец. Значит, оставим такие слова до какой-нибудь интимной конференции. Играть я, конечно, могу, я уже играл в одной официальной трагедии роль герцога с грызущими зубами и с классовым гнетом. Но вот название вашей картины мне совсем не нравится. Против губ я не возражаю. Это случается со всяким, и если даже Феня Гершанович вздумает клеветать, то я могу взять настоящий аттестат зрелости у госпожи Дрекенкопф. Но вы ведь хотите припутать к вашей песенке пулеметы. Так подобных мотивов я вообще не люблю, как законченный враг нахального империализма. Восемь раз меня пробовали призывать и восемь раз я выходил из комиссии в своих собственных брюках. Я болел сердцем, и печенкой, и пупком, и чем только я не болел. Я не успевал кроить для этих докторских художников бесплатные френчи. Один раз мне даже вырезали за галифе из моего материала кусочек совсем здоровой кишки, только чтоб я не побежал умирать ради случайного гетмана. Скажите сами — стоило ли мне лечь под животрепещущий нож, чтобы потом приехать в Берлин и умереть от вашего пулеметного сочинения?..

Очарованный режиссер бормотал:

— Какой восточный огонь! Крохотный человечек, живой дух в немоющем теле зажигает океан, он ведет за собой толпы матросов и кочевников... Нет, дорогой мой, я вас не отпущу! Эй, шоффер! Прямо на фабрику.

Альфред Кюммель показал Лазику огромные мастерские:

— Видите — все готово для съемок. Я искал только вас. Вы будете играть роль «духа степей Саши Цемальонкова». Мы затратили колоссальные суммы. Здесь — пулеметы. Куда вы? Нет, нет, я вас не пущу! Вот ваша партнерша — «душа Лорелеи». Знаменитая актриса. Познакомьтесь. Завтра сюда придут казаки. Вы опять убе-

гаете? Швейцар, верните его! Съемка тридцать восьмой сцены: вы целуете «душу Лорелен» среди бешеной джигитовки четырех эскадронов. Вы понимаете — это не просто картина, это мировой боевик. Поглядите вот в том углу Красная Площадь. Умилитесь — вы снова в родной Москве.

Лазик не часто бывал на Красной Площади, побаваясь, как бы стоявший возле мавзолея часовой не выстрелил — он всегда избегал проходить мимо постов — «что ему стоит случайно зацепить какой-нибудь крючек, и тогда пуля очутится у меня в животе», но все же он видел Красную Площадь. Он деликатно заметил:

— По-моему, это скорее похоже на полное наоборот, и если положить возле того купола ночной чепчик, получится аптекарский магазин, как две капли воды.

Режиссер дружески улыбнулся:

— Я вас понимаю. Вы хотите сказать, что не хватает воздуха, атмосферы? Но вы увидите, как изменится эта декорация, когда вы будете здесь носиться на бешеном арабском скакуне.

— До свиданья, господин свободный доктор! Спокойной ночи! Я уже несусь куда-нибудь подальше. Достаньте себе араба, чтоб он скакал на этом бешенстве, но я еще дорожу своей предпоследней жизнью.

— Постойте! Я же сказал вам, что я вас не отпущу. Вы хотите, чтобы мы вас застраховали? Хорошо, мы пойдем и на это. Во сколько вы себя оцениваете?

— При чем тут страховка? Что я несгораемый дом, чтобы сам себя поджечь? Может быть, я стою всего десять пфеннигов и то это вопрос, по тому что мне не на что больше класть заплаты. Но если я умру и мне выдадут сто тысяч, то это же загробное надувательство! Как будто я смогу приятно-плакать над своим шикарным памятникком?

— Вы не умрете. Вы не подвергнетесь никакой опасности. Страховку я предложил только в виду вашей нервности. Конечно, при съемках необходимо несколько несчастных случаев. Мы перегнали Америку, мы не

останавливаемся ни перед чем. Это самая смелая реклама. Но мы, удовлетворимся двумя-тремя фигурантами. Вас мы будем оберегать, как избалованную «звезду». Итак, завтра с утра мы приступаем к работе. Сейчас я ознакомлю вас с содержанием картины.

Степь. Кричат вороны. Проходят облака. Народ угнетен. Можах Распутин беспечно танцует фокс-трот с придворной фрейлиной. У кочевников отбирают землю. Они вздыхают вокруг костров и кочуют. Грандиозный кадр! Матросы тоже вздыхают. Да, я забыл вам сказать, что показывается эскадра. Матросы бунтуют. Они хотят чистую воду, хрустальную воду, а им дают поддельный квас. Один матрос умирает на борту из-за боли за свой народ. Тогда выбегают кочевники и скрипят. Фрейлина бьет рабов шпорами. Облака собираются в тучи. Быстрый монтаж. Туча, шпора, слеза кочевника. Гроза. Из кургана выползаете вы, то-есть «дух степей». Крохотный и могучий. Вы берете икону и подымаете матросов. Все обвязывают себя пулеметными лентами. Дворец горит. Это самая дорогая сцена. Девятьсот фигурантов. Конец первой части. Вторая. Течет Рейн. Виноградники. Замки. Дочь лесничего — душа Лорелеи. Она кормит замерзающих зябликов и разучивает песни с бедными детьми. Ее никто не понимает. Рейн течет. Она чувствует призвание. Она на горе, Ее белое платье отделяется от тумана. Двойная съемка. Она бредет на восток. Вы носитесь по площади. Вы носитесь по России. Вы носитесь по Европе. Вы носитесь по всему свету. Не перебивайте меня! Тучи закрывают все небо. Матросы стали кочевниками. В кабаре «Альказар» дамы беспечно танцуют фокс-трот. Ноги дам. Кочевники плывут. Матросы джигитуют. Европа накануне гибели. Тогда ваша встреча с «душой Лорелеи». Она проет вам песню зяблика. Вы целуетесь. Первый план. Все целуются. Кочевники украшают телеги венками. Восход солнца. Матросы купаются в Рейне. Лесничий, благословив вас, умирает. Он оставляет вам все. Вы открываете сигарный магазин. Вы — с трубкой. «Душа Лорелеи» над колы-

белью. Кочевники уходят назад в степи. Матросы подают букет из анютиных глазок Гинденбургу. Анютины глазки первым планом. Колыбель. Младенец мужественно улыбается. Надпись: «будущий солдат Германии». Ну, разве это не здорово придумано? Любовь. Мистика. Революция. Отечество. Для экспорта только отрезать последние сто метров. Успех в Америке, в России, в Австралии, в Китае. Ваше имя — «Ройтшванец» обойдет весь мир. Что же вы теперь молчите? Признайтесь, вы потрясены сценарием.

— Вполне потрясен. Это вроде романа Альфонса Кюроза. Вы даже можете взять кое-что оттуда. Например, зачем себя обвязывать непременно пулеметными лентами? Это же не так красиво, и это может выстрелить. По-моему, лучше чтобы каждый взял в мощную руку теннисную ракету. Тогда получится настоящее очертание. Но вам, конечно, виднее. Я вот только хочу попросить вас об одном. Если я уже должен носиться круглые сутки по всему свету, нельзя обойтись здесь без арабской лошади? Пусть эти матросы скачут, на чем им нравится, разь они подчиняются военной службе, а я себе буду носиться пешком.

Но Альфред Кюммель был неумолим, и на следующее утро он подвел трепещущего Лазика к лошади:

— Садитесь!

Для поддержания доблестных чувств гремел военный оркестр. Кругом гарцевали лихие казаки. На Лазика надели боярский кафтан, а поверх него пулеметную ленту. Он жмурился от нестерпимо яркого света и жалобно скулил.

Альфред Кюммель поднес к его уху огромный рупор, и в ярости крикнул:

— Не теряйте времени! Садитесь живее! Каждая минута промедления стоит нам сто марок.

— Дорогой господин художник!.. Я уже отказываюсь от моих пяти тысяч.

— Садитесь!

— Как же я могу сесть, когда самое большое, на что

я садился — это черная скамья подсудимых? Потом, если в Гомеле и стреляли пулеметы, так я же мог спрятаться в задний переход. Но я не могу спрятаться сам от себя, когда вы нацепили на меня эту плевую ленточку. Вдруг она возьмет и выстрелит?

— Довольно болтовни! Вы — «Дух степей». Вы носитесь. Выражение удали и беспечности. Поняли? Ну, садитесь. Не бойтесь. Это дрессированная лошадь. Это старая кобыла. Это почти осел. Сели? Теперь — удаль. Эй, полный свет! Карл, припугните клячу! Операторы! «Дух степей», удаль!

Лазик только успел крикнуть:

— Прощайте, Пфейфер!.. Тпру!.. Тпру!.. Лошаль, опомнитесь!..

Напрасно грохотал рупор: «сидите прямо! улыбайтесь!» Лазик ничего не слышал. Сначала он еще держался за гриву, но первый же толчок отбросил его назад. Тогда он вцепился в круп лошади. Он визжал от страха. Когда показалась «душа Лорелеи», которой он должен был послать воздушный поцелуй, он уже висел, как доскуток на конском хвосте. Лошадь досадливо повела задом. Лазик очутился на земле. Он разбил нос. Вытерев боярским кафтаном кровь, горделиво подошел он к режиссеру:

— Что?... Я таки носился, как настоящий дух.

Господин Кюммель не прибег к помощи рупора. Он так гаркнул «пошел вон», что Лазик на этот раз действительно понесся, путаясь в полах длинного кафтана. Но у самой двери он остановился:

— Вы уже успокоились после этой погони? Так теперь послушайте меня. Я же не хотел носиться. Я вам все время говорил, что я не «дух степей», а только несчастный портной из Гомеля. Вы сами меня посадили на этот кровавый эшафот. Вот вам ваш ненормальный скруток, и эти нарочные пули, а мне вы дайте немного разменной монеты, потому что, хоть я и не подписал гербового несчастья, но вы же говорили вчера о страховке

разных домов. Так во сколько вы застраховали мой кровавый нос? Я хочу за него хотя бы десять марок, потому что я проголодался, как настоящая амазонка.

— Эй, Карл! Покажите ему выход...

Что же, бедняга Ройтшванец снова понесся по двору, по улицам, по Берлину, по белому свету.

В течение нескольких дней Лазик раздавал на улицах проспекты венерологического кабинета, пока одна почтенная дама, которой он для верности всунул в рукав целую пачку, не избила его зонтиком. Потом в клинике знаменитого ветеринара доктора Келлера, он занимал должность кошачьей сиделки. Он должен был поддерживать кошек пока их освещали фиолетовыми лучами. Кошки явно не верили в медицину, они бились и пребольно царапались. Лазику пришлось покинуть и это место, после того как один сиамский кот раскровянил все его лицо — доктор Келлер боялся, что вид забинтованного Лазика может отпугнуть впечатлительных клиенток. Тогда Лазик попал в бродячий цирк: его взяли дублировать заболевшую бронхитом обезьяну «Джигго». Он должен был в шкуре и в маске лазить по трапециям. Он лазил. Он должен был грызть орехи. Он грыз. Но когда ему приказали во время спектакля скакать через барьер, он не выдержал.

— Во-первых, об этом самоубийстве вы мне не говорили, а во-вторых, если я уже должен обязательно обливаться кровью, то отстегните мне, пожалуйста, хвост, потому что с хвостом люди, кажется, не прыгают.

Так и не удалось Лазику найти тихое пристанище. Тщетно старался он соблазнить прохожих своими знаменитыми заплатами. Он предлагал шить все: френчи, боярские сюртуки, даже стальные каски. Всячески пробовал он растрогать сердца берлинцев, он напоминал

им, что исповедует «мозаизм», что в него была влюблена «душа Лорелен», что, наконец, он не отвечает за какой-то пристегнутый хвост. На него раздраженно прикрикивали, пока сердобольный полицейский не отвел его в арестный дом. Он был привлечен по статьям, карающим нищенство, шантаж и оскорбление нравов.

В тюрьме Лазик быстро освоился; повесив над изголовьем портрет португальского бича, он начал хвастаться:

— Это уже одиннадцатая, и я могу написать роскошный путеводитель. Конечно, воздуху здесь больше, чем, например, в Ломже, но в Киеве был удивительный борщ.

Рядом с Лазиком спал некто Коц, которого посадили за кражу колбасы. По ночам он тихо жаловался:

— Я искал шесть дней работу. Потом я не выдержал. Это было на базаре. Она лежала в сторонке, и я ее сразу проглотил.

Лазик нежно хлопал огромного Коца по плечу:

— Ну, не горюйте! Вас, наверное, отпустят. Я вас хорошо понимаю. Они должны были запретить выставлять колбасу: это слишком удивительно пахнет. Помоему, такого запаха никто не может выдержать, даже сам господин Гинденбург, хоть они ему собирались нести букет из каких-то анютиных глазок. Знаете что, товарищ Коц, на земле нет справедливости! Если бы вы взяли анютины глазки, вас бы еще могли судить. Зачем отбирать у других такое подношение? Но ведь кусочек колбасы нужен всякому человеку. Тогда при чем тут болванский суд? О работе вы мне тоже не говорите. Вы ничего не нашли? Так это еще счастье. Вы — в тюрьме, и я — в тюрьме, но у вас, по крайней мере, неприкосновенный нос. Я носился на бешеной арабке, и я прыгал через свой хвост, я должен был приставать на улицах к разным докторшам, и я должен был держать настоящих сиамских тигров. Это называется «пот своего лица», и потом люди приходят в синагогу или даже в церковь, и там они кланяются богу за подобные дела. Я вообще

передовой отряд, и я знаю, что наверху никому ненужные газы. Но если допустить, что наверху сидит выдуманный бог, то он же полный обманщик, и мы должны с ним поменяться местами. Он должен лечь здесь под сто уголовных статей, а мы с вами должны отдыхать на небе. Вы думаете, что я не знаю все эти проделки? Я их знаю, как пяць пальцев. И если начать сначала, то прежде всего — непонятный шум. Хорошо, нельзя было кушать яблоко. У бога тоже бывают фантазии. Но скажите мне, почему такой исторический крик вокруг одного маленького фрукта? Это же вроде колбасы. Но я несусь дальше. Он судит, и он присуждает. «В поте лица твоего ты будешь зарабатывать хлеб». Допустим. Это глупо, — почему я обязан потеть, если мне хочется порхать, как он, среди синего цвета? Но это ясно. И что же получается? Я потею так, что меня больше нет, разве я — человек, я — выжатое место, а вместо хлеба меня только беспрестанно колотят. Может быть, после этого вы скажете, что наверху не пустые газы?

Коц испуганно перекрестился:

— Мы хоть с вами и товарищи по несчастью, но я честный человек. Я попал сюда случайно. У меня не было работы. Она лежала в сторонке... Вы еврей, вы можете не верить в вашего бога, но я из Вюрцбурга. Я добрый католик. Я верю в милосердие господа нашего Иисуса-Христа.

— Слушайте, товарищ Коц, я сейчас расскажу вам одну замечательную историю. Ведь я уже вижу, что хотя вы размером царь-пушка, у вас нет никакой надстройки. Вы, вероятно, не так уже часто беседуете с умными людьми, и вам полезно послушать этот глубокий предрассудок.

У нас в Гомеле жил один сумасшедший старик. Он чинил старые матрацы, но редко кто приходил к нему, все говорили: «это плохой еврей, он, наверное, путается с чертом, виданое ли это дело, чтобы в субботу ходить с зонтиком, а вместо молитв рассказывать мальчикам постыдные факты»? Словом, этот старик был боль-

шим оригиналом. От него я узнал уйму историй: о про-
скуровском хасиде, который заблудился, о табакерке ца-
ря Соломона и еще много других. Вот он то и рассказал
мне это удивительное приключение с вашим милосерд-
ным богом. И хоть вы из Вюрцбурга, а я всего на всего
из Гомеля, но, может быть, на этой позиции мы с вами
сойдемся.

Мы сейчас далеко от Гомеля, но мы еще не в Риме,
а Рим тоже город, и туда тоже можно попасть, и самое
смешное, что там живут евреи, совсем как в Гомеле.
Приключение это было в Риме, и не теперь, а давно, до
войны, и даже, наверное, до позапрошлой войны. Впро-
чем, когда говорят о предрассудках, нечего залезать в
календарь. В Риме жил римский папа. Это, кажется, ваш
главный комиссар, и вы можете сейчас еще один раз пе-
рекреститься. Этот папа жил совсем, как Валентин в ро-
мане Альфонса Кюроза. Смешно даже говорить о колбасе:
с самого утра ему подавали разные бананы. Он ел в
один день столько вкусных финтифлюшек, сколько мы
с вами не съедим за всю нашу жизнь. А пил он больше,
чем все паны ротмистры. Можете себе представить, как-
кой у него был дворец: я даже думать об этом боюсь,
потому что, наверное, там стояли возле каждой табу-
ретки часовые с пулеметами. Он сидел во дворце и слу-
шал красивые мотивы. Вы, пожалуйста, на меня не оби-
жайтесь, но он любил функции с разными поездками в
лазурный Крым, ничуть не хуже товарища Серебрякова.
Я знаю, что папе полагается по уставу смотреть на хо-
рошенькую девушку, как на богослужбное бревно. Что
же, может быть, другие папы и обходятся без предпо-
сылки, хоть Вилли в аптекарском магазине, тот хотел
даже разбить драгоценное стекло. Если вы скажете мне,
что сын того папы или, например, его недозволенный
отец были вовсе не людьми, но только глубоким
вздохом, я вам охотно поверю. А вот тот папа не зевал
по сторонам. Он выбирал себе, понятно, отъявленных
красавиц, потому что каждой женщине лестно проснуть-
ся утром, а рядом — сам римский папа — это же не

Ройтшванец и не Коц. У папы было много свободного времени, когда он не ел бананы и не совал разным дуракам свою старую туфлю, чтоб они ее целовали, а красавиц в Риме было тоже много, так что во дворце звучал один постоянный поцелуй.

В Риме была масленица. Какой это, между прочим, вкусный праздник! У нас в Гомеле телеграфист Захаров угостил меня на масленицу такими блинами, что я чуть было не уверовал во весь его опиум со сметаной. Но, конечно, в каждой стране люди празднуют праздники по своему. В Риме они прямо таки сходили с ума. Они бесплатно надевали на себя обезьяньи шкуры и пристегивали хвосты. Они гуляли с утра до ночи в бандитских масках. Посмотреть кругом — это даже не город, а всеобщая оперетка. Один говорил, что он слон, и нахально ворочал хоботом, другой уверял, что он настоящий герцог, который грызет свою герцогиню, и все прыгали, и все играли на трубах, и все танцевали танцы римских меньшинств. О женщинах я даже не стану вам говорить. Кто вас знает, что у вас внутри за механика: может быть, вы, как толстяк Вилли подбираетесь про себя к стеклу? Я только скажу вам, что у женщин были полные витрины. Каких только бананов они не выставляли наружу! Поставим здесь тысячу точек...

Они прыгали, они пели, они целовались, но главный номер был еще впереди. Я уже сказал вам, что в Риме жили евреи. Это, конечно, бесстыдство: евреи смеют жить в одном городе с самим папой. Но что поделаешь? Например, муравьи — куда только они не залезают? На что уж строги паны ротмистры, и те напрасно волнуются. Раздавишь одного, сейчас же выскочит другой с автономным носом. Папа покричал, погрозил своей туфлей, а потом ему надоело: пусть живут. Нельзя же посадить в тюрьму какой-нибудь перелетный насморк! Но так как папа любил масленицу, он придумал замечательный фокус: пусть евреи поставляют одного скакуна для всеобщего хохота. Пусть этот несчастный скакун obeжит на масленицу три раза вокруг всего горо-

да и пусть он бегает раздетый догола, а папа со своими слонами и дамами будут сидеть на золотых табуретках и заливаться неслыханным смехом.

Как люди говорят: одному масленица, а другому голое скакание. Евреи собрались на постную конференцию: кто же будет этой истерзанной лошадьё? Евреи бывают разные: у одних даже на животе караты, а у других бесплатные слезы. Я вот лежу на одиннадцатой колючке, а какой - нибудь Ротшильд, наверное, сейчас лопаёт целую козу. В Риме тоже были и купцы первой гильдии и кладбищенские нищие, которые за кусок хлеба плачут ведерными слезами, над всякой предписанной могилой. Кто же побежит вокруг города? Конечно, не раввин — он же ученый, без него все станут глупыми, конечно, не римский Ротшильд — без него некому будет кормить нищих раз в год кухонными помоями.

Каждый еврей выкладывал один золотой, чтобы только не бегать, и бедняки тоже давали, потому что стоит продать субботние подсвечники или сюртук или даже подушку, лишь бы не умереть в голом виде перед сумасшедшими слонами. Но нашелся один несчастный портной, у которого не было ни сюртука, ни подсвечника, ни пуховой подушки, ни шелкового талеса. У него была только жена, шесть детей и подходящее горе, а все это нельзя выменять на один золотой. Его звали, скажем, Лейзером. Я думаю, что он был дедушкой моего дедушки, потому что вот от такой прискорбной тени и пошел наш род замечательных Ройтшванцев.

Настал час объявленных скачек. Папа перекрестился, опрокинул еще одну четверть вина и взлез на свою табуретку, а вокруг него расселись разные священники, и красавицы с витринами, и просто раскрашенные нахалы. Это были богомольные люди и сам папа с ними — значит, они повсюду расставили портреты вашего милосердного бога. Он был сделан из золота, из серебра, из бриллиантов на круглый миллион рублей, чтобы все знали, какие они щедрые и какой у них роскошный бог. Сидит папа, весь в бархате, а над ним ог-

ромный крест, прямо из ювелирного магазина и на кресте Христос, не то, чтобы поззолоченный или дутый, нет, из массивного золота совсем невиданной пробы. Очень хорошо! Но где же, между прочим, человеческий скакун? Папе уже не терпится, и он звонит в звоночек: «приведите сюда эту лошадь, кажется, пора начинать».

Тогда привели Лейзера, а за ним пришла жена и все шестеро детей, и все они отчаянно кричали. Ведь даже маленькому ребенку ясно, что нельзя обежать вокруг Рима три раза без передышки, а стоит остановиться, как конюхи папы начнут тебя хлестать кнутами. Значит, это все равно, что идти прямо на смерть. Лейзер стал снимать сто раз заплатанные брюки. У папы от смеха даже живот заболел, а другие бандиты теряли кто хобот, кто хвост: нельзя так сильно смеяться. Спектакль был довольно веселый, потому что такой несчастный в штатах уже анекдот, а если он без штанов, то это верное до упаду.

Папа смеялся, но не Лейзер. Лейзер обнимал свою жену и детей:

— Хорошо, я побегу и я умру, но кто вас завтра накормит? Может быть, раввин? Да, он будет кушать большого гуся, но вам он не даст даже косточек. Он вас угостит только ученым словом. Может быть, римский Ротшильд? Да, он скажет: «я еврей, и вы евреи, и благословит вас бог, но я не могу сейчас с вами разговаривать, потому что я скушал столько гусей, кур и уток, что доктор будет мне ставить банки. Я — настоящий страдалец, а вы счастливики, и вот вам на прощанье мой кукиш». Так скажет вам Ротшильд. И никто вас не накормит, потому что у бедных нет ничего, кроме голого сердца, а у богатых есть все, но у них нет сердца, и значит вы тоже умрете. Я умру сегодня от этой беготни, а вы умрете через неделю или через месяц и тож от беготни, вы будете бегать по городу и просить крошку хлеба и вы умрете.

Жена его, конечно, кричала. Она кричала, как зарезанная на весь Рим:

— Ой, как же ты будешь бегать, Лейзер? Ты же не можешь бегать. Скажи им, что ты несчастный портной, а не лошадь. Ты же умрешь, честное слово, ты умрешь! И на кого ты меня оставляешь? И на кого ты оставляешь этих готовых сирот?

Папа ткнул себе в ухо вату, он даже глазом не повел. А первый конюх уже щелкал кнутом: «начинай свое беганье».

— Прощай, моя жена! Прощайте, мои дети! Прощай, моя жизнь!

Лейзер сел на камень, обнял свои голые колени и еще раз вздохнул, так вздохнул, что ветер прошел по всему Риму: это он прощался с жизнью. А потом он, понятно, встал и побежал рысью, как старая кляча.

День был жаркий, как будто это не масленица, а полное лето, потому что в Риме ненормальный календарь, и там можно всегда гулять в парусиновой толстовке. А бежать, конечно, куда жарче, чем сидеть. С Лейзера сразу покатился лошадиный пот. Он спотыкался, стонал и тряс бородой, а конюхи подстегивали его кнутами. Рим не Гомель. Рим это скорее вроде Берлина; чтоб его обежать кругом, надо, может быть, два часа. Повсюду стояли конюхи. Они глядели, чтобы человеческая лошадь не отдыхала. А кроме конюхов, стояли просто люди: кому же не интересно поглядеть на такие двуногие скачки? Стояли обезьяны, и тигры, и герцоги, и дамы, и все они бесплатно хохотали:

— Беги, старая кляча!...

И всем Лейзер кротко отвечал:

— Я уже бегу.

Так обежал он один раз вокруг Рима. Он уже еле подымал ноги, и все чаще хлестали его конюхи готовыми кнутами, так что по всему его телу текла кровь. Но ведь надо было обежать еще два раза, и он знал, что он не обежит. Когда он снова увидел несчастную жену, и шестерых детей, и золотую табуретку с римским папой, он потерял надежду, он остановился. А папа римский кричал:

— Беги же, старая кляча, не то тебя всего исхлещут мои готовые конюхи!

Разозлился тогда Лейзер:

— За что я, спрашивается, страдаю? За то, чтобы Ротшильд кушал утку? За то, чтобы этот римский папа обнимал своих нахальных красавиц? За то, чтобы его бриллиантовый бог сверкал своей золотой пробой?..

Но сто конюхов подбежали к нему с кнутами, и, взглянув на своих будущих сирот, Лейзер побежал дальше. Только отбежал он сто или двести шагов, как понял, что дальше бежать не может. Он упал на землю и стал ждать смерть. Тогда то случился с ним голый предрассудок.

Вдруг он видит, что бежит по дороге голый еврей, и что это не он, Лейзер, а другой еврей. Откуда такие фокусы? Ведь все евреи откупились от беготни. Он разглядывает этого второго еврея и еще сильнее удивляется: «он же похож на меня, тоже кожа и кости, и пот градом, и весь в крови, и так трясется борода, что сразу видно: крышка. Но глаза у него, кажется, не мои и нос не того покроя. Значит, это не я, а другой еврей. Но кто же это может быть»... Лейзер знал всех евреев Рима. Это не старьевщик Элиа и не сапожник Натан. Это, наверное, чужой еврей. И Лейзер его спрашивает:

— Откуда вы взялись? У вас знакомое лицо, как будто я вас уже видел, но я вас не мог видеть, я никогда не выезжал из Рима. Может быть, я уже умер, и мне это снится? Как вас зовут? И потом почему вы бегаєте, если я должен бегать?

Тогда второй еврей говорит Лейзеру:

— Зовут меня Иегошуа, и вы меня не можете знать, потому, что я уже давно умер, а вы еще живы. Но вам кажется, что вы меня знаете — вы наверное видели мои портреты. Они меня называют самыми смешными словами, но я сейчас скажу вам, кто я — я бедный еврей. Вы, правда, портной, а я был плотником, но мы пойдем друг друга. Я хотел, чтобы на земле была полная правда.

Какой бедняк не хочет этого? Я же видел, что раввин говорит умные слова и что Ротшильд кушает утку и что нет на земле ни справедливости, ни любви, ни самого простого счастья. И я был с бедными против богатых. Я видел, что у одних людей пулеметы, а у других только голая грудь, и что железной пуле ничего не стоит проткнуть сердце, и я был со слабыми против сильных. Я любил, Лейзер, когда солнце греет, и смеются дети, и всем хорошо, все пьют вино, все друг другу улыбаются, горят субботние свечи, а на столе румяный хлеб. Но какой нищий не любит этого? Сначала меня, конечно, убили, а теперь они не дают мне спокойно лежать в земле. Они грабят бедняков и называют мое несчастное имя, чтоб я ворочался в гробу. Они сажают какогонибудь беззащитного человека в глубокую тюрьму и они поют ему песни о моем столетнем горе, а потом они отрывают ему голову, чтоб я снова подпрыгнул в могиле. Они выгоняют глупых людей, чтобы одни люди убивали других, и они несут на флагах мои скорбные портреты, и я в ужасе приподымаюсь. Как только не смеются они над моим мертвым прахом? Они делают мои портреты из золота и из бриллиантов, и они выставляют их повсюду. Они ставят их перед голодными детьми и перед самой виселицей. А я ведь так любил румяный хлеб на столе бедняка! Пожалейте меня, портной Лейзер! Вы умрете, и вас закопают, и вас оставят в покое, а я должен бегать по всему миру, как в лихорадке. Я лежу в земле, и вдруг я вижу этого римского папу. Он хохочет с раскрашенными бандитами, он придумывает вашу веселую смерть, и что же — над ним висит мой золотой портрет и я вижу это сквозь могильную землю. Тогда я прибегаю сюда, и вот вы должны умереть, потому что я мечтал о полном счастье. Горе мне! Горе! Они говорят, что я «всемогущий». Вы видели бедного еврея, который бы мог все? Да если бы я мог даже половину всего, разве я не крикнул бы им: «довольно»? Разве Ротшильд кушал бы тогда всех уток, разве папа сидел бы на золотой табуретке и разве вы скакали бы вокруг Рима? Я

могу только не находить себе покоя. Я могу только день и ночь бегать кровавой тенью, как бегали сегодня вы.

Тогда Лейзер приподнялся и обнял второго еврея:

— Мне жаль вас, плотник Иегошуа, я, ведь, теперь знаю, что такое бегать. Но я вам скажу одно: сегодня вы можете отдохнуть, сегодня вы можете спокойно лежать в своей могиле. Зачем же бегать вдвоем? Сегодня я бегая за себя и за вас.

Но мертвый еврей ответил Лейзеру:

— Нет, вы еще можете жить, у вас шестеро детей — это не шутка. Мы их кажется перехитрим. На нос они не будут глядеть, а издали мы похожи друг на друга. Так вы лежите себе в этой глубокой яме, а я пока что два раза обегу вокруг Рима. Вы со мной не спорьте: ведь мне все равно придется бегать, если не здесь, так в другом городе, потому что они наверное сейчас кого нибудь убивают и говорят мое имя, чтоб я не мог спокойно лежать.

Сказав это, он побежал вокруг города, и его хлестали конюхи, и смеялись над ним все бесстыдные слоны. А когда он добежал до папы, то папа уже лежал на пуховых подушках от неприличного хохота и папа кричал:

— Эй, старая кляча, шевели твоими копытами! Я тебе покажу, что значит римский папа! Это же полный представитель милосердного Христа, и получай скорее сто ударов кнутом, чтоб ты знал вперед, как это распинать нашего бога!

Вот вам и все приключение, дорогой товарищ Коц. Вы можете, конечно, снова перекреститься, раз у вас здоровая рука, а в голове отсутствие. Подумайте только — вы лежите рядом с Ройтшванцем! Может быть это Ройтшванец распял вашего всемогущего бога?..

Коц разозлился:

— Ваша история — вздор. И я вам не советую повторять такие глупости. Вас, чего доброго, могут привлечь за богохульство.

— Нашли чем пугать! Не все ли мне равно, привле-

кают меня по трем статьям или по четырем? Это пустая статистика. А вот приключения с Лейзером вы вообще не поняли. Руками это нельзя понять. Я уже сказал вам, что у вас наверное в голове дырка. Как будто я не видел, что пока я рассказывал, вы все время крестились! Я теперь спрошу вас, хоть вы и дыра из десяти пудов, кому же вы кланяетесь в вашем Вюрцбурге? Если бедному еврею, так он вовсе этого не хочет, а если всемогущему богу, так почему же вы здесь из за кусочка колбасы? . . . Знаете, Коц, мы ссоримся и мы помиримся. Мы сейчас с вами хорошие люди, потому что мы два бедняка в позорной тюрьме. Но ведь завтра вы можете стать римским папой, а я могу стать еще одним Ротшильдом. Тогда мы моментально забудем все горячие слезы и станем просто напросто текущими свиньями. Пока бедный плотник мечтал о правде, он был таким высоким, как нарочный бог, но вот его объявили богом в золотой раме и что же, он стал обыкновенной мебелью. Ротшильд мог в два счета распать какого то нищего, который говорил, что он любит не богатых, а бедных. Это вполне понятно, и Ройтшванец здесь не причем. Кажется, каждый день распинают сто Ройтшванцев и никто против этого не возражает. А детский смех? А румяный хлеб на столе бедняка? Но это же смешные фантазии. Молчи, глупый Ройтшванец! Нечего философствовать! Самое большое, что от тебя требуется — это скакать без штанов.

Отсидев положенное время в тюрьме, Лазик вновь начал странствовать. В Магдебурге он продавал газеты, в Штудгарте мыл оконные стекла, а добравшись до Майнца, попал в колбасный магазин Отто Вормса. Там мирно отпускал он товар, пока не был уличен в наглой краже. Как то, увидев на прилавке еще теплый окорок, он схватил нож, отрезал большой кусище и проглотил его столь быстро, что хозяин не успел даже опомниться. Лазику пришлось спешно оставить Майнц, так как колбасник поклялся, что он проучит негодяя.

Во Франкфурт Лазик приехал с тремя марками. Первым делом, он решил побриться, дабы застраховать себя от философических мыслей. Каково же было его изумление, когда молодой парикмахер спросил:

— Простите, господин доктор, как вас побрить, — обыкновенно или согласно моисееву закону?

Лазик только развел руками.

— Согласно моисееву закону, кажется, вообще нельзя бриться, так что эта религия не для вашей кисточки. Но, если я прихожу к вам, значит, я плюю на эти смехотворные параграфы. Может быть, вы боитесь, что я вам не заплачу? Глядите, вот самые настоящие марки.

— Вы напрасно обижаетесь, господин доктор. У нас, во Франкфурте, можно бриться, не нарушая закона Моисея. Ведь евреям запрещено только соскрести с себя волосы лезвием, а мы бреем почтенных клиентов без преступной бритвы. Вот, поглядите, — это патентован-

ное средство. В пять минут я могу уничтожить все волосы, не раздражая ни кожи, ни религиозных чувств. Это изобретение доктора Клемке, и он заработал на нем...

Но Лазик больше не слушал. Пользуясь тем, что парикмахер еще не успел его побрить, он сосредоточенно думал. Наконец, он сказал:

— Меня вы все таки побрейте без фокусов; только наточите ка бритву, потому что у меня кожа гораздо чувствительней религиозных чувств. Но вот вам марка на чай и скажите мне адрес какогонибудь почтенного доктора, которого вы бреете этой вонючей находкой.

— Кого же вам рекомендовать? Может быть, господин Шенкензон? Это самый уважаемый коммерсант. Только он уже давно не брился. Он, кажется, болен...

— Болен? Это мне как раз нравится. Ну, вы кончили уже меня скрестя вашей тупицей? Так дайте мне скорее адрес господина Шенкензона.

Надо признаться, что сердце Лазика взволнованно забилося, когда он оглядел роскошный особняк, в котором жил господин Шенкензон. Он позвонил. Дверь открыла горничная:

— Ну, что, господин Шенкензон все еще лежит? Он еще не умер? Хорошо. Так я пойду прямо к нему. Нельзя? Как это нельзя? Я же не нахал с улицы. Впрочем, о чем мне с вами разговаривать? Позовите сюда его жену, или мать, или дочь, или хотя бы какуюнибудь тетю.

В переднюю вышла заплаканная женщина.

— Вы, наверное, госпожа Шенкензон? Ну как, слава богу, муж? Я хочу скорее пройти к нему. Кто я такой? Я гомельский цадик, и я приехал во Франкфурт, и я узнал, что еврей болен, и я пришел, конечно, навестить еврея. Я же знаю, что ваш муж хороший еврей, который соблюдает все законы.

Госпожа Шенкензон колебалась. Но Лазик настаивал:

— Когда я был у знаменитого реб Йоше... Вы же знаете двинского цадика? Так вот мы с ним пошли к одному больному. Он лежал, как ваш муж и наверняка уми-

рал. Но реб Иоше увидел, что у него внутри приросла одна кость к другой и он приказал костям повиноваться божьему порядку и все кости расселись по своим местам, так что больной сразу попросил себе целую курицу. Это же очень просто. У человека 248 суставов и 365 костей, а всего в нем 613 штук, ровно столько, сколько добрых дел. Вы смотрите на меня как я такой молодой уже все знаю? Но я не такой молодой, мне уже за пятьдесят, господь мне дает два года за один. Он же не только умеет наказывать, он умеет и награждать. Я вас уверяю, что ваш муж завтра или послезавтра вскочит, как попрыгунчик.

Госпожа Шенкензон залилась слезами:

— Все доктора говорят, что больше не на что надеяться. . . Я заказала в синагогах, чтобы они читали псалмы на буквы «Вульф». . . Его ведь зовут Вульфом. Но он все слабеет и слабеет.

Лазик важно сказал:

— Вы женщина, и вам бог простит эти глупые разговоры. Доктора видят только кожу. Внутри они не видят. Вот я сейчас погляжу на него и я скажу вам все.

Женщина провела Лазика в комнату больного. Среди пышной мебели, золоченых люстр, картин, ковров, на огромной резной кровати лежал крохотный старичек. Он уже был без сознания. Лазик спросил:

— А сколько ему точных лет?

— Восемьдесят четыре.

— Я так и понял сразу. Ну что же, я вижу все, и я говорю вам: у больного недостает внутри одного сустава. Он наверное забыл сделать одно доброе дело. Он, конечно, молился, и соблюдал иом-кипур, и жертвовал на синагогу. Но я думаю, что он еще не накормил никогда ни одного бедного цадика хорошим обедом. А так как он сейчас не может сбегать на кухню, так вы займитесь этим и поскорей, вместо напрасных слез. Тогда завтра или после завтра он будет попрыгунчик.

В соседней комнате, куда провели Лазика, находились все родственники больного. Одни из них громко

плакали, другие тихонько обсуждали котировку гамбургских пароходных акций, которые скупал господин Шенкензон. Сестра больного, узнав, что Лазик духовный раввин, не то из Галиции, не то из Литвы, обрадовалась:

— Во Франкфурте ведь так трудно найти настоящего раввина, который знает все правила! А когда человек болен, пора подумать о боге.

— Правила я знаю, как свои пальцы. Мне было тринадцать лет, когда десять самых замечательных раввинов мне уже выдали «смихе» и я стал полноправным раввином. А потом десять лет я был у знаменитого цадика в Виннице. Как меня зовут? Рэби Лезер.

— Скажите нам, рэби Лезер, как вы думаете, может быть переменить больному имя? Здешний раввин сказал, что это может помочь. Если уже в книге судеб написано, что Вульф должен умереть, то ведь это относится только к Вульфу.

— Здешний раввин знает кое что. Он слышал, может быть, одним ухом. Но я сейчас все устрою на месте. Мы таки перехитрим этого летающего ангела. Он «Вульф»? Кончено. Он уже «Мендель». И если там написано, что завтра должен умереть Вульф, то ваш дорогой Мендель будет завтра кушать курицу, потому что этот летун будет искать Вульфа. Вы видите, как это просто? Здешний раввин прозевал бы два часа и он бы еще взял с вас уйму марок. Я здесь останусь, и, если ему ночью не станет лучше, я его сделаю из «Менделя» «Хаимом», и все это по маленькому тарифу.

Выспавшись, Лазик весело спросил:

— Ну, как поживает наш дорогой Мендель?

— Он умер.

— Умер? Я так и думал, что он умрет. Я только не хотел огорчать вас за пол-часа до факта. Плакать человек всегда успеет. Но я сразу увидел, что в Майнце одна еврейка не могла родить, потому что у бога нет свободной души под рукой. Я тогда понял: бог уже тя-

нется за душой вашего, скажем, Менделя. Ну, что же поделаешь! Будем его хоронить.

Здесь то Лазик было где разгуляться. Ведь еврея надо похоронить по всем правилам, чтоб он мог легко встать, когда прогремит труба Мессии. Этот рэби Лезер знал порядки!

— Как быть с землей? — плакала вдова. — Ведь ему, кажется, нужно положить под голову палестинскую землю, тогда его не тронут черви.

Лазик успокоил ее:

— Через пол-часа я принесу вам палестинскую землю. Это земля высший сорт. Она прямо с гроба Рахили и ее мне подарил ровенский цадик. Я ее берег для себя. Но теперь я еду в Палестину, чтоб умереть там. Когда прогремит труба, я буду уже на месте, без новой беготни. Так что я вам уступлю эту землю. А о цене мы поговорим после восьми печальных дней. Я, кажется, цадик, а не разбойник.

Лазик вышел на улицу. Дойдя до парка, он быстро набрал в платок горсть земли и расчувствовался:

— Где умрет Ройтшванец? На какую помойку выкинут его постыдный труп? . .

Родственники хотели положить вокруг усопшего венки, но набожная сестра запротестовала:

— Это запрещено. Неправда ли, рэби Лезер? Это может ему повредить.

— Конечно, венки запрещены. Но ведь нужно класть солому. Что такое солома? Увядшие цветы. А когда цветок сорван, он уже завял, так что я, строжайший цадик, разрешаю вам класть столько венков, сколько вам только захочется.

Один из сыновей покойного, человек крайне расчетливый, волновался:

— А как быть с костюмом? Они говорят, что его нужно разодрать на куски от печали.

— Совсем понятно: вы наденете мой костюм, хоть он вам будет чуточку мал, но при такой печали не до франтовства, и вы его раздерете — он ведь уже разор-

ван, — скажем, на других похоронах. А свой вы дадите мне, и это будет в счет необходимых «кадишей».

Все дети и внуки покойного возмутились, когда им предложили есть крутые яйца. Лазик и здесь нашелся.

— Достаточно с вас и так несчастий! Крутые яйца съем я, а вы будете кушать куриный бульон, потому что глуховский цадик уже разъяснил, что из яйца выходит курица, а из курицы выходит бульон.

Мудрость и находчивость реби Лезера потрясали всех франкфуртских евреев, которые приходили к Шенкензонам, чтобы выказать свое соболезнование. Председатель еврейской общины, господин Мойзер, известный биржевик и филантроп, узнав о замене крутых яиц гигиеническим бульоном, восторженно воскликнул:

— Вот, что значит человек, который день и ночь изучает Тору! В его руках суровый закон становится легким, как верблюжий пух. Скажите, реби Лезер, если ваше присутствие всегда приносило евреям такую радость, почему же они не удержали вас на вашей родине?

— Я, кажется, сказал, что еду умирать в Палестину. Если вы будете задавать мне такие вопросы, я уеду завтра. Между прочим, я умею приносить полное наоборот. В Гомеле тоже был один еврей, который приставал ко мне с нахальными вопросами. Он вдруг начинал устраивать анкеты: «интересно знать, откуда вы приехали, и что у вас в кармане, и где ваш диплом»? Так что же с ним стало? Я в синагоге вышел благославлять народ. Я ведь благородный потомок. Мы, Ройтшванецы — «Каганиты», и я поднял руку, как самый главный «Каганит». Тогда, конечно, все закрыли глаза, потому что нельзя глядеть на «Каганита», который благословляет народ. Но тот нахал решил продолжать анкету. Он поглядел на меня. Может быть он хотел проверить, хорошо ли я держу пальцы? Смешно! Я ведь знаю мои пальцы наизусть, как Талмуд. И что же стало, с этим, скажем, любопытным евреем? Он через десять секунд ослеп.

Разказ Лазика произвел на всех сильное впечатление. Правда, господин Мойзер морали его не уловил, так

как, услышав, что гомельский цадик «Каганит», он стал думать об одном: как бы удержать его во Франкфурте? Он начал издалека:

— Вы еще молоды, и господь вам подарит все девяносто лет, если не все сто двадцать, так что я не понимаю, зачем вам спешить в Палестину? Отдохните перед далекой дорогой. Вы найдете здесь почет и спокойствие. Вы будете молиться в нашей синагоге. У нас право же замечательная синагога. Я пожертвовал на нее хорошенские деньги и вы увидите, какие там двери, и какие семисвечники, и какой свиток. Увы, только одного недостает ей — у нас нет «Каганита». Но ведь, если вы будете с нами молиться, вы не откажетесь благословить нас. Верьте мне, почтенный реби Лезер, здесь не будет таких безбожников, как на вашей родине. У нас никто не захочет бесплатно ослепнуть. А с другой стороны, чтобы доехать до святой земли мало одной веры. Там египетские фунты, и я знаю котировку. . . Я вас прошу: примите наше предложение.

Лазик, для приличия, с минуту помолчал, ответил:

— Я вас ужасно жалею, и как хороший еврей я уже не еду в Палестину. Теперь начинайте меня обеспечивать.

На следующий день в комнату Лазика, приниженно кланяясь, вошел некто Шварцберг.

— Я хочу просить вас, достоуважаемый реби, чтобы вы взяли покровительство над моим кошерным рестораном. Тогда я смогу написать на меню «под наблюдением господина раввина», а без этого ко мне не идет ни один порядочный еврей. Я уже слышал от господина Мойзера, что вы умеете примирить суровый закон с требованиями нашего времени. Я не предлагаю вам никакого денежного вознаграждения, нет, вы будете, между нами говоря, совладельцем, и я предоставляю вам двадцать процентов чистой прибыли.

Лазик охотно согласился. Он только добавил:

— И каждый день три полных обеда.

Осмелев, после столь легкой удачи, Шварцберг сразу приступил к делу:

— Вы же знаете, ребя, что мы соблюдаем себя в чистоте, но мы немножко портим мясо. По закону его нужно держать один час в соли. Легко себе представить, какой это получается обезвкусенный ростбиф или даже антрекот. А кого клиенты ругают? Не Моисея, но ресторатора. Тот же господин Мойзер, он хочет, чтобы все было по правилам, и он хочет кушать сочный ростбиф. Вот я и осмеливаюсь спросить вас, нельзя ли солить это мясо не один час, а только полчаса? Тогда у меня будут бифштексы гораздо вкуснее, чем у Розена, и я сразу забью всех конкурентов.

— Что такое часы? Когда человек голоден, а перед ним антрекот, каждая минута является часом. Так сказал мудрый цадик из Балты. Но перед обедом ведь все голодны, и я разрешаю вам в точном согласии с законом солить мясо ровно одну минуту. Только не солите его десять минут, а то вы мне дадите на обед вместо бифштекса, какойнибудь вавилонский плач.

Шварцберг ласково подмигнул Лазикю. На следующее утро он снова пришел за разъяснениями.

— Я вам скажу прямо, многопочтенный ребя, что клиенты не любят ни кокосового масла, ни сала. Я убежден, что этот безбожник Розен жарит шнитцель на сливочном масле. Я вас спрашиваю, что же мне делать, богобоязненному Шварцбергу?

— В законе сказано: «не ешь телянка в молоке своей матери». Масло делается из молока. А откуда вы знаете, какая корова мать этого телянка или даже совершеннолетнего вола? Значит, нельзя жарить мясо на масле.

Шварцберг сокрушенно вздохнул.

— Но, обождите, вздыхать еще рано! Вы же можете подавать свинину. Я, например, очень люблю свиные котлеты, а свинья не может быть дочкой коровы, и жарьте на здоровье свиные котлеты в коровьем масле с хрустящей картошкой. Это по закону, и вы увидите, что

когда господин Мойзер скушает свиную котлету, он взревет от полного восторга: «какая у вас сочная телятина»!

— Но ведь по закону свинину вообще...

Лазик прервал его:

— Если, по закону, у свиньи слишком мало пальцев на ноге, чтоб ее кушать, то вы их не считали. Зачем вам заниматься свиными пальцами? И потом, когда вы говорите с ученым раввином, вы можете не философствовать. Точка.

Тогда Шварцберг, не выдержав, всплакнул от умиления:

— Бог, таки наградил меня за то, что я дал тому ищему сорок пфеннигов!.. Вы же не наблюдательный раввин, но одно сплошное благословение.

Неделю спустя, Лазик вновь удостоился лестных похвал. Был канун поста «Иом-Кипура», и господин Мойзер грустно вздыхал: как же он будет целые сутки голодать? Он пошел за советом к реби Лезеру.

— У меня, ведь, подагра. И потом я не привык... Я могу умереть. Но по закону я не могу просить вас, чтобы вы меня освободили от поста. Тогда в книгу судеб мне впишут какое нибудь несчастье и все мои акции сразу упадут. Так уже случилось с Вайсманом.

Лазик важно сказал:

— Сейчас мы это устроим. Нужны, конечно, три раввина, но такой цадик, как я, легко сойду за троих. Наденьте ваш благородный цилиндр и вздыхайте. Я приказываю вам завтра кушать все. Отвечайте мне: «я не хочу нарушить «Иом-Кипур» Вот так... И вздыхайте. И я вам еще раз приказываю именем бога и по всему строжайшему закону завтра кушать. Потому что пост грозит вашему слабому сердцу безусловным концом. Вот и все. Теперь вы можете улыбаться. Завтра вы будете кушать курицу, и в книге судеб запишут, чтобы ваши акции поднялись на последний этаж.

Господин Мойзер очарованный спросил:

— А нельзя ли устроить то же самое моему брату? У

него нет подагры. Но чтонибудь у него есть. У него например полип в носу. Он тоже может умереть от истощения.

— В два счета. . .

Лазик освободил от поста не только брата господина Мойзера, но еще свыше тридцати франкфуртских евреев. Он ходил из дома в дом и за скромное вознаграждение примирял еврейские желудки с еврейской совестью. После этого авторитет реби Лезера окончательно укрепился. Лазик благословлял в синагоге молящихся. Он не помнил толком, как это делается, но евреи честно закрывали глаза, и он мог хоть танцевать фокс-трот. Он давал советы о семейной жизни. Он ел в ресторане Шварцберга сочные котлеты. Словом, он жил припеваючи.

Как то сытно пообедав шел он вместе с господином Мойзером по одной из узеньких улиц старого Франкфурта. Господин Мойзер расспрашивал Лазика, нет ли в законе какогонибудь разногласия касательно зонтиков.

— Я не понимаю, как это нельзя носить в субботу зонтика? Ведь дождь бывает и в субботу. Я иду в синагогу и я мокну. Говорили ли вы об этом, например, с двинским цадиком?

— Еще бы, и мы с ним нашли замечательный выход. Когда идет дождь, начинается опасность. Дождь ничуть не лучше пулеметной пули, потому что от дождя можно простудиться и умереть. По закону можно, если на вас нападают, защищаться, тогда можно взять в субботу даже палку, а дождь на вас нападает и вы защищаетесь. В поучениях реби. . .

Лазик не договорил: его схватил за руку какой-то огромный человек:

— Наконец то я на тебя напал, мерзавец! Нахапал здесь и разоделся! Я тебе покажу, как окорок красть! . .

Господин Мойзер попробовал вступить за Лазика:

— Вы ошиблись. Это уважаемое всеми лицо. Это наш раввин.

Увы, Лазик не сомневался: перед ним стоял Отто Вормс. Ну, да, от Майнца до Франкфурта рукой подать!.. Но он настолько вошел в свою новую роль, что начал кричать на разъяренного колбасника:

— Вы слышите, что я — раввин? Я не только раввин, я — «каганит». Вы знаете, что такое «каганит»? Это самый благородный потомок. Я не имею даже права ходить на кладбище, чтобы не огорчаться, а вы ко мне лезете с вашим нечистым окороком. . .

Отто Вормс саркастически расхохотался:

— Ах, теперь он стал нечистым? А когда ты его жрал у меня на глазах, он что же был чистеньким? . . Скотина! Простите, господин, я вас не знаю, но вы порядочный человек. Как же вы с этим негодяем знаете? Я его из жалости подобрал, а он меня разорить хотел. Я уж давно заметил, что он налегает тихонько на ливерную колбасу. Но у меня кроткое сердце, я молчал. Вот когда он прямо передо мной отхватил кусок ветчины, здесь я не выдержал. Тогда он улизнул, но теперь я уж отлуплю его этой дубинкой.

Лазик больше не отнекивался. Он только, виновато улыбаясь, сказал:

— Вы меня плохо кормили, господин Вормс, а ветчина была теплая, и каждый поймет, что я не мог удержаться.

Так как дело происходило не в субботу, у господина Мойзера был зонтик и он опередил колбасника. Впрочем, Отто Вормс тоже не мешкал. Они били Лазика — один зонтиком, другой палкой, один слева, другой справа, пока тот не упал на мостовую.

Левка - парикмахер кога-то любил петь, залезая в ухо мыльной кисточкой: «Уй Париж, уй Париж! Это вам не голый шиш», и, очутившись на площади Опера, Лазик вспомнил его песенку.

— Хорошо, я стою на этом углу. Но как мне перейти через улицу? Это же внезапное самоубийство. А рано или поздно мне придется перейти, нельзя ведь жить на постоянном углу. Один автомобиль, десять автомобилей, сто автомобилей, а где же проход для маленького Ройтшванца? . .

Лазик попробовал было спустить ногу с тротуара на мостовую, но тотчас же отдернул ее, как будто попал в кипяток.

— Это гораздо хуже, чем бешеная арабка!

Вдруг он увидел полицейского, на рукаве которого было написано «говорит по немецки». Лазик робко пошел к нему:

— Господин ученый секретарь! Вам не кажется, что эти коляски немного задерживают движение? Мне, например, нужно почему-нибудь перейти на ту сторону, но я еще дорожу моей предпоследней жизнью.

— Обождите. Когда я махну палочкой, вспыхнут красные диски, раздастся сигнал. Тогда вы сможете перейти.

Лазик стал ждать. Действительно через несколько минут все обещанное совершилось. Автомобили замерли, как вкопанные. Площадь в мгновение опусте-

ла и пешеходы перепуганным стадом понеслись с одного троттуара на другой. Лазику все это очень понравилось. Он несколько раз повторил увлекательную переправу, а потом, окончательно расстроганный, подошел к полицейскому:

— Можно пощупать вашу волшебную палочку? Нельзя? А вы, кстати, не Мойсей ли парижского закона? Потому что такие штуки выкидывал Мойсей, когда евреи переходили через море. Что? Я должен идти дальше? Хорошо, я пойду, но кивните еще раз этой палочкой, чтобы волны расступились передо мной.

Лазик задумался. Что же дальше? Конечно, здесь ученые секретари, и арабки, и бананы, и такая научная башня, что можно рассеять сразу весь опиум, она ведь до самого неба, и наверху уже доказано не какой-нибудь бог, а только телефонная трубка без проволоки. Но что здесь делать одинокому Ройтшванцу? Начнем с того, что здесь совсем другой разговор. Из всего гомельского обращения, они понимают только одно «мерси»; но ведь надо еще иметь за что благодарить.

Размышляя так, Лазик вдруг услышал русскую речь. Он не стал терять времени:

— Приятно среди арабов услышать этот могучий язык. Вы, может быть, тоже из Гомеля?

Рослый мужчина подозрительно осмотрел Лазика.

— Отстаньте! Не на такого напали!

— Ага, я уже понял. Вы не из Гомеля, а наоборот. Но почему же сердиться? Я ведь московская душа-рубаха, и я еще не знаю здешних церемоний. Хотите, я вам сошью замечательные толстовки, так что вы будете в них, как два загробных графа? Хорошо, это не подходит. Точка. О кроликах я даже не заикаюсь. Я могу, между прочим, исполнить преступный фокс-трот, раз здесь такая арабская жизнь. Почему вы кричите? Я не глухонемой. И напрасно вы думаете, что стоит вам побежать в припрыжку, как я останусь здесь умирать; я вас все равно догоню. Что-что, а прыгать я умею. Вы спрашиваете меня, что я хочу? Очень просто — жить.

Это, как говорили у нас на курсах политграмоты, «программа-максимум», а пока что иностранные кредиты, то есть парижские пятьдесят копеек на порцию пошлых битков. Причем тут политграмота? При всем. Вы здесь уже база, а я хочу быть вашей надстройкой...

— Идите вы к вашим большевикам! . .

— Этого я как раз не могу, потому что я уже оттуда. Я служил у Бориса Соломоновича, и когда за ним пришли, мне пришлось вылететь залпом. Вы думаете, я не был кандидатом? Смешно! Я мог бы сделаться роскошным комиссаром, но в дело вмешалась нога товарища Серебрякова и меня мигом вычистили.

Русские теперь не убегали от Лазика. Нет, они даже замедлили шаги. Они начали спрашивать его: давно ли он из России, долго ли пробыл в партии, какие должности занимал, кого там видел? Лазик врал наугад.

— Чорт их знает, куда они загигают? Они или родственники Пуке, или чтонибудь посполитое.

Когда Лазик сказал, что он с товарищем Серебряковым на ты, что он перевозил через границу пулеметные ленты, что в Москве его выбрали в ученые секретари «Коммунистической Академии», но что все сорвалось от неожиданных чувств, так как он, Лазик, посидел, подумал, а потом ни с того, ни с сего, ворвавшись ночью в Кремль, оскорбил там тысячу флагов, рослый мужчина шепнул своему спутнику:

— Этот болтливый жидок может пригодиться. . .

Почувствовав перемену, Лазик осмелел:

— Ну да, я и с Троцким говорил по душам об этой китайской головоломке. . . Но теперь я хочу вас спросить о другом; когда здесь, главным образом, обедают? Я обедал в последний раз ровно четыре дня тому назад. После этого были только прыжки через границу и новый горизонт. Кстати, из этого кафе идет откровенный запах. Знаете, чем это пахнет? Вы думаете, кофе или позорным лимонадом? Нет, я держу дерзкое пари, что это пахнет телячьей печенкой в сметане и притом с луком.

— Слушайте, если вы действительно кающийся большевик, мы вам поможем восстановить ваше доброе имя.

— Я так умею каяться, как никто. Я уже начал каяться два года тому назад из за пфейферовских брюк, и с тех пор я только и делаю, что каюсь. Насчет доброго имени вы тоже не беспокойтесь: в крайнем случае можно обрезать «Ройт», если здесь другая красочная мода. Я буду просто «Шванец», как таковой, без всякой партийной окраски.

— Вы сделаете публичный доклад. Это очень просто. Мы вам наметим о чем говорить. А сбор поступит в вашу пользу. Но раньше всего мы вас ознакомим с нашим национальным движением.

Здесь Лазик стал суровым и непримиримым:

— Нет, прежде всего вы ознакомите меня с этим запахом. Мы зайдем в кафе и там устроим ваше национальное передвижение.

— Что же, можно зайти выпить аперитив. Гарсон, три «Пикона»!

Лазик взволновался:

— Пожалуйста без арабских штучек! Вы хотите, чтобы я читал громовый реферат; а даете мне какие то мокрые анекдоты.

Игнат Александрович Благоверов, рослый мужчина и редактор национального органа «Русский Набат» снисходительно улыбнулся.

— Это здесь все пьют. Это — для аппетита.

Тогда Лазик вскочил, он начал неистово топтать ногами:

— Для аппетита? Это для уголовного преступления! Если я и так готов зарезать живого человека, после этого я его наверное зарезу. Дайте мне моментально печенку в сметане, или хотя бы большую булку, не то я выпью эту провокацию и тогда я зарезу весь Париж!

Съев бутерброд, Лазик деликатно заметил:

— Вам придется раззориться, потому что аппетит

продолжается. Если бы у меня не было аппетита, разве я стал бы с вами разговаривать? Я бы лучше переходил с утра до ночи ту замечательную площадь. Сосиски? Очень хорошо. Теперь вы уже можете передвигаться.

Игнат Александрович многозначительно откашлялся:

— Прежде всего, пусть вас не смущает... Как бы это сказать?... Ну, происхождение. В нашей организации уже состоит один еврей. Когда он увидел, что из этих «свобод» вышло, он первый пришел к нам с повинной. Он рыдал: «я дрожу, как Иуда. Евреи продали нашу матушку Россию. Где мощи святителя Питирима? Где зvon сорока сороков»?.. Мы его простили. Он в нашей газете теперь работает по сбору объявлений. Так что вы не горюйте. Мы к вам отнесем, как к счастливому исключению. Наше мощное движение возглавляет его императорское...

Здесь Лазик прервал Игната Александровича:

— Надо обязательно подобрать живот или достаточно мысленно? Потому что после всех сосисок это мне не так то легко...

Но Игнат Александрович не слушал его. С пафосом повторял он последнюю статью «Русского Набата».

— «Трепещите же милюковские палачи в застенках! С нами весь цивилизованный мир и сорок веков русской истории. Романовы создали Россию, и вся наша православная страна, притаив дыхание, ждет державной поступи августейшего хозяина». Так или не так?

— Конечно, так. Пфейфер тот не может дождаться. Целый день глядит в окно. И насчет дыхания вы тоже удивительно подметили. Кто же станет там нахально дышать, когда здесь уже раздастся эта августейшая поступь?

Выпив еще два «пикона», Игнат Александрович потрепал Лазика по плечу:

— Приятный жидок! Хорошо, что ты сразу попал к нам, а не в «Свободный Голос». Там ведь одни чекисты сидят. Жид жида погоняет. И платят пятачок за строку.

А у нас тебе лафа будет. Завтра же пушу интервью Василий Андреевич, набросайте. Крупным шрифтом: «Покаяние чекиста». Начните так: «Вчера в помещение редакции, обливаясь слезами, ворвался палач». . . Как вас? . . «палач Шванец. Он кричал: «Я прошу прощения у невинных вдов и сирот. Вся подневольная Русь слышит удар вашего «Набата». В Каргополе выведенная из терпения толпа буквально растерзала еврейского комиссара. «Ну, а дальше вы сами. . . Не забудьте только про «Свободный Голос»: «в Пензе все возмущены провокацией Милюкова». Валяйте во всю! Слушай, жидок, я тебе завтра и за интервью заплачу. Двадцать франков дам, честное слово!

Здесь молчаливый компаньон Игната Александровича вдруг заговорил:

— Мне, Игнат Александрович, второй месяц жалованья не платят. Зима на носу, а я еще в летнем пальто щеголяю. . .

— Об этом, брат, после поговорим. Сейчас у нас государственные дела. Так вот что, Шванец, ты за доклад сотню-другую получишь, но это ведь нечто единовременное. Сам понимаешь, нельзя каждый день доклады устраивать. А ты можешь хорошую денгу заработать. У тебя связи там, а нам повсюду нужны верные люди. Займись как организацией.

— Что же, это я могу. Я уже размножал в Туле мертвых кроликов, и я из вас сделаю самый замечательный урожай. Скажем, вас сейчас двое, не считая этой поступи. Остается взять карандашик. К осени будущего года вас может быть 612 тысяч 438 голов. Это же дважды два и месячное жалованье.

После четвертого «пикона» Игнат Александрович отяжелел. Расстроганный, он бормотал:

— Молодчина ты, Шванец! Хоть жид, а любишь матушку-Россию. Я тебя выведу в люди. В «Набате» — построчные. За организацию — фикс, подъемные, суточные, разъездные. Потом я тебя с румынами познакомлю. Славные ребята! Принимают вежливо, не как

англичане в передних выдерживают, нет, эти за ручку здороваются, папиросами угощают. И платят аккуратно, долларами. Ты им о Каргополе расскажи. Ну, и насчет пулеметов. А если о Бессарабии начнут спрашивать, улыбайся. Я их чем взял? Улыбкой! «На что», говорю, «нам ваша Бессарабия? У меня было именице в Калужской, так я день и ночь плачу — почему вы до Калуги не дошли». Понимаешь? Мы здесь дипломатами стали. Я, да вот Василий Андреевич, это корпус наш, ха-ха! Деньги на бочку!..

— Парижское вамъ мерси! Конечно, в Румынию я не ездок. Довольно с меня польской музыки. Но здесь я с ними столкуюсь в одну минуту. Я же тоже из вашего корпуса, хотя мне ничего не кладут на бочку. Я уже подарил полякам Тулу. Почему же мне жалеть этим румынам Калугу?

Четыре «пикона» пробудили, наконец, в Игнате Алекоандровиче аппетит, и он ушел обедать. Молчаливый Василий Андреевич повел Лазика в ресторан «Гарем де Бояр». Вспомнив о летнем пальто, Лазик предусмотрительно спросил:

— Вы, может быть, как Архип Стойкий, то есть забываете бумажник дома? Так у меня в кармане дыра.

— Не бойтесь!

Василий Аендреевич нежно похлопал себя по груди.

— Я с вами остался, чтобы предупредить вас. Этот Благоверов хитрая бестия. Он выжмет из вас все и потом — за шиворот. Он всегда так поступает. Его самого скоро выставят. Тогда я буду главным. Помилуйте, он только одним занят: нашел подставного жидка и через него продает большевикам какие-то удобрения. Хорош патриот! А на счет румын он тоже врет. Вы мне с первого взгляду понравились. Румыны эти — жулье. От них десяти франков не добьешься. Я вам другое предложу. Только давайте - ка сначала закусим.

— Я уже выбираю вас, а не этого калужского румына. Вы мне тоже понравились, если не с первого взгляда, так с первого слова. Сразу видно, что вы главный

патриот, вы ведь начинаете не с чего - нибудь, а с закуски. Но что они несут сюда? Это же не снилось даже госпоже Дрекенкофф!..

— Да, кормят здесь неплохо. Вот попробуйте икорку — наша, родная, астраханская. Я сюда поставляю. Достаяю через одного прохвоста у большевиков, а потом перепродаю. Надо чем-нибудь жить. Теперь поговорим с вами о деле. Одним «Набатом» не прокормишься. Я сведу вас с хорошими людьми. Не люди — золото. Чеки из Ревеля. Знаете Ревель?

Лазик задумался:

— Ревель? Это, кажется, кильки?

— Это, друг мой, не только кильки. Это английские фунты. Это целое государство. Вы им там три слова на счет Троцкого, а чек — в кармане. Идет? Водочки? За ваше здоровье! За наше национальное движение! За его...

— Пожалейте мой живот! Я его не в силах каждую минуту подбирать. Лучше уж выпьем за кильку.

— Ура!

Вначале Лазик крепился. Он пил водку, ел бефстроганов и вел с Висильем Андреевичем дружескую беседу:

— Здесь же совсем, как в «Венеции». Скажите мне, кстати, в какую дверь нужно будет бежать?

— Да, здесь уголок старой России. Великое дело — традиции народа. Знаете, кто подает нам? Полковник. Ей-ей! А дамы!... Татьяна Ларина! «Я вас люблю, чего же боле»... Просто, как скипидар. Мы этого Благоверова по шапке!.. Вот знакомьтесь. Наш агент по сбору объявлений, господин Гриншток.

Лазик оживился:

— В Гомеле тоже есть Гриншток, он даже заведует показательными яслями. Вы не родственник ли?

Господин Гриншток негодуяще отмахнулся от Лазика:

— У меня нет родственников среди кровавых палачей.

Нагнувшись к Лазику, он зашептал:

— А если это даже мой брат, то что за глупые разговоры? Я же собираю для них объявления. Сегодня я набрал целых три: два ночных бара и один венерический доктор. Я могу теперь даже поужинать.

Все труднее и труднее было Лазику думать, а Василий Андреевич приставал с вопросами:

— Продиктуйте мне хоть десять фамилий известных вам большевиков. Мы готовим списки, чтобы знать, кого истребить, когда настанет минута.

— Десять фамилий? А сколько было рюмок? Пять? Ну вот вам, пишите: Троцкий, Ройтшванец, Борис Самойлович... Еще? Хорошо. Кролик. Это партийная кличка. Гинденбург. Дрекенкопф. Килька. Я вовсе не пьян, это тоже кличка, и довольно меня истязать! Что я вам адрес-календарь? Я же понимаю, вы хотите все это отнести эстонцам и получить чек в кармане. А что останется мне?

Охмелев, он кричал:

— Я румынский бдист! Я с Троцким на ты! Я — весь в пулеметах!

Его били. Его качали. Он уже ничего не помнил. Как заверял потом Василий Андреевич, он схватил банку с кильками и пытался всунуть по рыбке каждому посетителю:

— Уже готовый чек!.. Подарим им Париж со всеми арабками!.. Да здравствует поступь!..

Летели стаканы, бутылки, столы. Под конец Лазика вывели на улицу. Подошел полицейский. Василий Андреевич вступился за своего собутыльника:

— Это ничего, он немного выпил. Он палач, и он кается. Он ищет облегченья. Славянская душа!

Выслушав это, полицейский вежливо взял Лазика под руку и довел его до ближайшей уборной. В мутных глазах Лазика вспыхнул огонек сознания. Восторженно рыкнул он полицейскому:

— Только вы один меня поняли. Мерси! И еще раз мерси!

Перед самым докладом Лазик вдруг загрустил. С трудом вскарабкался он на высокую кровать плохонького номера, где поселил его Василий Андреевич и предался горестным размышлениям:

— Я же был честным кустарем-одиночкой. В могучий праздник первого мая, я шел со всеми портными, и над нами реял еще не оскорбленный флаг с серебряным наперстком. И вот я дошел до этих бешеных килек. Ахь, мадам Пуке, — вы видите, я зову вас по-парижски, не как-нибудь, а мадам, — ах, мадам Пуке, что вы сделали с Ройтшванцем? Сейчас мне нужно итти своими ногами, на этот стопроцентный погром, как будто я не знаю их шведскую гимнастику.

Меланхолично Лазик расстегнул ворот рубашки и, прищурив один глаз, стал разглядывать свое тело, сплошь покрытое синяками.

— Вот этот еще посполитый... А эти два от рыбьего жира... Этот? Не помню... Может быть, после разговора об окороке, а, может быть, из-за обезьяньего хвоста... Ну, а это — парижские... Интересно бы спросить какого-нибудь философского доктора, сколько может вынести обыкновенная еврейская жилплощадь? Мне, например, кажется, что я уже уплотнен. Но вся беда в том, что синяк ложится на синяк, и это вечное землевращение. Пора итти! В животе уже журчат мелодии, и Карл Маркс не даром зарос бородой, он кое-что понял до самой точки. Вместо всех ученых слов можно сказать одно: «аппетит передвигает обширное человечество».

Дойдя до этого, Лазик зажмурил глаза: он увидел перед собой рубленые котлеты с картошкой. Он стал вспоминать — а как они пахнут?.. Долго он лежал так, переживая клецки госпожи Дрекенкопф, шкварки на свадьбе Дравкина и даже охотничью колбасу. Его привел в себя раздраженный голос Василия Андреевича:

— Вы с ума сошли?.. Там все собралось, а вы здесь дрыхнете!..

Действительно, в зале было человек тридцать слушателей. В первом ряду сидели глубокие старики, с виду похожие на камердинеров. Они жевали лакричные лепешки и порой подхрапывали. Сзади бодро гудели молодые люди, щеголяя модными пиджаками в талью. На эстраду взошел Игнат Александрович. Он был постоянным председателем кружка «Крест и Скипетр».

— Я предоставляю слово кающемуся большевику Лазарю Матвеевичу Шванцу. Он ознакомит нас с национальным движением на родине. Я прошу присутствующих в зале вдов и вдовцов сохранять спокойствие. Хотя на совести у Шванца много пятен, но он честно покался и хочет вернуться на родину, чтобы активной борьбой против насильников смыть с себя прошлый позор.

Лазик жалобно оглядел зал, люстру, стол, покрытый зеленым сукном с графином воды и колокольчиком, самого себя. Поздно!.. Ничего не поделаешь... Он встал, вежливо раскланялся, улыбнулся.

— Товарищи...

Молодые люди в ответ угрожающе зарычали. Лазик съежился.

—Извиняюсь, из меня иногда выскакивает гомельский оборот. Я же понимаю, что здесь нет никаких товарищей, но скажите мне, кстати, как вас называть: «господа полицейские доктсра» или «паны ротмистры»?

Игнат Александрович потряс колокольчиком.

— Вы должны обращаться к аудитории «милостивые государи и милостивые государыни».

— Очень хорошо. Милостивые государи - импера-

торы и даже государыни, хоть государынь здесь нет, а всего одна во втором ряду, я начинаю прямо с национальных меньшинств, так как этот блондин уже кричит мне, что я жид. Так я не жид, а только скромный Мойсей его императорского закона. Возьмем исторический разрез. Бывают, конечно, жида. Они нахально шьют брюки или даже заведуют в Гомеле кровавыми яслями. Они неслыханно смеются потому, что продали Христа и матушку-Россию, все вместе за какие-нибудь тридцать серебряных рублей. Но тот же милостивый государь Гриншток вовсе не продает матушку — наоборот, он национально передвигается. Он собирает для «Русского Набата» венерические объявления, и значит он не жид, а симпатичный Мойсей. Итак, я прошу этого блондина успокоиться, потому что я не люблю, когда кричат. Я сейчас тоже, как Гриншток, и вы должны слушать меня с совершенным почтением.

Сзади кричали:

— Чекист! Палач! Что же, он не кается?.. Позор!...

Игнат Александрович снова прибег к помощи звонка:

— Помещение сдано до двенадцати. Кроме того, мы должны считаться с метро. Прошу уважаемую аудиторию вести себя сдержанно, а вас, Лазарь Матвеевич, в виду позднего времени я прошу начать каяться.

— Как будто это так легко? Я же забыл, что вы мне там говорили, и я не знаю, в чем мне каяться. Я, конечно, могу покаяться в случае с кильками, но зачем было мне давать рюмку за рюмкой? И потом, если я даже кидал рыбки, то там один государь кинул в меня цѣлый поднос. Это же тяжелее!...

Блондин не унимался:

— Скольких ты расстрелял, чекистская собака?

— Господин председатель, если этот милостивый блондин не перестанет меня прерывать, я потеряю нить. Я только хотел перейти к положению на родине, как он уже констатирует, что я собака. И потом нельзя приставать с глупыми вопросами. При чем тут выстрелы? Я

не стрелок. Я портной. Но если этот молодняк грозит разбить мне морду, я скажу, что я уже расстрелял все семь тысяч. Я стоял и стрелял из пулемета, а они, конечно, падали, и в них вонзались ужасные пули, и они кричали, «что это за шутки, чекистская собака? Если ты не перестанешь нас расстреливать из пушек, мы сейчас же позовем милицейского». Но я был глух к этим воплям сирот. Я расстрелял Пфейфера в моих же артистических брюках. Теперь вы довольны? Я перехожу к текущему моменту. О факте с Каргополем вы уже знаете из газет, а вообще я не учился стройной географии. Зачем настаивать на деталях, когда мы должны считаться с каким-то метро? Достаточно сказать, что вся матушка-Россия ждет вас без дыхания. Вас так ждут, что когда звонит, например, почтальон или, хуже того, постыдная прачка, все ошибаются и бегут с анютиными глазками навстречу, и потом они плачут, что вместо белого коня неприличные кальсоны.. А поступь? Об этом же нельзя говорить без крупных слез. Идет, скажем, по лестнице Ткаченко, а Борис Самойлович уже шепчет мне: «ты слышишь эту поступь?» Я только одного не понимаю: почему вы не приходите? Нельзя так играть с человеческим терпением! Я, например, был верен Фени Гершанович, хоть она и чирикала с Шацманом. Но сколько я мог ждать при своем телосложении? Я ждал и ждал, а потом я увидел Ньюсю, и все полетело прахом с табуретки. По-моему, вам уже надо двигаться, сначала на это беспощадное метро, а потом к самой матушке.

Молодые люди, покинув свои места, столпились вокруг эстрады.

— Позор!... Что за ерунда... Как он смеет, пархатый?.. Мы его проучим!..

— Дайте оратору возможность закончить свой доклад, — взывал председатель.

— Долой! К чорту!...

Звонок отчаянно дребезжал. Лазик прикрыл лицо руками.

— Вы хотите, чтоб я закончил? Я уже закончил

Что? Надо еще говорить? Хорошо, я попробую. Я скажу еще о национальном передвижении. Большевики, конечно, plombированные изменники, потому что нельзя пропускать такой хорошей оказии. Им не дают иностранных кредитов? Значит, они не умеют разговаривать. Но здесь живет ваш удивительный корпус, и я теперь знаю, как поступать. В одной партии могут быть две фракции, или даже десять фракций. Это бывает и в Гомеле. Главное, чтобы все сразу подымали руки. Тогда получается железная дисциплина. В чем различие, скажем, между Игнатом Александровичем и Васильем Андреевичем? Один ходит к румынам и сует им Бессарабию, а другой получает чеки от килек. Но можно же пойти и к румынам и к килькам. Это вопрос ног. А в Париже, как я вижу, на тридцать серебряников не проживешь, раз в этом «Гареме» бешеный беф-строганов. Я молю вас, отодвиньте ваш кулак! Я уже вношу конкретное предложение: если, например, взять в узелок Москву и отнести ее.. При чем тут ваши руки? И если вы должны обязательно меня бить, то бейте сзади, чтоб я хоть не видел кровавых следов. Караул! Вы опоздаете на метро!..

Вдруг счастливая мысль осенила Лазика. Быстро схватил он со стола графин и стал поливать публику. Когда же кончилась вода, он метнул в зал графин, стакан, звонок. На шум пришел сторож.

— Господа, помещение снято до двенадцати. Будьте любезны немедленно разойтись!

Лазик первый подчинился его приказанию. Быстро нырнул он в дверь.

Но сейчас же голова его вновь показалась:

— Милостивый председатель, а где ваш чистый сбор на два-три голодных бутерброда?

На улице к Лазику подошел тощий еврейчик и дружески сказал:

— Ах, вот и вы!.. Вам, может быть, нужен пластырь? Я всегда на себе ношу: я ведь репортер «Свободного Голоса», и я должен бывать на всех эмигрантских собраниях.

— Пластырь? Вы смеетесь! Мне нужны военные перевязки, а пока что пять франков на закуску.

— Пойдемте в «Ротонду». Там подкрепитесь. Ну, геперь вы увидели, что это за публика? Вы должны были притти к нам. У нас даже, если любят какого-нибудь патриарха, то не устраивают сразу погром. Вы же свежий человек, недавно из России, и вы знаете, кого там ждут. Великий князь категорически не при чем. Там ждут только выборов в парламент. Вы не заметили этого? Ну да, вы еще запуганы. Вы проживете здесь годик-другой и тогда вы заметите. Мы понимаем, что некоторые труженики и там трудятся. Нужно уметь отделить хлебец от плевел. Мы вовсе не ставим на всем крест. Возьмите писателей. Они продались, это само собой понятно. Но есть исключения. Кто же из нас не читит Пушкина или даже Айвазовского? Словом, с нами вам будет легко сговориться. Вы прочтете небольшой доклад...

Лазик прервал его:

— Ни за какие бананы! Лучше уже прыгать с хвостом.

— Ну, не волнуйтесь! Подкрепитесь сэндвичами

Сейчас мы пойдем в редакцию. Я вас познакомлю с заведующим экономическим отделом. Это умница, голова, первый социолог. Европейская знаменитость! Он вам все растолкует лучше меня. Я ведь не политик, я, собственно говоря, комиссионер. Вот, если вам понадобится, например, квартира с крохотными отступными или хорошие дамские чулки по двадцать семь франков за пару, тогда вспомните Сюзкинда.

Заведующий экономическим отделом, Сергей Михайлович Аграмов принял Лазика чрезвычайно любезно. Он долго спрашивал его о состоянии посевов, о росте оппозиции в Красной Армии, о ценах на модеполам, даже о количестве аборт, при чем сам же отвечал на все эти вопросы. Наконец, Лазик заинтересовался:

— Вы таки европейская голова! Я гляжу и удивляюсь; как вы можете сразу и говорить и писать? Это, наверное, фокус. А можно спросить вас, какой словарь вы там сочиняете?

— Я записываю ваши слова.

— Мои слова? Это уже два фокуса. Ведь я все время молчу, как дрессированная рыба.

— Вот послушайте: «Беседа с крупным советским спецом. На первый же наш вопрос о московских настроениях X ответил: «Русский Набат» не пользуется авторитетом. Население с нетерпением ждет...»

— Вы можете дальше не читать. Тот с дамскими чулками мне уже объяснил, кого ждет все обширное население.

Тогда Аграмов сострадательно взглянул на Лазика:

— Я вижу, что вы насквозь пропитались советской заразой. Это ужасно!.. Пионеры... Октябрюта... Растленные детских умов...

— Извиняюсь, господин социолог, но мне уже тридцать три года, и я даже был полтора раза женат, считая за половину этот случай из-за клепок.

— Вам тридцать три? Вы вдвое моложе меня. Политически вы младенец. Как ужасно; что огромной стра-

ной управляют такие дети! Вы сейчас будете ссылаться на Маркса. Но разве вы знакомы с первоисточниками? Страна с отсталым хозяйством не может претендовать на мировую гегемонию. Эти щенки думают, что они открыли Америку. Они случайно захватили власть. Они у меня отняли кафедру. Они должны уйти. Я могу сейчас же доказать вам это цифрами.

— Нет, не доказывайте. Я очень плохо считаю. Я на кроликах просидел три дня. Потом зачем же вам в таком почтенном возрасте истреблять себя какой-то арифметикой? Вы думаете, мне вас не жаль? Даже очень. Вы, такой европейский счетчик пропадаете с дамскими чулками. Я понимаю вашу ученую грусть. Я, конечно, не могу с вами спорить, потому что вы, наверное, кончили четыре заграничные университета, а меня до тринадцати лет кормили одним опиумом, так что я из всего Маркса знаю только факт и бороду. Но все-таки кое-что я понимаю. Ведь не один Маркс был с бородой. Я, например, могу осветить ваше позднее положение одной историей из Талмуда. Вы же не скажете, что Талмуд это большевистская выдумка. Нет, Талмуд они даже хотели изъять из «Харчмака», и ему еще больше лет, чем вам. Так вот там сказано о смерти Мойсея.

На личности, кажется мне нечего останавливаться. Вы ведь только заведуете одним отделом и значит вас здесь десять или двадцать умниц. А Мойсей был всем: и как вы, социологом, и генералом, и даже писателем, словом, он был европейской головой. Но так как евреи пробродили, шуточка, сорок лет по пустыне, он успел состариться и, не принимайте это за справедливый намек, ему пришло время умирать. Бог ему спокойно говорит: «Мойсей, умирай», но тот отвечает: «нет, не хочу». Это же понятно!.. Так они спорят день и ночь. Когда я об этом читал в хедере, у меня волосы становились дыбом. Наконец, богу надоело. Он говорит: «ты был полным вождем моего народа, но ты стар и ты должен умереть. У меня уже готов кандидат. Это Иегошуа Навин. Он моложе тебя, и он будет полным вождем». Мой-

сей весь трясется от обиды. Он говорит: «но я же не хочу умирать. Хорошо. Я не буду больше вождем. Я буду гонять простых баранов. Но только позволь мне еще немножечко жить». Что же, бог смутился: тогда еще на земле было мало людей, и он, наверное, не успел привыкнуть к человеческой смерти. Решено: старый Мойсей будет погонщиком баранов, а молодой Иегошуа будет полным вождем. Вы слышите, что за обида? Это похуже вашей кафедры! Весь день несчастный Мойсей гонял баранов, а вечером все собрались у костров, чтобы слушать умные разговоры. Все, конечно, ждут, что Мойсей начнет свою лекцию, но Мойсей молчит, Мойсей бледнеет, как эта стенка, и со слезами Мойсей говорит: «я стар, и меня прогнали. Вот вам Иегошуа, он теперь знает все — и куда нужно итти из пустыни, и как получать манну, и как жить, и как радоваться, и как плакать». Что же, народ—это всегда народ. Они для приличия повздыхали и пошли к Иегошуе, а Иегошуа в это время уже разговаривал с богом обо всех текущих делах. Мойсей так привык к этим беседам, что он тоже подставил ухо. Но нет, он ничего не слышит. Он теряет терпение. Он кричит Иегошуе: «ну, что тебе сказал бог»? Иегошуа молод, и, значит, он еще петух, ему наплевать на стариковские слезы. Он и отвечает: «что сказал, то сказал. Когда ты был полным вождем, я, кажется, тебя не спрашивал, о чем ты беседуешь с богом. Нет, я тебя просто слушался, а теперь ты должен слушаться меня». И Иегошуа начал первую лекцию. Мойсей слышит, что Иегошуа еще молод, то не знает, об этом забыл, и он хочет вмешаться. Но нет у него больше ни огня, ни разума, ни настоящих слов. Он говорит, а народ его не понимает. Еще вчера они его носили на руках, а сегодня они ему кричат: «ты бы лучше, старик, пошел к твоим баранам». Вот тогда-то не выдержал Мойсей. Кто знает, как он любил жизнь, как не хотелось ему умирать! Но он все-таки не мог пережить свое время. Он так громко крикнул, что порвал все облака: «Хорошо, я больше не спорю. Я умираю». Конечно, госпо-

дин социолог, вы не Мойсей, и я вовсе не хочу вашей преждевременной смерти. Нет, я знаю, что каждому человеку хочется жить, даже мне, хоть я самый последний пигмей. Но вы не должны сердиться на какого-нибудь нахального пионера. Он же не виноват, что ему только пятнадцать лет. Он молод, и он крикун, и он плюет на все. Он, может быть, на вашей дубовой кафедре устраивает танцы народностей. Что делать — на земле нет справедливости. Но, если вы такой умница, почему вы ему кричите «вон»? Он же не уйдет, а вы уже ушли, и вы с баранами, и точка. Пошлите-ка лучше за бутылкой вина, и мы с вами выпьем за нашу мертвую молодость.

Аграмов иронически прищурился:

— Ваше сопоставление не выдерживает критики. Параллели в истории вообще опасны. В данном случае была эволюция, смена поколений, прогресс. У нас же произошел насильственный разрыв. Революция — это преступление, коммунизм — это ребяческая затея. Только невежественные люди могут верить в утопии. Современная социология...

— Стойте! Вы снова хотите меня убить вашей дубовой кафедрой? Я же не знаменитость. Я с вами говорю по душам, а вы устраиваете дискуссию. Вы думаете, я не знаю, что такое революция? Спросите лучше, сколько раз я сидел на занозах. Не будь этих исторических сцен, я бы теперь спокойно утюжил брюки дорогого Пфейфера. Я ее вовсе не обожаю, эту революцию. Она мне не сестра и не Феничка Гершанович. Но я не могу кричать: «запретите тучи, потому что я, Ройтшванец, ужасно боюсь грозы, и даже прячусь, когда гроза, под подушку». Конечно, гроза — большая неприятность, но говорят, что это пужно для какой-то атмосферы, уж не говоря о дожде, который ведь поливает всякие огороды. Вы напрасно меня спрашиваете об уклонах командного состава или о беспорядках в Бухаре. Этого я не знаю, и все равно вы напишете это сами. Лучше я расскажу вам еще одну историю о том же Мойсее. Она, мо-

жет быть, подойдет к нашему разногласию. Мойсей тогда еще был молод. Он был не вождем, а только ясным кандидатом. Вдруг бог говорит ему: «иди сейчас же к фараону и скажи ему, чтоб он отпустил евреев на свободу». Мойсей отправился впопыхах, разыскал египетский дворец, оттолкнул всех швейцаров и говорит фараону:

— Отпусти сейчас же евреев на свободу, не то тебе будет худо.

Фараон прищурился, вроде вас:

— Что за невежливая утопия? Кто ты такой?

— Я посол еврейского бога Иеговы.

— Иеговы?

Фараон даже наморщил лоб.

— Ие-го-вы? Я такого бога не знаю. Эй вы, ученые секретари, притащите сюда полный список всех богов!

Секретари притащили целую библиотеку, потому что богов в то время было гораздо больше, чем теперь таких умниц, как, скажем, вы. День и ночь, все ученые Египта просматривали списки. Вот бог с собачьей мордой, а вот с рыбьим хвостом, но никакого «Иеговы» нет и в помине. Тогда фараон расхохотался:

— Ну что я говорил тебе? Такого бога вообще нет, раз его нет в нашем замечательном списке, а ты нахальный мальчишка, и убирайся сейчас же вон!

Но вы, конечно, знаете, господин социолог, что фараону пришлось очень худо. Что вы там снова записываете? Факт с фараоном?

— У меня нет времени для исторических анекдотов. Я заканчиваю интервью с вами. «Х подтвердил также, что постановка высшего образования не выдерживает никакой критики. Вузы — образец запущенности, невежества, хулиганства. Старые кафедры занимают теперь полуграмотные юноши». Я, кажется, хорошо изложил ваши мысли? Теперь вы можете идти.

Лазик вздохнул:

— Пусть это будут мои мысли. Вы же кончили четыре университета и всё равно мне вас не переговорить. Тогда сосчитайте, пожалуйста, строчки или дайте мне просто на глаз какиенибудь двадцать франков.

Аграмов удивленно взглянул на Лазика:

— Какие франки? Какие строчки? Вы здесь абсолютно не причём. Это — моя статья. Будьте добры немедленно покинуть это помещение.

— Куда мне итти? Переходить без конца площадь, пока меня не раздавит какаянибудь рассеянная арабка? Или взобраться на эту научную башню и оттуда прыгнуть вниз? Все равно, рано или поздно придется умереть. Да, но одно дело умереть хорошо покушав, выпив, поговорив. Это даже не смерть, это интересный сон на кушетке. А умереть натошак скучно. Ведь я сейчас еще не подготовлен к таким музыкальным минутам. Все, конечно, увидят, что летит с башни печальный человек и снимут шляпы: вот он падает вниз и думает о горных вершинах. А я, как самый низкий нахал, буду думать в это самое время о вчерашних сандвичах в «Ротонде». Если приподнять верхнюю крышку — волнующий сюрприз, например, сыр или даже паштет... Нет, я еще не готов к смерти, и лучше всего пойти в «Ротонду». Может быть, там я найду этого Сюскинда с чулками. Я выпрошу у него, если не весь сюрприз, то хоть верхнюю крышку.

Лазик робко вошел в «Ротонду», но оглядевшись по сторонам, он тотчас же оживился. Правда, Сюскинда в кафэ не было, зато он увидел не мало посетителей подходящего вида. Они отличались от других парижан, как меланхолическим взглядом, так и грязным бельем.

— Наверное они, если не из Гомеля, то возле

Лазик подошел к ближайшему столику:

— Вы, может быть, гомельчанин?

— Ничего подобного. Я как раз из Кременчуга.

— Ну, это недалекое яблоко. Я так и подумал, что вы из окрестностей. А чем вы здесь интересуетесь? Дамскими чулками или обстановкой?

— Вы таки в Гомеле отстали! Кто теперь станет возиться с чулками на модели или с комодом? Вы, может быть, скажете, что я беру еще яблоко или бутылку? Как будто теперь — это год тому назад! Когда мне нужен натюр-морт, я не задумываюсь. Я беру кусок мяса или птицу, или даже кролика.

Лазик не выдержал, он облобызал меланхолического незнакомца.

— Я тоже! Я тоже! У нас совсем одна душа!

Незнакомец, однако, подозрительно нахмурился:

— Вы, может быть, хотите подражать мне? Так этот номер не пройдет. Достаточно меня и так обкрадывают. Я вам не покажу моих картин, а если б я их показал вам, все равно вы ничего бы не сумели сделать. Конечно время голых штучек! Теперь всякий порядочный торговец требует, чтобы была чувствительность. Вот видите, за тем столом сидит Ленчук — он меня всегда обкрадывает. А там в рыжей шляпе — это Монькин. Он взял мою тушу и немножко передвинул ее. Но у торговцев есть еще нос. Они видят, что мой кусок мяса весь дрожит. Они не дураки, если платят мне за пятнадцатый номер тысячу двести.

Сидевшие вокруг поддакивали:

— Его мясо звучит.... В «Осеннем Салоне» возле его картины была такая толкотня, что даже поставили полицейского.

— Вы же не знаете с кем вы говорите? Это Розенпуп и его имя на всех заборах. О нем столько пишут, что даже нельзя прочесть. Это о нем критик Куйбон сказал, вслух: «Розенпуп сын Ренуара, и он скоро проглотит отца, как Зевс проглотил Хроноса». Здорово?

— А бездарные Монькины пробуют еще рипаться! Но они сидят в «Ротонде» и пьют несчастный кофе, а за Розенпупом охотятся американцы.

Розенпуп расчувствовался:

— Сегодня можно немножечко выпить. Я продал два мяса, и я ставлю. Но с чего мы начнем? С пива или с коньяку?

Лазика не приглашали. Грустно стоял он в сторонке. Наконец, не выдержав, он взмолился:

— Извиняюсь, но подарите мне счастье сидеть рядом с вами. Я только сяду и я ничего не буду пить. Я хочу вам сказать, что я вас обожаю. Я читал ваше имя на заборе и я плакал вслух. О мясе я уже не говорю. При чем тут идиот Монькин? Он крадет объедки, а у вас хороший, жирный кусок. Вы думаете в Гомеле о вас не слышали? Там только и говорят, что Кременчуг перепрыгнул всех. Я сам читал о вас реферат. Я кричал: «этот сын Зевса проглотит все, что ему только захочется». Кстати, у меня уже жажда. Вы, конечно, угостите меня? Я хочу кофе и штучки с сюрпризами, чтобы внутри был паштет или ветчина, только, пожалуйста, три кофе и пять штук. Вы не удивляйтесь, я вовсе не нищий, я сегодня уже обедал и мое имя тоже будет на заборе. Это у меня такая привычка глотать хлеб залпом. Я ведь большой оригинал.

Закончив кофе и бутерброды, Лазик решил поговорить по душам.

— Здесь очень симпатичная жизнь! Это гораздо приятней, чем каяться перед поступью. Но скажите мне, мосье Розенпуп, у вас может быть мясная лавка с приложением дичи, или вы просто знаменитый повар, потому что я не понял двух-трех парижских оборотов?

В бешенстве Розенпуп разбил все рюмки:

— Он смеет острить, этот негодяй! И еще после пяти сэндвичей! Я же сразу почувствовал, что он снюхался с Монькиным и Ленчуком. Когда вы разговариваете с первым художником мира, вы вообще должны молчать. Я знаю, вы хотите меня обокрасть! Стащить зеленого кролика или тушу. Но это не пройдет! Я вас не пущу на порог. И убирайтесь вместе с Ленчуком подкупать критиков, чтоб они обо мне не писали! Как будто я не знаю, кто устраивает это молчание после «Салона»! Ленчук и

вы. Кто у меня отбил всех торговцев, так что я теперь ничего не продаю? Монькин и вы. Убирайтесь, а то! . .

Лазик предпочел не дослушать угрозы. Зачем расстраивать себя после стольких вкусных сюрпризов? Он быстро встал, сказал «мерси» и направился к Монькину.

— Мосье Монькин, будем уже знакомы. Что? Вы не знаете с кем говорите? Это таки странно. Я, например, уже знаю о вас все подробности. Я еще в Москве повсюду кричал: «Монькин проглотил Зевса». Мы там стояли и удивлялись, как ваше мясо гудит. Смешно, когда этот дурак Розенпуп пробует вас обокрасть. У вас наверное есть американский замок, а он голая бездарность. Я сидел сейчас с ним и я швырнул ему всю правду в лицо, так что он разбил четыре стакана. Но с вами я говорю, как с вполне равным. Вы спрашиваете, кто я? Я — Лазик Ройтшванец, и я второй художник мира, если вы, скажем, первый. Мы можем устроить могучий союз. Правда, моего имени еще нет на заборах, но это потому, что я временно скрываюсь: ведь за мной охотятся настоящие американцы. Я тайная знаменитость. Где мои картины? Уже в торговле. Адрес я не могу вам сказать. Это ужасный секрет. Я скажу вам его через несколько дней. Я даже возьму вас в эту огромную торговлю. А теперь поговорим о текущем моменте. Пить я больше не хочу, но я пойду к вам ночевать, потому что я еще не нашел в Париже подходящего помещения. Не бойтесь, я вас не буду обкрадывать, я не ничтожество Розенпуп.

Монькин оживился.

— Это вы правильно говорите. Настоящее ничтожество! Он смеет еще кричать всем критикам, что я пачкун. Он же ничего не понимает в живописи. Он так отстал, что на него смешно глядеть. Да, теперь нужно пачкать, нужно кидать краску, чтобы чувствовалось мясо, а он не пишет, он рисует, он смехотворный выскочка. Он отбил у меня торговца: «поглядите, Монькин не думает над картинами». Но спросите того же торговца, он первый вам скажет: «теперь думать вовсе не нужно, нужно, чтобы в каждом сантиметре дрожал кусок».

Лазик горячо поддержал Монькина:

— О Розенпупе не стоит говорить. Это пустой сантиметр. Я же с детства разделяю ваши тезисы. Но мы с вами не будем ссориться. Можно, кажется, разделить мир между двумя безусловными знаменитостями. Я не говорю о пустых бутылках или об яблочном пюре. Это мы оставим Дрекенкопфам. Но вы возьмете себе мясо и капусту, и тарелки, и все, что захотите, а я буду класть только кроличьи бананы, потому что в этом я совершенный спец. А теперь идемте ка спать — я что-то устал от этой чувствительности.

На следующее утро Монькин показал Лазику свои произведения:

— Ну, поглядите на этот холст. Здесь все течет одно из другого.

Лазик прищурил один глаз, потом другой, и с видом знатока процедил:

— Симпатичная картинка. То есть, я хотел сказать, что это гениально, как Зевс. Это так содрогаются, что трудно глядеть натошак. Каждый кусок прямо лезет в рот. Скажите, где вы достали такие чудные котлеты, чтобы они перед вами позировали?

Монькин удивился:

— Это же не котлеты. Это мой автопортрет. Впрочем, разве в сходстве дело! Сходство теперь не в моде. Я беру одни кусочки. Я их оживляю. Понимаете? Сейчас я начал натюр-морт с уткой. Вот полюбуйте, какой сочный холст: утка, морковь, на фоне оливкового бархата. Я только боюсь, что утка сделана чуть-чуть сухо.

Лазик, взглянув на картину, быстро спросил:

— А где же живой оригинал?

— Вот там на столе. Ну, мне надо торопиться. У меня не осталось ни су, а натошак не идут никакие мысли. Пойду ко всем торговцам, попробую всучить кому ни будь этот автопортрет, хоть за пятьдесят франков. Негодяй Розенпуп, он завалил все галереи своей дрянью.

Вы можете остаться. А если вы уйдете, положите ключ под дверь.

Лазик остался. Наса два или три он честно ждал возвращения Менькина.

Менькин вернулся только под вечер. Он нашел ключ, как было условлено, под дверью. На столе лежала записка:

— Дорогой Мосье Менькин, честное слово, я не виноват! Вы же сами сказали, что натошак не идут мысли. Я каюсь, как я не каялся на докладе. Но я спрашивю вас: почему вы меня оставили с ней вдвоем? Я долго боролся. Кто знает, сколько раз я подходил и отходил! . . . Потом, я увидел керсинку и даже кастрюлю. Вы, конечно, простите меня. Вы, ведь, ее уже немножко нарисовали, а кусочки вам придут в голову. Вы же не какойнибудь жалкий Розенпуп. Морковь я тоже взял, потому что без гарнира невкусно. А оливковый фон я вам оставил целиком. Я клятвопреступник и достоин оплевания. Но с аппетитом не шутят. Когданибудь я отплачу вам с процентами. Я подарю вам всех торговцев мира, а пока что цветите, как первая знаменитость и не вспоминайте меня какимнибудь лихом. Я ваш компаньон Лазик Ройтшванец. P. S. Вы напрасно ее оклеветали, что она сухая. У нее на задочке был такой жирок, что я еще сейчас лижу губы».

Прошло две недели, и все в «Ротонде» уже знали Лазика. Он заставлял американцев, приходивших поглядеть, «как живет парижская богема», угощать его сэндвичами или же сосисками. Держался он независимо:

— Вы потом расскажете в вашей Америке, как вы охотились за знаменитым Ройтшванцем. Вы не видели моих зеленых кроликов и вы их не увидите, потому что я живу, как монах, для искусства. Что вы понимаете в сочных сантиметрах? Как будто я не вижу, что вы на меня смотрите прямо таки неживописными глазами.

Американцы робко возражали:

— Мы были в Лувре... Мы видели Джоконду...

— Мне неловко сидеть рядом с вами. «Джоконда»!.. Но ведь это бутылка, и это сделал мой самый последний ученик.

Лазик быстро усвоил нравы «Ротонды». Он умел теперь пугать новичков, одалживать с нахрапу франк и подкидывать пустую чашечку; зазевавшемуся соседу. Правда, Розенпуп и Монькин были безвозвратно потеряны. Что же, он подружился с Ленчуком. Он сумел опередить Монькина:

— Сейчас придет этот вор, который крадет все у Ленчука и он скажет, что я у него украл, с больной головы на здоровую, живописную утку. Но он сам в это не верит и он крадет у первого попавшегося овой собственный портрет.

Художники недоумевали: откуда он взялся, этот Ройтшванец? Что он делает? Лазик отвечал уклончиво: адрес — секрет, все скоро выяснится, а за будущее он спокоен. Некоторые говорили: «просто жулик», другие возражали: «нельзя так завидовать чужому успеху». Они уверяли, что кто-то видел картины Лазика и чуть не рехнулся от восторга: вот где настоящая живопись! Куда тут Монькину или Розенпупу!

Слава Лазика росла. Жил он впроголодь, но, удив у одного датчанина, расстроганного величием искусства, двадцать франков, немедленно заказал визитные карточки: «Лазарь Шванс. Артист - художник».

— Шванс — это звучит по парижски, это коротко и вежливо. Например: «мерси, мосье Шванс». От этого можно заплакать.

Карточки вместе с гордой осанкой сделали свое дело. Как то в «Ротонде» к Лазикку подошел господин весьма прилично одетый и, приподняв котелок, сказал:

— Вы — Мосье Шванс? Не так ли? Я о вас много слышал. Я ведь часто захожу в «Ротонду» выпить аперитив. Я живу здесь рядом. Мой магазин унитазов вот там, за углом. Я хотел бы переговорить с вами. Дело в том, что в нашей отрасли теперь кризис, а я все время только и слышу, как богатеют продавцы картин. Мне говорили, что один торговец платил художнику по двадцать франков за картину. Художник умер, и теперь каждая картина стоит сто тысяч. Вот это значит — пустить капитал в оборот. Мне еще говорили, что здесь все художники быстро умирают и это, конечно, торговцам на руку. Вот я и решил немного заняться искусством. Я ищу молодой талант, чтобы рискнуть. О вас говорят, что вы загадка. Это мне нравится. Потом, у вас, простите меня, сложение не богатырское, так что я вправе рассчитывать, что вы, упаси вас боже, очень скоро умрете.

Лазик заметил:

— Да, я тоже так думаю. Ройтшванец, или по здешнему, Шванс — фейерверк, и он моментально сгорает. От меня уже мало осталось — только аппетит, философия

и два-три постыдных анекдота. Но что же вы мне предлагаете?

— Я предлагаю вам подписать контракт на всю вашу жизнь. Вы должны изготавливать в месяц пять картин и сдавать их мне. Я вам буду платить по пятидесяти франков за штуку. Но раньше всего я хочу поглядеть на ваши работы.

— Последнего я не понимаю. Как будто вы не знаете палитры Шванса? Прочтите на заборах! Это не холст, а чувствительность, так что все парижские дамы плачут, как у иерусалимской стены, хоть перед ними зеленый кролик или даже ваш автопортрет. Сходство — это позапрошлый скандал. Я ни минуты не думаю, я только теку сам из себя и я пачкаю, как самый гениальный пачкун. Возьмите миллиметр — его же нет, это арифметика, а у меня он живет, он трепещет, он уже кусок в золотой раме. В это время, представьте себе, раздается мой предсмертный кашель. Вы плачете, вы даете мне касторку, вы кричите: «Шванс, не умирай». Но я вежливый оригинал, и я отказываюсь от вашего совета, я умираю. А у вас на руках целый холстяной завод. Вы сразу становитесь Ротшильдом. Это же не глупые унитаза!

— Я понимаю, что вы не хотите показывать ваших работ другим художникам. Но мне вы можете их показать. Право же, я заслуживаю доверия. У меня здесь семнадцать лет магазин. Вот моя визитная карточка: «Ахилл Гонбюиссон».

— Мосье Ахилл, если вы так настаиваете, я скажу вам, что со мной случилась маленькая неприятность. У меня были деньги. Я каждый день ел уток, и я катался в автомобилях через площадь, и я заказывал себе разные карточки, вроде этой. Но потом, деньги случайно закончились, я скрепил мое сердце, я сжал зубы, я понес в мешке все драгоценные картинки и я их заложил у одного торговца рыбьим жиром за жалкие пятьдесят франков. Это же может случиться со всяким, и с Монькиным и с самой Джокондой. Вы мне даете уже за одну штуку пятьдесят франков, чтобы перепродать ее после моей

безусловной смерти ровно за сто тысяч, а там лежат сто штук и стоит мне отнести этому рыбьему иску пятьдесят франков, как вы сможете плакать перед всеми шедеврами.

Ахилл Гонбюисон покряхтел, повздыхал и дал Лазик пятьдесят франков.

— Вот, распишитесь. Что поделаешь — кто не рискует, тот и не выигрывает. . .

Вечером Лазик разыскал в «Ротонде» Монькина.

— Я же написал вам в той самоубийственной записке, что вы получите сторицу. Во первых, вот вам адрес замечательного торговца. Вы не смотрите, что в окне белое неприличие. В душе у него живописный восторг. Вы сможете продать ему даже вашу автопортретную котлету, потому что я давно не видел такого стопроцентного дурака. А во вторых я сейчас поведу вас в роскошный ресторан и там вы получите какую угодно утку с полным гарниром.

Выпив в ресторане стакан вина, Лазик заплакал:

— Я плачу от красоты! Если на свете существуют, скажем, эта Джоконда и сын Зевса, и вы с вашим портретом, то можно ли не плакать? Я ведь в душе настоящий художник. Сколько раз я мысленно рисовал глаза Фенички Гершанович на фоне гомельской сирени! Уж кто-кто — чувствительный, это я. Я сегодня увидел в одном кафе девушку и я чуть не попал под арабский автомобиль. У нее были глаза до ушей, и губы, как флаг, который я храбро носил в мои счастливые дни. Вы не знаете ли кстати, кто она? Потому что я сейчас решил: я или поцелую ее или умру. Вы же видите, сколько у меня чувства! Я сейчас швыряю краски и она уже дрожит в моей голове. Да, все это так, только что со мной будет завтра? . . Хорошо умереть от любви, но не от шведской гимнастики., а у этого унитаза вместо рук пулеметы.

На следующее утро Лазик решил сидеть дома и к «Ротонде» не подходить за версту. Но вспомнив глаза прельстившей его особы, он не вытерпел:

— Я пойду на ципочках и я буду все время нырять в подъезды. Пусть я умру, но я хочу увидеть ее перед смертью.

Увы, он увидел не ее, а мосье Гонбюиссона.

— Вы меня обманули!..

— Спрячьте, пожалуйста, ваши пулеметы! Что я могу сдѣлать, если они пропали? Я больше потерял, чем вы. Возьмите карандашик и сосчитайте. Вы потеряли пятьдесят, помножим на один — пятьдесят, а я сто, помножим на пятьдесят — пять тысяч. Вы видите? И я все-таки его не убил, так что положите пулеметы во внутренние карманы. Я плакал всю ночь, у меня распухли глаза. Может быть, я к вечеру поправлюсь и тогда моментально сделаю вам десять полных шедевров, но, конечно, у меня нет ни холста, ни красок, ни кролика, чтоб он мне безусловно позировал. Если бы вы еще раз рискнули... .

— Дудки!.. Вы думаете, если вы по карточке артист, а я продаю унитазаы, то вы будете водить меня за нос? Я вас могу отвести в префектуру. Я вас могу раздавить на месте. Видите эти руки? Но я сделаю последнюю пробу. Я дам вам холст, краски, модель... . Работать вы будете у меня. Под замком. Поняли?

И, сказав это Ахилл Гонбюиссон повел трепещущего Лазика к себе.

— Кого вы хотите писать? Мужчину? Женщину?

— Нет. Это позапрошлый сезон. Я пишу только мясо. Одним словом, я хочу писать кролика, но чтоб он был не в болванском меху, а уже окончательно зажаренный.

Ахилл Гонбюиссон вскоре принес холст, краски, кисти и большого кролика. Он ворчал:

— Выдумщики, эти артисты!.. Вот, едва нашел в колбасной. Знаете, сколько он стоит? Восемнадцать франков!

Ахилл Гонбюиссон запер Лазика и ушел. Лазик поглядел в окно: нет, отсюда не прыгнешь, это почти что научная башня.

Вспомнив назидания Монькина, он стал пачкать красками холст, но краски пачкали, главным образом, его руки. Кисти вскоре поломались. Ничего не получалось — ни собственного портрета, ни кролика.

— Сейчас он меня убьет. Это последние минуты приговоренного Ройтшванца. Что же, если мне предстоит такая смерть, я хоть скушаю напоследок этот жаренный банан.

Он предался неизъяснимому блаженству. Когда пришел Ахилл Гонбюиссон, от кролика оставались только тщательно обглоданные косточки. Ахилл Гонбюиссон прорычал:

— Где картинка?

— Ой, прощай моя родина! Прощай, матушка-Гомель! Где картинка? Ее еще нет. Во-первых, она могла не выйти. У нас в Гомеле был фотограф Хейфец, он снимал за шестьдесят копеек даже двоих и в венчальном платье, но у него часто ничего не выходило. Это как на дикой охоте — бывают промахи.

— Скотица! Жулик! Бери кисти и мажь! Гляди на модель!

Очень кротко, задушевно Лазик промолвил:

— Его уже нет. Что вы меня трясете? Я же не вытряхну из себя сто картинок!.. Торгуйте вашими единицами, но оставьте меня в покое. Ой, как мне больно!.. Я не художник, чтобы сидеть и пачкать материю, я честный портной. Только не деритесь! Я могу вам перелицевать брюки. Я сейчас умру... Вы думаете, вы из меня выжали картинку? Злодей? Это — кролик, единственный кролик за всю мою страдальческую жизнь!..

«Ротонда» была вытоптана, как луг стадом кочевника. Американцы перестали даже оборачиваться на Лазика. Увидев его издали, завсегдатаи кричали: «франка, положим, не будет». Лакеи требовали деньги за кофе вперед. Напрасно Лазик уверял, что огромный синяк на его лбу носит спортивный характер:

— Я участвовал в гонках, пятьсот миллиметров в один час и арабка таки перевернулась на спину.

История о том, как он сожрал кролика у Ахилла Гонбюиссона обошла весь квартал. Друг Монькина Шпритц нарисовал карикатуру: «Рождение Венеры». Он изобразил Лазика голым, в синяках и в кровоподтеках среди морской пены. Лазик стоял в фаянсовой раковине изделия Ахилла Гонбюиссона, стыдливо прикрываясь, а сверху на него сыпались дары земли: курицы, утки, кролики. Лазик не обиделся, он только заметил, восстанавливая истину:

— Те штуки были совсем другой формы. Впрочем, дело не в сходстве.

Карикатуру повесили в «Ротонде», и один американец купил ее у Шпритца за сто франков: на память о самом типичном посетителе «Ротонды». Лазик попробовал вмешаться и попросить сэндвич, но был с позором отогнан,

Когда все возможности были потеряны и предстояла голодная смерть под одним из тех заборов, на которых должны были значиться победоносные имена

Розенпупа или Монькина, пришло неожиданное избавление. Луи Кон, известный в светских кругах Парижа, как сноб, гурман и ловелас, увидев Лазика у витрины жалкой колбасной, приютил его, более того, он сделал из грязного оборванца своего личного секретаря. Лазик щеголял теперь в широчайших штанах, вздыхая:

— Это изведенный материал на троих.

Он ел в лучших ресторанах и катался в сорокасильном лимузине. Его портрет был напечатан в журнале мужских мод «Адам» со следующей подписью: «М. Лазариус Шванс, наш молодой гость, полесский принц, друг М. Луи Кона». Лазик портрет вырезал и положил его бережно в карман, где хранилось изображение португальского бича.

Однако, прежде чем говорить о новой службе Лазика, я должен остановиться на неизвестной особе с яркими губами, благодаря которой ему пришлось ознакомиться с тяжелой рукой Ахилла Гонбюиссона. Каждый вечер она сидела в маленьком кафе напротив «Ротонды» и каждый вечер Лазик стоял у двери, чтобы еще раз взглянуть на ее черезчур длинные глаза. Мадемуазель Шике его, разумеется, не замечала. Один раз, выйдя из кафе, шатаясь от коктейлей, она приняла его за грума:

— Позовите такси!

Взволнованный дивным голосом, Лазик не двигался с места. Она его подтолкнула зонтиком, а когда он, наконец, позвал автомобиль, дала ему франк. Лазик швырнул монету в оконце автомобиля:

— Купите себе на всю эту сумму какуюнибудь орхидею, потому что я люблю вас сильнее, чем я любил Феничку Гершанович!

Когда судьба Лазика резко переменилась, первым делом, отпросившись у Луи Кона, он направился в заветное кафе. Он сел за столик рядом с мадемуазель Шике и заказал бутылку шампанского. Весь вечер он не сводил с нее глаз. Девушка, наконец, не выдержала:

— Что вы на меня смотрите, как кот на сметану?

— Нет, ни один кот не может так смотреть. Даже я,

когда у меня был покойный аппетит, даже я не смотрел так ни на сметану, ни на печенку в сметане, ни на кролика. Вы меня не узнаете? Я три недели стоял у этих дверей без дыхания. Я еще подарил вам ваш франк на орхидею. Интересно, какой цветок вы тогда себе купили? Конечно, на один франк нельзя сделать настоящее цветочное подношение. Но третьего дня я неслыханно разбогател, потому что какой то болван нашел во мне темперамент, и завтра я вам куплю анютиных глазок на целую тысячу франков, только позвольте мне еще десять минут посмотреть с отчаянием на вас.

Мадемуазель Шике оживилась:

— Чудак!.. Хотите танцевать?

— Ни за что! Я знаю все эти прыжки наизусть, но у меня нет сейчас научного подхода. Я боюсь, что я зайду не туда, как товарищ Серебряков.

— Ну, как хотите. Можно, я к вам подсяду? Вы что пьете? Шампанское?

Они чокнулись. Лазик выпил бокал залпом. У него кружилась голова от вина и счастья. Мадемуазель Шике щекотала его локоном:

— Вы совсем дитя.

— Я дитя? Вы, конечно, уничтожаете меня сарказмом. Если мне даже тридцать три года, то я еще не старик. Настоящие страсти вовсе не у молодых скакунов с горячими глазами. Нет, в двадцать лет человек все равно бесплатно горит. Он горит от любви, или от какогонибудь классового идеала, или просто от высокой температуры. Но, спрашивается, сколько у него чувств в эти двадцать лет? Охалка, две охалки, и они моментально сгорают. Что остается? Искорка. И вот проходят годы, и эта искорка вдруг вспыхивает. От нее бывает такой мировой пожар, что не успеешь крикнуть «караул», как уже сгорает все сердце

— Я тоже люблю мужчин постарше. Они требовательней, зато они понимают, что им дают. У тебя навверное тонкий вкус. Расплатись и поедем.

Лазик ничего не соображал. Он едет прямо к ней!

А где орхидей? Он должен сейчас танцевать от восторга. Один? Да, один! Почему нельзя? Ее зовут Марго. Вот это имя! Она наверное Венера, которая сбежала ночью из американского Лувра. Зачем он пил шампанское с искрами, когда он и так сходит с ума? Арабка, не тряпись! Что она делает? Она целует его в ухо! Вы понимаете: в ухо Ройтшванца, в это жалкое гомельское ухо дышит сумасшедшая богиня! Лестница? Хорошо, он поднимается. Он будет реветь от счастья, как антилопа. Нельзя реветь? Спят? Кто может спать, когда уже землетрясение?

Войдя в комнату, Марго упала на диван и стала истерически хохотать.

— Я сейчас умру от смеха!.. Я еще никогда не видала такого чудака!..

А Лазик благоговейно говорил:

— В этом раю я буду ходить только на цыпочках.

Насмеявшись, Марго деловито сказала:

— Цветочное подношение ты сделаешь не завтра, а сейчас. Это вернее. Мы ведь пили шампанское. Ты не понимаешь? Но ты ведь сам мне сказал... Тысячу. Да, да! Я тебя не знаю. Не хочешь? Тогда можешь убираться. Я не знаю, к каким порядкам ты привык, но у меня полагается до. Понял?

— Что за обязательная афиша? Конечно, если выдумать сто церемоний, то вообще можно перестать жить. Я вам скажу, что набожный еврей должен перед тем, как он поспит с женой, вымыть руки и после этого снова вымыть руки. Перед, потому что ему предстоит настоящее богоугодное дело, а после, потому что он, конечно, делает богоугодное дело, но ведь он трогает такую небогугодную вещь, как скажем, совершенно голый живот. Это очень тонко придумано. Но что же получается в итоге? Вместо самой великой любви, какой-то сплошной рукомойник. Вы ведь не соблюдаете обрядов. Почему же вы меня мучаете разными «до» и «после»? Хорошо, я дам вам эти бумажные орхидей, но не терзайте мое скачущее сердце постыдной бухгалтерией.

Спрятав деньги, Марго стала раздеваться.

— Малыш! Идем спать.

Тогда Лазик окончательно протрезвел:

— Одно из двух: или вы сбежавшая Венера или вы стопроцентная марксистка и посещали лекции товарища Триваса. Что значит «идем спать», когда я дорожу розовыми предпосылками? Я хочу с вами порхать, и щебетать, и говорить о любви, и петь вам колыбельные песенки, и носить вас на руках, как тихую былинку, и умереть от того, что это не жизнь, а рай. И вот вы предлагаете мне голые функции. Но вы же не госпожа Дрекенкопф! Ваше имя уже благоухает, не говоря о губах. Если вам хочется спать, спите. А я буду сидеть в этом кресле и заслонять вас ладонью от ветра, чтобы он не развеял мой предпоследний идеал.

Марго махнула рукой:

— Чорт с тобой — сиди! Очень ты мне нужен? Блоха!

Ее мутило от вина и от усталости. Приняв горячую ванну, она легла и быстро уснула.

Лазик сидел и вздыхал. На земле нет справедливости. Нюся сказала ему, что он клоп. Марго спустила его на блоху. Разве в росте дело? Его любовь такая великая, как научная башня. Но они этого не понимают. Если в Лувре стоит какая-то Венера, американцы ведь не хватают ее пальцами. Они платят за вход, и они плачут от счастья, что они в одной комнате с этим безусловным камнем. Хорошо, пусть я блоха! Но я не буду сразу лезть в небесный пейзаж со своим кустарным производством. Я буду лучше чувствовать, что я сижу рядом с ней. Я буду глядеть на это ослепление...

И Лазик взглянул на спящую Марго. Тогда раздался писк, полный отчаяния:

— Умоляю вас, скорее проснитесь! Вас обокрали! Это какой-то мистический туман! Где ваши длинные глаза? Где ваши первомайские губы? Где ваши брови, черные, как мой страх? Или это я ослеп от новобрачного ожиданья? Ответьте мне скорее, не то я созову весь

дом, чтоб они меня посадили в сумасшедшую клинику!

Марго терла глаза и перепуганно смотрела на Лазика. Сообразив, наконец, в чем дело, она стала ругаться:

— Проходимец! Босьяк! Ты недаром выклянчивал франки. Ты думаешь, если ты украд у кого-нибудь тысячку, ты можешь себе все позволить? Что я манекен? Я должна с тобой петь детские песенки? Идиот! Ты думаешь, что я буду спать намазанная? А что станет с моей кожей? Скотина! Ты хочешь, чтоб я себя изуродовала за тысячу франков? Подлец!

— Тсс! Остановитесь в списке! Я уже понял. Значит, вы сочный холст, и каждый сантиметр гудит. Вас, наверное, пачкает Монькин, потому что у него самая богатая палитра. А ночью вы — как госпожа Дрекенкопф. Вся разница в том, что клетки теперь у меня. Какой ужас! Вы ведь, как моя тетя. Но она торговала в Глухове яйцами. А вы? Чтобы женщина в таком почетном возрасте стояла бы на подрамке и чтоб ее кололи кисточкой, и чтобы потом она прыгала в кафе, как угорелая девченка, ради одного подлога, но ведь это же не гомельская пенсия инвалиду труда, а только бездушный хохот из Мефистофеля!

Едва Лазик успел закончить свою трогательную речь, как в него полетели различные предметы. Взбешенная Марго не колебалась в выборе снарядов. Осколков горшка расшиб. нос Лазика.

Спускаясь по лестнице, Лазик старался не вздыхать: они ведь спят среди землетрясения. Но было уже утро, привратница остановила его:

— Откуда вы идете? Почему у вас на лице кровь?

Лазик попытался резонно объяснить ей, в чем дело:

— Последнее время меня преследуют изделия этого Ахилла Гонбюиссона. Что делать — от своей судьбы не ускачешь. Теперь господин Луи Кон будет меня ругать — я ведь испортил его трехспальные штаны, не говоря уже о носе. Но, если вы не спите, я громко вздохну. Я вздохну не из за носа. Нос привык. Я вздохну, как

философ, потому что произошло полное раздвоение, и я не знаю, с каким воспоминанием мне жить? С одной стороны — Венера, а с другой — инвалид труда, и все вместе — это моя любовь на пятом этаже слева, которая еще живет и трепещет. Вы, мадам, похожи на мою проклятую судьбу, у вас даже метла наготове. Скажите мне просто, что такое жизнь, и любовь, и погасшие звезды?

Увы, привратница, вместо высокой философии, прибегла к не добру помянутой метле.

Господину Луи Кону было двадцать восемь лет, но он отличался мудростью и широтой взглядов. От отца, фабриканта овощных консервов, унаследовал он круглую сумму. Он стремился истратить ее весело и непринужденно. Он любил, чтоб об его странностях писали в хронике светских газет. Лазик сменил злополучного лангуста, которого Кон таскал за собой на цепочке по Елисейским Полям.

— Ах, вы русский? Вы, наверное, большевик. Это хорошо. Мы задыхаемся среди академизма. Я знал Расина уже в колыбели. Третья республика — это царство мелких лавочников. Вы будете для меня зовом с востока. Ведь в ваших глазах горит революционный мистицизм. О, как бы я хотел увидеть вашу Красную Площадь, когда китайцы присягают Шарлю Марксу, а женщины в шароварах исполняют полонецкий танец! Я обожаю неожиданность, джаз-банд, революцию, синкоп! Недавно я ужинал у виконтессы Писстро, и там я неожиданно, после фазана вытащил из кармана красный флаг. Я выкинул его перед всеми изумленными академиками. Об этом даже писали в «Фигаро», как о злой шутке. Но это далеко не шутка. Парламент меня боится, потому что я, Луи Кон — коммунист.

Лазик совсем растерялся:

— Ужасно трудно путешествовать, когда не знаешь готовых оборотов. Дождь, конечно, повсюду дождь. Но вот с политикой будет похуже. Я бы сказал по виду, что

вы — наоборот. Но если у вас здесь такая дисциплина, тем лучше. Я был в Киеве кандидатом и там я сорвался, но здесь я, наверное, пролезу. Как будто я не сумею выкинуть флаг после фазана! Скажите, значит у вас нет контрольной комиссии? И вы можете танцевать, заходя куда угодно ногой? И вас не заставляют целый день заполнять анкету? Но тогда запишите меня скорей в эту замечательную ячейку!

— Фи! Как же можно входить в какую-то партию! Ведь это значит соприкоснуться с чернью. Это все равно, что ездить в трамвае. Я — духовный большевик. Я люблю все, что идет с востока. Скажите, кстати, вы не буддист? Жаль! У меня в столовой Будда пятого века. Вы могли бы перед ним молиться. Я ведь никогда еще не видел, как молится живой буддист. Это должно быть очень пикантно. Ах, вы еврей? Это неинтересно. Это религия мелких лавочников. Тогда знаете что — примите католицизм. Я обожаю культ Святой Розы. Конечно, идея бога это для тех, кто ездит в трамвае. Но ведь остается образ непорочного зачатия, мистические пророчества, туман. Наконец, что делать — это модно. Не стану же я теперь ходить в узких брюках или в длинном пиджаке! Словом, в ближайшее воскресенье я буду вашим крестным отцом, а виконтесса Писстро вашей крестной матерью.

— Если в этом — вся моя служба, пожалуйста. Я — настоящий двадцатый век, и после фазана я могу даже помолиться перед вашим пикантным Буддой, если вы только напишете мне заранее все слова. Вы обязательно хотите, чтоб я влез в этот непорочный туман? Я влезу. У вас, кажется, это проходит без особых операций, и я понимаю, легче, чтобы меня выкупала в мистической воде эта моя виконтессная мама, чем, чтобы, скажем, вас обрезали мелкие лавочники. Точка. Я уже большевистский католик. Теперь, скажите, что я должен в точности делать, как ваш ученый секретарь?

— Не говорите так громко и так быстро. У меня сделается мигрень. Вы должны говорить так, чтобы все

чувствовали, что вы между двумя словами готовы умереть от безразличья. Это гораздо вежливей. Только изредка, когда я буду кивать головой — вы можете проявлять ваш восточный темперамент. Среди ваших обязанностей одна из первых — обедать со мной.

Лазик просиял, но так как Луи Кон не кивал головой, он превозмог свои чувства. Они поехали в ресторан. Мэтр д'отель, который, видимо, хорошо знал Луи Кона, сразу записал: «лапша на воде и яблочное пюре». Потом он спросил:

— Что будет есть господин?

— Вот этим мы сейчас займемся.

Луи Кон изучал карточку не менее часа. Лазик изо всех сил пытался удержать обильные слюнки. Наконец, обед был заказан.

— Мой друг, вы приобщаетесь к великому искусству. Я не буду развивать вам философской системы Саварена. Но что такое вся эстетика, поэзия, мораль, чарльстон, синкоп, вторая реальность, граф Лотремон, наконец, моя усмешка? Это только достижения поваров. Четыре года тому назад мне подали в ресторане «Пе-де-Нон» пулярдку мэтра Эмиля. Она была фарширована дичьей печенкой с трюфелями и апельсинами, под соусом из хереса шестьдесят третьего года, и в ее окружение входили доньшки артишоков по тулузски, то есть в белом вине, со взбитыми яйцами. Я помню этот день, как поэму революции, как первый аккорд Стравинского, как облатку святой евхаристии. Я изучил все блюда Франции и я мог стать первым знатоком хотя бы перигорских паштетов. Но, увы, мы все из рода Конов отличаемся деликатным телосложением. Я заболел гастритом, энтеритом, нефритом, артритом, подагрой. Я могу есть только лапшу на воде и яблочное пюре; вместо вина — минеральная водица. Я страдаю, как ослепший живописец, ведь я хорошо помню вкус любого соуса и я никогда не ошибусь в годе «Лафита». Что же, я решил углубить эти муки. Я буду кормить вас самыми изысканными явствами, я буду наслаждаться вашим востор-

гом неопита нюхать омара или камамбер и объяснять вам всю торжественность каждой минуты. Я превращу ваши обеды в богослужение. Что вам подали? Маренские устрицы?? Не глотайте! Медленно жуйте! Это говорит с вашим небом Атлантика. Глоток Шабли. Оно полно осенней сухости и свежести. Утренний холодок тронул грезды. Вы слышите легкий привкус дробли? Сейчас вам подадут пятнистую форель, а к ней сухое Вувре 21-го года. Оно молодое, но в нем цветы Луары, в нем смех Рабле, в нем...

Лазик больше не слушал Кона. Четно поглощал он все, что ему приносили лакеи. Но после шестого блюда он не выдержал. Отодвинув тарелку с фазаном, он вежливо поблагодарил, как метр д'отеля, так и Кона.

— Мерси. Это странно, но аппетит тоже кончается. Теперь мы можем поговорить с вами о чемнибудь очень высоком, например, об этом половецком синкопе; я тут что то не понял. Почему у вас сначала идет Красная Площадь, а потом вдруг оказывается непорочное зачатие? У нас в Гомеле вас бы за это не погладили по головке.

— Мода, друг мой, мода. Истинная свобода состоит в подчинении. Те, что ездят в трамваях, подчиняются пошлой морали, а мы, избранные, подчиняемся моде. Теперь надо быть слегка большевиком, слегка католиком. Это неуловимые нюансы, как перец, мед, пикули и мараскин в соусе «Клеридж». Не стану же я танцевать уанстеп или играть в крокет, когда теперь модны блекботом и гольф. Но напрасно вы отодвигаете тарелку: я ведь только вхожу во вкус, вам предстоит еще девять блюд. Этот фазан пахнет, как пророчества Нострадамуса. Он пахнет сладостным разложением всей латинской культуры. Я ручаюсь, что они его выдерживали не менее недели в тепле. Он постепенно приобретал этот «букет». Понюхайте! Вы слышите дыхание смерти, мифологических грибов, рокфора, тысячелетнего сна?

Лазик осторожно понюхал птицу и взвыл:

— Я теперь понимаю, почему вы начали после фа-

зана выкидывать разные флаги! От такого аромата вообще легко умереть. По крайней мере со мной уже начинается этот половецкий синкоп. Вы знаете, чем это пахнет? У нас в Гомеле выезжает одна нахальная бочка и. . .

— Замолчите! Возьмите лапку! Вы обязаны. Не забывайте: вы мой личный секретарь. Глоток «Шамбертена». Это 91-й год. Он обволакивает — вы слышите? Он слегка вяжет душу. Он горячит. Это земля Бургундии, не юг и не север, сердце культуры, двадцать веков, потом разрыв, затмение, бездна, синкоп, и вот в последнюю минуту две-три замшенных бутылки. . .

Лазик еле дышал. Его лицо стало сперва багровым, потом фиолетовым. А лакеи все меняли тарелки и бокалы, готовя новые пытки. Лазик покорно ел и пил: что делать, если это его служба! Он уже ничего не видел. Ему казалось, что на блюдах лежат Будды, синкопы и двадцать латинских веков. Вдруг что то ударило его в нос, как нашатырный спирт. Кон вдохновенно шептал:

— Это сыр — «Ливаро». Его держат несколько лет в золотом навозе. . . Там он бродит, как отчаянье. Он становится ароматным и щемящим сердце. Нюхайте его! Нюхайте скорее!

Все плыло перед Лазиком. Ему почудилось, что сыр вертится. Он поглядел на бутылки — они кланялись. А Кон? Кон кивал головой. Вот что! . . . Значит, теперь он свободен! . . . Лазик вскочил и в восторге закричал:

— Заберите сейчас же отсюда эту бочку!

Напрасно Луи Кон пытался его успокоить:

— На нас все смотрят. . . Это неприлично.

— Пусть смотрят. Зачем вы меня поили? И что это за выходки? Вместо порядочных битков, дать человеку тридцать раз синкоп с запахами! Если он не заберет эту гомельскую мадам подальше от моего носа, я ее брошу в какуюнибудь виконтессу. Ну да, я пьян. А что вы думаете? Можно не быть пьяным после таких обволакиваний? Я сидел спокойно, но вы кивнули головой и тогда начался мой темперамент. Вы не кивали? Тогда это Шам-

бертен кивал. Одним словом, ведите меня скорей, и прямо к цели!..

Первый опыт не удался, но Луи Кон не отчаивался: у этого лилипута чудовищный темперамент. Два дня спустя, он повел Лазика в «Институт Красоты». Увидев кресло с винтами, ланцеты, банки, флаконы, электрические аппараты, Лазик упал на колени перед массажисткой:

— Ради, скажем, Будды, пощадите Ройтшванца! Что вы хотите со мной делать? Вырезать кусок здоровой кишки или сразу убить меня лампочкой, как в замечательной Америке?

— Не бойтесь. Сначала мы разгладим некоторые морщинки. Это совершенно безболезненно. У нас четыре тысячи свидетельств. Сядьте сюда. Откиньте лицо. Забудьтесь!

Лазик сел. Он попробовал забыться. Но, куда тут! Ведь его переделывали, как безответственный скруток! Хорошо, пусть они разглаживают морщины каким-нибудь утюгом. Посмотрим, что из этого выйдет. Как будто можно стереть все его несчастье — от мадам Пуке до уборной ресторана «Пе-де-Нон»! Трите, трите, все равно горе останется горем, и Ройтшванец — Ройтшванцом! Вы его не сделаете ни Буддой, ни Шамбертенном. . .

Вдруг Лазик вздрогнул от неприятной и достаточно знакомой ему боли. Массажистка теперь приплющивала его нос.

— Что вы хотите от моего придатка? Вы же не Ахилл Гонбюиссон. На нем вовсе нет морщин. Морщины — на лбу. Перестаньте! Он у меня не из гуттаперчи!

— Не волнуйтесь. Это очень легкая операция. Я приступаю теперь к укорачиванию вашего носа.

Лазик скатился с кресла. Кувыркаясь по полу в больничном халате, он вопил:

— Это вам не пройдет! Мой нос не брюки, и я объявляю полную забастовку. Он вовсе никому не мешает, чтоб его стричь. Я, кажется, не пихал вас моим носом, и я никого не пихал. Меня пихали. А может быть я хочу, чтоб он был длинным. Фамилию я обрезал, но это же

надстройка. Откуда вы знаете, может быть я когданибудь вернусь к себе на родину? Меня же никто не узнает с коротким носом, ни Пфейфер, ни Феничка Гершанович. Меня не узнает даже эта Пуке. Я не отдаю вам моей личности!.. Стригите ваши синкопы!.. Вот вам постыдный капот и до без всякого свидания!

Вечером, Луи Кон строго сказал ему:

— Мой друг, вы у меня уже пять дней, и я вами доволен. Вы не сделали никаких успехов в области гастрономии. В «Селекте», после одного коктейля, вы начали целовать бармана, хоть я просил вас ухаживать за мной, потому что это теперь модно. В «Институте Красоты» вы просто показали себя дикарем. . .

— Но ведь вы сами хотите от меня половецких штук.

— Не перебивайте!.. Вы манкируете обязанностями личного секретаря. Сейчас я подвергну вас последнему испытанию. Смотрите. . .

Луи Кон подвел Лазика к приоткрытой двери. В соседней комнате сидела молодая женщина совершенно голая. Лениво зевая, она курила папироску. Лазик деликатно закрыл глаза.

— Очень симпатичная особа. Я только советую вам следить за ней, чтоб она не украла у себя глаза или губы. Третьего дня я узнал, что такие штучки бывают. Но вы, конечно, опытный спец и у вас все будет, как в романе Кюроза. Я желаю вам вполне беспокойной ночи.

— Вы начинаете выводить меня из себя. У меня мигрень. Дайте мне порошки. Может быть, вы думаете, что я показываю вам ее для вашего удовольствия? Сейчас вы должны приступить к самой ответственной обязанности личного секретаря. Вы знаете, что мы — Коны деликатного сложения. Я славился моими победами. Увы, теперь я обречен на бессрочную диету. . . Словом, вы будете играть с моей новой подругой, а я буду глядеть на вас и переживать каждое движение. Я жажду чувственной боли. Поняли? . .

— Кажется, понял.

Лазик вежливо поздоровался с дамой:

— Я — Шванс. Личный секретарь. Пожалуйста, не стесняйтесь. Архип Стойкий, тот, например, совсем не стеснялся. Скажем, что вы сейчас загораете. И, вообще, я смотрю не на вас, а на потолок. Скажите, вы тоже вроде личного секретаря? А вы не должны каждый день нюхать этот нахальный сыр? Я вам скажу что то шепотом, он ведь сидит у двери: главное, не давайте укорачивать нос. Это полная пытка. Но что мы болтаем, когда мы должны работать. Я вот только не знаю, какие здесь игры, потому что у нас в Гомеле играют, скажем, в стуколку, или в шестьдесят шесть? Впрочем, я не вижу даже карт. . .

Выбежав, Лазик деловито спросил Луи Кона:

— Почему же там нет колоды?

Впервые Кон вышел из себя:

— Вы меня убьете!.. Мигрень. . . Не помогают даже порошки. Я, кажется, в вас ошибся. . . Где же ваш темперамент?.. Выпейте этот коктейль для храбрости... Теперь идите скорее к ней!.. Я больше не могу ждать! Как вы можете спокойно сидеть, когда рядом с вами голая девушка? Вы должны с ней резвиться!

Лазик задумался.

— Нечего сказать — проблема! Оказывается — не карты, потому что вы без шубы. Ну, да, вам наверное холодно сидеть на одном месте. Что же, будем резвиться. Я только не помню, как это делается. Кажется «в кошки и мышки». Вы прыгайте и я буду прыгать, но вы еще мяукайте, а я, например, залезу под этот диван и буду перепуганной мышкой.

Лазик исправно забрался под кушетку и стал там тихо пищать. Тогда Луи Кон не выдержал. Он сам вбежал в комнату:

— Идиот!.. Это — темперамент?.. О, если бы я мог!.. Сейчас же вылезайте! Выпейте еще коктейль. Выпили? Ну, а теперь за работу! Когда ненужно, вы показываете свои варварские повадки. . . Я вам приказываю!

ваю: покажите себя свободным дикарем! Делайте все, что хотите!.. Я умираю!.. Я жажду боли!..

— Что же, если вы киваете головой, после таких двух обволакиваний, я могу стать и нахалом. Во-первых, дорогая мадам, я вас умоляю, сейчас же наденьте на себя хотя бы купальные брюки, потому, что вы не Венера, а здесь не американский Лувр. Я, между прочим, влюблен в Марго Шике, хоть она инвалид труда, и сердце у меня уже занято. Но вы ведь наверное любите цветочные подношения, так вот вам полный бумажник этого синкопа и поезжайте себе домой. Это — раз. А вы, главный синкоп, ложитесь ка на диван вашим половецким лицом вниз и вы можете даже быть не как дома, то есть снять брюки, у меня есть хорошие подтяжки и я вам в два счета устрою такую чувственную боль, что вы начнете молиться перед каждым Буддой. Что? Вы не хотите? Но я должен быть дикарем? Хорошо. Вот вам в лицо — начнем с пепельницы. Теперь получайте эти орхидеи с горшком. Теперь я уже могу перейти к Будде, если он весит пять веков.

На звонок пришел лакей, седой и важный.

— Жак, вы будете временно исполнять обязанности моего личного секретаря. Сейчас вы останетесь с дамой, Но прежде всего выкиньте этого негодяя и поучите его хорошенько на прощанье. . .

Снова настали для Лазика черные дни. Он был и судомойкой в ресторане, и грумом в ярмарочном балагане, он вертел шарманку, он продавал китайские орешки; время от времени его арестовывали, били, потом выпускали.

Один раз его выслали. Доехав до бельгийской границы, он грустно вздохнул: «Начнется игра в мячик»... сел во встречный поезд и поехал без билета назад. По дороге его выкинули. Он продал костюм Луи Кона и вернулся в Париж.

Не раз, ночуя под мостом, он ругал себя:

— Идиот, почему ты тогда не доел этого вонючего фааана?..

Часто ходил он в еврейский квартал, на улицу Розье, когда бывали деньги, он пил там чай, ел рубленую селедку и вел философские беседы: о Талмуде, о госпоже Дрекенкопф, о большевиках. Там как то встретился он с гомельчанином. Выслушав рассказ о франкфуртских приключениях Лазика, Янкелевич воскликнул:

— Охота вам пропадать под мокрым мостом, когда вы можете жить, как Чемберлен! Я был в Лондоне, и я это знаю. У вас, кажется, на плечах голова, а не чтонибудь. Так поезжайте сейчас же в Лондон к мистеру Ботомголау. Вы выйдете от него благородным миссионером, потому что он первый великобританский болван. Как будто Монька Жмеркин не жил этими проповедями ровно четыре года!..

Что же, мысль была не плоха. Но как добраться до Лондона? Денег нужно не так уж много. Допустим, что он снова станет грумом, или обезьяной, или самим чортом. Он может, наконец, объявить на неделю «Иом-Кипур». Словом, деньги он наскребет. А паспорт? . .

— Паспорт вы можете получить в «Лиге Наций».

Вспомнив незабвенного пана ротмистра, Лазик смутился:

— Это же, кажется, «Лига» с небольшими побоями?

— Ничего подобного, вы положите на бочку сто франков и вы войдете в эту «Лигу», как самая благоприятная нация. Но, может быть, вам выгоднее стать румыном, потому что эти Чемберлены обожают румын, а за те же сто франков вы сможете стать восторженным бесарабцем и получить румынский паспорт с самой королевой на задку.

Не прошло и двух месяцев, как Лазик стоял перед мистером Ботомголау.

— Что вы хотите, брат во Христе?

— Я хочу подкрепиться. Я снова говорю совсем не то! Это от мистического смущения. Я хочу, наоборот, взять на себя торжественную миссию. Я еще не знаю толком, как это делается, потому что с Янкелевичем мы говорили больше о паспортах, но вы сейчас мне все объясните, и я выйду от вас с миссией в шляпе. Чем я хуже какого то Жмеркина?

Мистер Ботомголау сладко улыбнулся и улыбка эта успокоила Лазика: нет, Янкелевич не подвел его! Так не улыбался даже одноглазый Натик, на что уж тот был глуп.

— Скажите вашим братьям, что Израиль заблудился. Он дал миру ветхий завет, но потом он побивал апостолов камнями. Наша церковь — дочь синагоги. Пора блудному сыну вернуться в лоно! Мы встречаем прозревших иудеев с раскрытыми объятиями. Мы прижимаем их к сердцу. Наш дом — их дом. Святое Писание уже переведено на шестьсот семьдесят восемь языков и мы его распространяем повсюду. Пусть иудеи придут,

как желанные гости на пир. Вы знаете их нравы и обряды. Вы осторожно войдете в их доверие и вы их поведете на Христово празднество. Наш завет прост: святое крещение, любовь, воздержание от крепких напитков, целомудрие, воскресная тишина. Скажите им, пусть они торопятся. . .

С готовностью, Лазик ответил:

— Скажу! Обязательно скажу! А теперь перейдем к делу. Я вот только не знаю, как вас называть, потому что «брат» это уже черезчур. Мы, знаете, и лицом не похожи друг на друга. Может быть, я обойдусь одним «кузеном»?

— Называйте меня просто «мистер Ботомголау».

— Ну, чтоб это было очень просто для еврея из Гомея, я не скажу, но я перескочу через любые звуки. А вы меня, кстати, называйте «мистер Ройтшвенч». Так вот что, мистер Ботомголау, я буду все это говорить по знакомству, и меня будут слушать прямо таки, как Мойсея, я ведь главный франкфуртский раввин. Но вопрос не в том. Я, например, в Лондоне уже четыре дня, и я еще ни разу не обедал. Так я хочу сразу на ваш пир. Если у вас без вина, то это еще полбеды; во первых, можно зайти по дороге в бар, а, во-вторых, я признаю даже самый слабый напиток, например, чай с молоком. У меня при одном этом слове текут слюнки. Скорее жмите меня к сердцу и ведите в этот дом!

— Дитя, вы путаете небесные богатства с земными. У меня четыре дома и две фабрики, у меня небольшой капитал, но ядушой, может быть, беднее вас. А сказано: «блаженны нищие духом». Не забывайте, брат мой, духом! Поэтому, за себя я спокоен. Идите же скорее к заблудшим братьям и скажите им, что Мессия уже пришел. Они его не заметили. Это ужас! . .

Мистер Ботомголау заплакал. Лазик стал утешать его:

— Не выливайте столько слез! Это — бывает. Они не заметили, потому что они страшно рассеяны. Они в это время наверное кушали костлявую рыбу или даже

спали последним сном. Но я им скажу, что он уже пришел. Только ответьте мне без целомудренных намеков: вы мне дадите аванс или нет? Я же богатый духом, но без всякой фабрики. Интересно, как вы вообще платите: помесечно или поштучно, то есть за каждого блудного внука?

— Вы будете получать шестнадцать шилингов в неделю. Вот вам один фунт, чтобы вы корректно оделись. Теперь можете идти.

Лазик вежливо раскланялся. Уходя он, однако, вспомнил о главном:

— А где лоно?

— Какое, лоно?

— Да вы ведь сами сказали, что их нужно тащить в какое то лоно. Так дайте мне точный адрес.

Мистер Ботомголау только печально махнул рукой.

Лазик немедленно принялся за выполнение своих обязанностей. Он пошел в Уайтчепль. Нищета? Но разве он не видел на своем веку нищеты? И все же он ахнул, увидев темные трущобы, лохмотья и голодные лица обитателей этого квартала. Он даже, забыв об осторожности, вздохнул вслух:

— Нечего сказать, хорошенькая Великобритания. Все таки, теперь я вижу, что наш Гомель, это настоящий шик.

Впрочем, никто не слышал столь подозрительных суждений. Женщины, толпившиеся вокруг, сушили пеленки, подбирали картофельную кожуру и переругивались. Без труда Лазик разыскал десяток голодных евреев.

— Начнем сначала, то есть пойдем в этот пахучий ресторан. Что здесь люди едят? Хорошо? Десять порций мяса с картофельным пудингом и десять бутылок пива! Теперь можно поговорить о планах. Я же не нахал, чтобы пировать в одиночку. Мне сказал Янкелевич, а я уже предлагаю вам стройную организацию. У этого болвана четыре фабрики и шестьсот семьдесят восемь из-

даний. Что он хочет, этого нельзя понять и потом это даже неинтересно, потому что, я же говорю вам, он роскошный болван. Но у него фантазии, и он все больше загибает насчет родства, я ему и брат, и блудный сын, и еще какое то место, а синагога — мать церкви, а кто в синагоге сразу его церковные дети, одним словом, он даже не умеет разобрать, где отец и где сын. Но я вас поведу к нему в лоно, и вы кричите, что вы были блудные, а теперь хотите сплошного целомудрия. Потом, он наверное начнет вас жать к сердцу, так вы не пихайте его, потому что это такой нахальный меланхолик и если его отпихнуть, он весь обольется слезами. Поняли? А потом он даст вам чтонибудь и кроме того я сейчас плачу за всю музыку. Идет?

Надо ли говорить, что предложение Лазика было принято единогласно? Горделиво улыбаясь, привел Лазик всю компанию к мистеру Ботомголау.

— Я уже сказал им. Видите, как быстро? У меня не голос, а Иерихонская труба с Синая. Это вполне понятно, потому что они ничего не ели. Это же богатые духом и без всякого блаженства. Пожалуйста, жмите их уже скорее к сердцу и пусть они тоже чтонибудь получают, потому что я ухлопал на десять порций весь ваш корректный фунт.

Надежды Лазика не оправдались. Мистер Ботомголау вздохнул:

— Вы им не сказали главного: вы им не сказали, что не единым хлебом жив человек. Я вижу, брат мой, что вы еще мало подготовлены к вашей высокой миссии. Вот вам несколько душеспасительных книг. Я вам советую прежде всего внимательно прочесть их. После этого вы сможете проповедывать, толкуя набранные крупным шрифтом тексты. В субботу мы вам предоставим небольшой зал. Вы соберете этих прозревших овец и вы ослепите их божьим словом. А теперь ступайте, мои дети! Меня ждут китайцы, которые тоже жаждут прозреть.

Лазик попробовал было заикнуться:

— А как же с покойным фунтом? Он ведь ушел на этих полуслепых овец.

Но мистер Ботомголау одарил его только новым поучением:

— Не забывайте, кстати, мой брат, что пиво это тоже крепкий напиток.

Выйдя на улицу, Лазик обвел свое стадо торжествующим взглядом:

— Ну, что я вам говорил? Вы, может быть, скажете, что вы видели где нибудь подобного болвана? Я только не понимаю, почему у него такой нервный нос? Он догадался о пиве. На это его хватило. Но с родством он снова напутал. Я — его брат, а вы — его дети, значит, вы — мои дорогие племянники. Он сам не знает, что ему нужно. То он хочет, чтоб я вас слепил, как последний злодей, то он хочет, чтобы вы сразу прозрели. Но мы его все-таки перехитрим. В субботу зовите туда всех, у кого только хорошенький оркестр в желудке. Я скажу такую грохочущую проповедь, что даже стены будут мычать, как овцы. Тогда то мы с него получим все сто фунтов. А пока что, купим хлеба на духовный ужин, потому, что от фунта еще остался крохотный осколок.

Помещение общества «Спасенный Израиль» было в субботу переподнено. Память о картофельном пуддинге и разговоры о четырех домах мистера Ботомголау всколыхнули Уайт-Чепль. Лазик весело вскарабкался на кафедру:

— Тсс! Третий звонок! Я вижу, что труппа пользуется неслыханным успехом. В Гомеле даже московская оперетка не собирает столько голов. Ну, я начинаю. Ненаглядные овцы, и ты, спасенный Израиль Мовшедь, знаменитый сват нашего золотого Гомеля, здравствуйте! Сейчас я буду толковать крупный шрифт. Только я попрошу вас об одном. Пожалуйста, ради моего и ради вашего аппетита, не сидите, как бревна. Когда я вам скажу «ослепните», закрывайте сразу глаза, потому что вам ударило в нос спасительное слово, а когда я крикну «прозревайте», то глядите в оба, пусть у вас глаза да-

же лезут на лоб, потому что от второго слова происходит хирургическая операция. Поняли? Кто не понял, пусть поднимет одну руку. Хорошо, опустите три заблудшихъ руки и подавляющимъ большинствомъ слушайте. Крупный шрифт номер один: «Израиль, гляди — Мессия, о котором говорили твои пророки и которого ты ждешь, давно пришел». Крупная точка, и можете ослепнуть, а я буду толковать. Пророки, конечно, издавали возгласы. Живи они теперь, их наверное посадили бы в тюрьму. О чем они кричали, эти сумасшедшие агитаторы? Мы же учились в хедере и мы знаем их номера. Они, например, шумели, что все на земле не так, и что сильный обижает слабого, что правду можно спрятать в глубокий карман, как будто это газета, что у одних много, а у других мало и что это просто вавилонское свинство. Они, конечно, тонко намекали, что может произойти полное наоборот. Вдруг придет Мессия, и тогда начнется замечательная справедливость. Ротшильд выйдет себе пастись на лужайку вместе с вами, и ему пуддинг и вам пуддинг, пан-ротмистр или, скажем, миссис Пуке перестанут хватать Ройтшванца за больные места, а вместо пограничной стражи расцветут безусловные орхидеи. Конечно, Мессия это тонкий псевдоним. Что же получилось: оказывается, он уже пришел. Странно подумать, что мы его не заметили! Скорее прозрите, включая три руки меньшинства! Разве вы не видите, что на земле стопроцентная справедливость? У мистера Ботомголау, например, четыре дома, но они ему не нужны, он живет в духовных облаках, он же нищий духом. Вы спросите, почему он не отдает вам этих домов? Потому, что он вас жалеет. Если у вас будет кровать с периной, вы станете тоже нищими духом, а пока вы просто нищие. Но я вас умоляю, погуляйте по роскошному Лондону и вы увидите, что Мессия уже пришел. Вы скажете, что Ротшильд еще не пасется? Но он не овца. Он кушает курицу. А если у вас есть завалиющиеся фунты, вы тоже можете кушать курицу, совсем как он. Но, если даже у вас нет фунтов, то у вас есть вексель на загроб-

ный рай, это сказано в девятом шрифте, и вы можете учесть этот вексель в любом банке. Потом у вас свобода слова. Вы можете, например, сказать «мне так хочется кушать» и никто на это слово не возразит. Что касается заноз, то не надо лезть на занозы, надо уважать чужую личность. У нас в Гомеле был один маклер Гурчик. Так вот он однажды сидел и кушал гуся с гречневой кашей, а к окну подошел нищий и стал просить хлеба. Тогда Гурчик произнес целый крупный шрифт: «эти нахалы сами не едят и другим не дают». Я, например, сам виноват, я схватил в Киеве не ту ногу. Словом, на всей земле стоит неслыханная свобода, и мистер Ботомголау всех жмет к сердцу, и я считаю единогласно принятым, что Мессия уже пришел. А для колеблющихся элементов я читаю в седьмом тексте, что он снова придет и это называется «второе пришествие». Если у него такие блестящие результаты, я думаю, он может ходить без конца. Так пусть он ходит, а мы пойдем на пир. Я предупреждаю, что если итти не вприпрыжку, так этот болван отдаст все жаждущим китайцам, потому что они тоже знают дорогу в его лоно. Составим резолюцию с подписью. Скажем, что мы его братья и дети, и внуки, и даже отцы, только чтоб он отколупнул нам от своей фабрики несколько золотых кирпичиков, потому что в крупном шрифте номер четыре прямо сказано, что голодных надо кормить и даже одевать в свою последнюю рубашку, а у него наверное есть предпоследняя, так пусть одевает и пусть кормит, если мы единогласно такие голодные, что мою проповедь заглушает сплошная опера в ста животах. Значит. . .

Закончить Лазику не удалось. Протискавшись среди толпы, к нему подошел некто, бедно одетый и ничем с виду не отличавшийся от других слушателей. Строго сказал он:

— Следуйте за мной.

— Куда? Если в лоно, так туда я сам знаю дорогу, и вообще там жалование выдают только по понедельникам.

Тогда настойчивый незнакомец показал Лазика какую-то карточку. Лазик посмотрел и негодуяше воскликнул:

— Я еще не Чемберлен, чтобы уметь сразу читать эти великобританские любезности! Но я уже кое-что понимаю. Скажите мне просто, куда я должен следовать — туда или не туда?

Но сыщик, не зная о богатом опыте Лазика, ответил официально:

— Я — представитель Скотленд-Ярда. Вы арестованы, как большевистский агитатор.



Мистер Роттентон сразу ошарашил Лазика:

— Вы — большевистский курьер. Вы направлялись из Архангельска в Ливерпуль. Вы везли секретные фонды коминтерна, а также письмо Троцкого к двум непорядочным англичанам. При аресте вы успели передать деньги членам преступной шайки и проглотить документ.

Последнее показалось Лазику чрезвычайно смешным. Хоть стриженные усы мистера Роттентона сурово топорщились, Лазик не выдержал: он расхохотался.

— Я же понимаю, куда вы гнете!.. Вы хотите меня обвинить в том, что я кушаю важную бумагу. До этого не дошли даже паны-ротмистры. Это так смешно, что я давлюсь, хоть, может быть, это мои фатальные звуки. Неужели вам приходят такие штучки в голову? Но вы же тогда настоящий комик, с обеспеченными гастролями. Лазик Ройтшванец, мужеский портной из самого обыкновенного Гомеля, где все кушают котлеты или зразы, или хотя бы голубцы, питается исписанными листочками! Нет, мистер. . . как вас, хоть я и дублировал два дня заболевшую обезьяну, на это я еще не способен.

— Вы напрасно отпираетесь. Я предлагаю вам указать местонахождение секретных фондов, а также восстановить содержание проглоченного документа.

— Послушайте, может быть, «документы» это тоже псевдоним, вроде, скажем, роскошного пира для блудящих овечек? Кто вас знает, какие вы здесь придум-

мываете скотландские фокусы! В четверг, я действительно проглотил большой кусок мяса и картофельный пуддинг. Что правда, то правда. Но ведь с тех пор сколько слюнок утекло! Так что восстановить это с подливкой я уж никак не могу. Вы думаете, мне самому не жалко? Да умей я восстанавливать проглоченное, я бы стал таким же мистером, как вы. Я отпустил бы себе усы для страха, и трючка. Пусть они там трепыхаются, а я сажусь за готовый стол и кричу: «алло! алло! печенка на свадьбе Дравкина, пожалуйста восстановись!» Это была бы не жизнь, а рай.

— Попытка заговорить меня ни к чему не приведет. Если вы сознаетесь, мы вас отпустим на свободу. Если вы будете упорствовать, мы тоже проявим упорство. Вам придется тогда задержаться в Англии.

— Когда я был еще желторотый филин, я боялся таких задержек. Я хотел тогда скорее на свободу. А теперь я привык. Потом у вас в тюрьме довольно сухо, не как в Гродне, стол правда неважный, но все-таки это помой, а не глотательная бумага. Спешить мне тоже некуда. Так я уже на месяц, другой удержусь.

Усы мистера Роттентона раздраженно запрыгали:

— Вы — партийный фанатик.

Он решил потрясти этого бесстрашного сектанта строгой логикой. Долго рассказывал он Лазику о мощи Великобританской Империи, о расцвете промышленности, о преданности индусов, о миролюбии ирландцев, даже об открытии четырех кондитерских и высшей школы вышивания бисером на каких-то Соломоновых Островах, где живут особые людоеды, которые обожают короля Георга, мистера Чемберлена и английские пикули. Лазик слушал с интересом. Он кивал головой:

— Замечательный реферат! У нас на политграмоте тоже говорили, что разруха упала на двести процентов и что теперь сморкаются не двумя пальцами, а больше. Я вас поздравляю, мистер, как вас... Скажите, а с чем эти людоеды кушают пикули? Может быть, с бисерным документом, тогда вы, наверное, спутали: Гомель не на

острове, он не плавает, он спокойно стоит и только внизу бурлят волны великого Сожа.

Не оценив географических познаний Лазика, мистер Роттентон продолжал патриотический спич. Теперь он высмеивал бессилие России: неурядица, развал промышленности, пустая казна, жалкая армия, бунты на окраинах.

— Сравните их флот с нашим флотом: дредноут и лодочка. Наши законы с их законами: сто томов и проглоченная вами цидулька. Наши финансы с их финансами: банк Великобритании и несколько краденых пенсов, которые вы успели спрятать. Наконец, наш ум с их умом: вы и я. Стоит нам дунуть, и они полетят, как пушинки. Как же они смеют не подчиняться нам? Подумать, что среди англичан находятся низменные натуры, которые верят в эту дурацкую доктрину! Не будь ста томов, я бы просто повесил их, а теперь мне приходится ждать, пока мистер Чемберлен не составит сто первого тома, с отменой первых ста. Тогда - то мы им покажем!..

Усы мистера Роттентона неистовствовали, и Лазик решил развеселить собеседника какой-нибудь гомельской историей.

— Это совсем, как с выдуманным богом. Ему вдруг не понравилось, что евреи расшаркиваются перед каким-то Ваалом. Он стал кричать: «что за посторонние расходы? Этот Ваал ничего не умеет делать. Это просто кусок плохого дерева, а не полномочный бог. Я могу сейчас же послать вам кровавый дождь, саранчу, холеру, словом, все, что мне только вздумается. А он что может? Ровно ничего». И бог так ворчал с утра до ночи, что всем евреям это надоело. Тогда один умник решил закончить эту затянувшуюся сцену. Он говорит богу:

— Сейчас я попрошу у Ваала себе двести тысяч, а Циперовичу одну египетскую казнь.

Бог хохочет — он притворяется, что ему смешно.

— Посмотрим, какие он тебе придумает египетские казни!...

— Значит, этот Ваал ничего не умеет.

— Конечно, ничего, если он просто телеграфный столб.

— Тогда почему же ты к нему ревнуешь? Какой еврей станет ревновать свою жену к полену?

Здесь выдуманный бог смутился, и он ушел на ципочках домой. Эту историю я слышал еще в Гомеле, и это, конечно, половина истории, потому что, наверное, Ваал тоже волновался. А мне один ученый доктор говорил, что от волнения вскакивают прыщики. Так я умоляю вас, не волнуйтесь! Если у них ничего нет, кроме сплошной глупости, зачем волноваться? Дуньте, и они уже улетят, а у вас останутся ваши преданные кондитерские.

Лазик ошибся — рассказанная им история не успокоила мистера Роттентона:

— Преступник! Шпион! Наглец! Как вы смеете насмеяться над конституцией Империи? Я не хочу с вами разговаривать. Извольте отвечать на вопросы. И без отнекиваний. Не то вам будет худо. Вы — большевистский курьер. Вы ехали из Архангельска... Подпишитесь.

— Хорошо... Я беру перо. Это, всетаки, лучше, чем когда ваши усы прыгают. Кто вас знает, какие у вас здесь порядки!.. Ну, вы довольны, что я записался? Теперь скажите мне, где он плавает этот Архангельск, потому что я там еще не был? Нельзя ли там выступить равнином или обезьяной?

— Не прикидывайтесь! Письмо вы проглотили. Отнекиваться поздно — вот ваша подпись. Содержание документа вам хорошо известно. Троцкий сообщал о разгуле большевистской клики и настаивал на выступлении в Ливерпуле. Вот вам бумага и перо. Восстановите текст. Если...

Лазик перебил:

— Не если, а уже...

На лице Лазика появилась смутная улыбка, свидетельствовавшая о творческом напряжении. Через не-

сколько минут он подал мистеру Роттентону исписанный лист.

«Уважаемый товарищ по всем великобританским номерам! Наша клика веселится, как последние нахалы. На краденные деньги из пустой казны мы едим картофельный пуддинг с подливкой под грохочущий провал всех окраин. Кругом одни китайские генералы и кулебяка с капустой. Это не жизнь, а смехотворный разгул. Но что же вы там ловите мух и теряете ваше драгоценное время? Я кричу вам: уже выступайте! Вот вам двадцать пенсов, чтобы вы обвязали себя пулеметными лентами с головы до ног. Наш план очень простой: взорвать Соломоновы кондитерские, тогда людоедам останутся только пикули, и вы пошлете к ним этого мистера с усами, который сейчас кричал на меня. Я не знаю еще его полного имени. Потом надо позвать всех преданных индусов на пир в лоно, и от Ливерпуля останется только четыре-пять голых камней. Но прошу вас на коленях — не валандайтесь! Когда я скажу «раз-два-три», начинайте, и если вы их всех ухлопаете, я угощу вас здесь таким жирным поросенком с кашей, что вы оближете все ваши красные пальчики шпиона и палача. Ну, будьте здоровы, я устал, и кланяйтесь вашей жене. Как, кстати, детки? Ваш до гроба Троцкий».

— Bravo! Вот это документ! Как естественно!.. И на счет известного англичанина с усами тоже хорошо: око Москвы. Я вас поздравляю. А теперь отправляйтесь в тюрьму.

— Если «браво», почему же в тюрьму? Я согласен был задержаться, только чтобы не обидеть хозяев, но, конечно, я предпочитаю скакать по открытым улицам.

Но мистер Роттентон больше не слушал Лазика.

В тюрьме у Лазика было не мало времени, и, пытаясь смягчить сердце мистера Роттентона, Лазик составил еще несколько писем: Троцкого Зиновьеву, Зиновьева мистеру Ботомголау, даже миссис Пуке мистеру Роттентону. (Последнее изобиловало товарищескими советами). Однако, Лазика не выпускали. Он так увлекся но-

вым занятием, что решил написать кому-нибудь настоящее письмо. Но кому? Фене Гершанович? Нельзя — перехватит Шацман. Минчику? Зачем волновать и себя и его? Тогда, может быть, Пфейферу? Как никак Пфейфер был ответственным съемщиком.

Лазик и это письмо передал надзирателю:

— Вот отошлите, раз у вас не государство, а почтовая контора. Только, пожалуйста, не перепутайте. Оно не Зиновьеву и не Чемберлену. Оно всего на всего одному анониму.

— «Дорогой Пфейфер! Я пишу вам из восемнадцатой решетки, так что трудно только начало. Я, кажется, не падаю духом, хоть моя жизнь теперь один анекдот из репертуара Левки. Как вы говорили «человек слабее мухи, и он сильнее железа». Чем я только не был? Если мне придется теперь заполнить анкету, я изведу пуд казенной бумаги. Я посылаю вам мой портрет одного короткого момента, когда я по обязанности кушал вонючие букеты, но вы не обращайтесь на него внимания. Если я похож там на стрекозу из театра, на самом деле — я обыкновенный еврей, у которого в жизни маленькие неудачи. Не показывайте этого портрета дорогой Фене, урожденной Гершанович — не знаю, за каким она теперь Шацманом. Пусть она не глядит на роскошный галстук. Она еще скажет: «Этот пигмей теперь задается». Дайте ей только один сплошной привет от справедливо поруганного Ройтшванца. Здесь капнула на листок произвольная слеза, так что простите мне позорную кляксу. Напишите, как живете вы, и дорогая ваша жена, и бриллиант Розочка, и умничек Лейбчик, и золото Моноша? Чьи на вас теперь брюки, мой кровный Пфейфер? Вспоминаете ли вы, когда отлетает пуговка или лопается сразу сзади, смешного Ройтшванца, который тут как тут сиголкой? Мое сердце рвется, и я мечусь, как тигр. Увижу ли я снова Гомель, и деревья на берегу Сожа, и всех друзей, и даже постыдную бочку или я умру среди этих ста томов? Но я замолкаю в виду полной цензуры. Я даже кричу «ура» их королевскому дредно-

уту. Прощайте, дорогой Пфейфер! Я, наверное, скоро умру. Во-первых, мне теперь часто снится, что я уже лежу под землей, но пусть это сон, и главное, во-вторых, то-есть они хотят оглашать разные письма, а автору пора на тот свет, если он великий поэт, скажем, как Пушкин. Не сердитесь, что вместо письма выходит намек, вы же знаете, что значит, когда все кругом вами интересуются, как будто они мать или брат... Тысяча точек. Если я умру, пусть в нашем союзе кустарей-одиночек не спускают могучего флага. Это слишком рискованные шутки. Нет, пусть лучше они сыграют похоронный марш, потому что я был честным тружеником, и за мной идет свежий строй ратников. Ростите, Розочка, Лейбчик, Монишка! Цветите! Чего вам желает из-за могилы полуживой Ройтшванец».

Лазик напрасно старался — Пфейфер никогда не получил этого письма, но не прошло и трех дней, как Лазика снова вызвали к мистеру Роттентону. Войдя в кабинет, Лазик поспешно спросил:

— Еще писать? У меня уже иссякают рифмы.

— Я прочел ваше письмо какому-то восточному агитатору. Неужели вы хотите вернуться в Гомель?

— Ага, теперь вы поняли, что я из Гомеля, а не из Архангельска?.. Хочу ли я вернуться? Это вопрос. Кажется, хочу. Хоть меня там, наверное, посадят сразу на занозы. Я ведь в Париже голосовал за августейшую поступь, так что меня могут вообще расстрелять. Но здесь мне тоже крышка и тогда остается голое любопытство: там я хоть перед смертью увижу, чем кончилась эта нежность с Шацманом.

— Нет, я вас не пущу, бедный Ройтшванец, в эту западню! Они должны вскоре пасть. Я раскрою перед вами все карты: мы дунули. Теперь остановка только за ними: правда, они еще не летят, но, наверное, завтра или послезавтра они полетят, как пушинки.

— Конечно! Оттого вы сегодня веселый. Даже усы ваши не прыгают. Вот я люблю поговорить, когда такое небесное настроение. Но зачем вы все время думаете о

них? Не стоит. Смотрите, и прыщик у вас вскочил на носу. Знаете, на кого вы похожи — на старую стряпуху. Это была вполне православная на мельнице возле Гомеля, и там жил старик Сыркин, который ел только «кошерную» кухню. Он был такой отсталый, что при одном виде свиньи у него делался насморк. Он варил себе каждый день похлебку в отдельном горшке. И вот, что же видит Шурка из ячейки? Горшочек кипит, Сыркин считает мешки, а стряпуха тихонько кидает в суп кусочек свиного сала, и так повторяется каждый божий день. Она даже не жалела своих продуктов. Шурка, конечно, не выдержал, и он спрашивает: «почему такие придатки»? Но она ему спокойно говорит: «нехай, жидюга, не войдет в царство небесное». Так и вы со мной. Кстати, я сижу уже два месяца, значит, вы успели напечатать все, что я проглотил, и теперь меня можно выставить наружу.

— Нет, мы вас не можем просто отпустить. Вы ведь теперь связаны с нами. Я предлагаю вам выгодные условия. Вы будете собирать для нас сведения среди лондонских евреев и вылавливать большевистских агитаторов. Одиннадцать фунтов в месяц.

Лазик вздохнул:

— Вы таки не желаете свиного сала!.. Ну, что же, придется взять небольшой аванс...

Выйдя на свободу, Лазик отправился в Уайт-Чепль. Там он закусил, приобрел по дешевке перелицованный костюм и литовский паспорт, и после этого, не задумываясь над будущим, пошел на ближайший вокзал. Увидев у кассы знакомое имя, он взял билет до Ливерпуля. Приехав туда, он стал бродить по набережным, разглядывая пароходы. Куда ему ехать? Да все равно... Только бы не в Румынию и не на эти Соломоновы Острова! Вдруг он увидел на палубе толпу евреев. Совсем Гомель..

— Куда вы едете таким хором?

— Куда? Конечно, к себе на родину, то-есть прямо в Палестину.

Лазик задумался: почему бы и ему не поехать с ними? Может быть, евреи будут повежливей, чем эти великие британцы. Хорошо! Он тоже — пылающий сионист, и он едет по удешевленному тарифу на свою дорогую родину.

Перед самым отходом парохода Лазик почувствовал беспокойство. Вот что значит привычка!.. Спешно купил он открытку с изображением дредноута и написал на ней:

— «Дорогой мистер Роттентон! Я привык писать, и я пишу вам. Вы таки скотландский дурак. Может быть, вы родственник мистера Ботомголау? Но дело не в этом. Я забыл вам сказать, что я, действительно, курьер, что я проглотил бумажку, а на ней был настоящий секрет. Теперь я доехал в Ливерпуль и все здесь восстановил единым духом. Так что берегитесь с вашими пикнулями! Отсюда я уезжаю обратно, и не в Гомель, а в Архангельск, потому что вы случайно попали пальцем туда. На ваши деньги мы выпили несколько бутылок вина, и я теперь хохочу, как преданный индус. Вы можете мне писать до вашего востребования или не писать, но сбейте ваши усы, не то над вами будут смеяться все встречные кошки. Ваш до гроба мистер Лазик Ройтшвенч».

Денег не хватило. Однако, на пароход Лазик попал. Он чистил обувь пассажиров первого класса. В свободное время он проходил на нос, где помещался третий класс. Кого только там не было? Безработные из Уайт-Чепля, литовские эмигранты, старые цадики, ехавшие в Палестину, чтобы умереть, и задорные сионисты, с утра до ночи горланившие национальные гимны, пейсатые привидения иных времен, надевавшие для молитв талесы и ремешки, а рядом с ними коммунисты. Счастливики из Нью-Йорка меняли доллары, галицийские хасиды, вздыхая вытаскивали из лапсердаков злоты, а какой-то перепуганный резник прятал от всех, как тайную прокламацию, один сиротливый червонец.

В первом классе было чинно и скучно. Богатая еврейка из Чикаго ехала посмотреть на Святую Землю. В ожидании щедрот господ-бога, пока что, над фаянсовой чашкой она отдавала ему день и ночь, видимо, никому ненужную душу. Английские чиновники показывали друг другу фокусы, пили портвейн и шагали по палубе, методично перебирая длинными ногами в клетчатых брюках. Здесь не было ни анафем, ни молитв, ни рассказов о погромах, ни споров между коммунистами и поалей-сионистами, ни замечательных биографий. Здесь Лазик ваксил ботинки. На носу — он слушал, говорил, вздыхал.

Иногда он садился на бочку и. одинокий, мечтал.

Он не соврал в письме к Пфейферу, за годы блужданий он, действительно, осунулся и постарел. Ему теперь давали за сорок. Он хворал, кашлял, кашлял, жаловался — грудь болит, бок. При малейшем напряжении его лоб покрывался холодной испариной. Может быть, он простудился или это перестарался майнцский колбасник — не знаю, но стоило поглядеть на его лихорадочные глаза, чтобы воскликнуть: эй, дорогие гомельчане, вы живете припеваючи, среди фининспектора, оперетки и гусиных шварок, а вот наш Лазик Ройтшванен погибает! Он много видал, он узнал и любовь, и горе, он все узнал, теперь он сидит в сторонке, кашляет, горбится, нет у него даже сил, чтобы рассказать вот тому богобоязненному цадику, как молодец Левка в «иом-ки-пур» слопал перед самой синагогой целую колбасу за здоровье всех постников, так что у Когана потекла на мостовую неприличная слюна. Нет, он сидит, закутавшись в старый мешок, и смотрит на море.

— Что же вы ничего не скажете? — спросил Лазика один из нью-иоркских евреев.

— Я должен чистить сапоги, говорить я не обязан. Я, кажется, достаточно в моей жизни разговаривал. Если б вы меня увидели без рубашки, вы бы, наверное, ахнули, потому что там нет местечка без печати, как будто мое скорбное тело это паспорт. Я говорил два коротких слова, а они переходили, скажем, на полный бокс. Почему я еду в эту Палестину, а не в Америку, и не на голый полюс? Я думаю, что евреи не умеют организованно драться, и это для меня еще маленький шанс на жизнь. Можно себе представить, какие электрические палки в Америке! На том же голом полюсе сидит, наверное, полицейский доктор, ровно с двумя кулаками. А евреи меня мало били. Правда, во Франкфурте господин Мойзер поломал на мне зонтик, но куда же дождевому зонтику до колбасной дубины? Я думаю, что в еврейской Палестине меня перестанут печатать. Тогда вы уже правы, и это вполне святая земля. Почему я не читаю рефераты? Я устал. Это бывает со всяким. И потом —

откуда вы знаете, может быть, я сейчас разговариваю с этой сумасшедшей водой?

Старик Берка в Гомеле, тот говорил, что всякая вещь поет. Вы думаете, что этот мешок молчит. Нет, он выводит свои мотивы. Дураки, конечно, слышат только готовые слова, а умные, они слышат мелодию. Вот почему, когда два дурака сидят вместе, они не могут молчать, им скучно, и они начинают обязательно ворочать языками. Я вовсе не первая голова, но кое-что я слышу. Я слышу, например, как поет это море, и не только плеск воды, но разные предрассудки: о большой жизни без всяких берегов, когда сходятся море и небо, и они — настоящий мир, а эти три класса со всеми свистками только фальшивая нота. Я уже слышал в жизни, как поют самые разные штуки. Когда я хорошо кроил брюки, они радовались, и они пели. Каждой вещи хочется быть лучше, как вам и как мне, только люди стыдятся красивых мотивов, а брюки раскрывают себя до конца.

Берка говорил, что чем умней человек, тем больше мелодий он слышит; но сам Берка был отсталым хасидом, и он слышал только, как поют души набожных евреев у него в синагоге. Если верить ему, то Моисей слышал, как поют души всех евреев на свете. Я, конечно, не знаю, сколько в этом простого опиума. Я вот только редко-редко слышу какой-нибудь короткий звук и тогда я смеюсь от счастья, а потом снова начинается глухонемая жизнь. Интересно, есть ли человек, который слышит сразу все мелодии: и евреев, и этих великих британцев, и кошек, и сюртуков, и даже черствых камней? У такого умника, наверное, сердце перезжает из груди в голову — поближе к ушам, чтобы ему было удобнее слушать, потому что мозгами можно выдумать башню без проволоки, как в Париже, и там ловить различные слова, но настоящую мелодию нельзя словить в трубку. Ее ведь слышат только сердцем.

Теперь вы видите, что я могу иногда говорить? Хорошо, что я еще не еду в вашу Америку! Там они уме-

ют взять еврейский язык и сделать из него один нумерованный доллар с головой женатого президента.

Стояла тихая погода, и Лазик любовался цветущими берегами Португалии.

— Что за предпоследняя красота! Вот я и увидел своими глазами выдуманный рай. Здесь, наверное, столько орхидей, что из них делают смешное сено, а на бананы здесь вообще никто не смотрит, как у нас на подсолнухи. Их грызут только самые неосознательные португальцы. А дворцы! Вы видите эти дворцы? Но если подумать хорошенько, то это, все-таки, не рай. У меня в кармане портрет португальского бича. Я провез его через все испытания. Ну, дорогой бич, посмотри-ка на свою родину! Скорей всего этот бич сидит теперь на португальских занозах. Конечно, такое солнце уже половина счастья и оно для всех. Но кушать португальцы тоже хотят. Нельзя ведь весь день нюхать орхидеи. Вот и получается вместо Португалии просто на просто Гомель. Вы что думаете, если глядеть на Гомель издали, это не красота? Можно выпустить тоже восторженные вздохи. Потому что издали виден крутой берег, и могучие деревья, и парк Паскевича со всеми драгоценными беседками. Счастье видно за сто верст, а горе нужно уметь разноухать. Вот и все. Мы можем ехать дальше, и даже неизвестно, о чем мечтать: если этого бича выпустит наружу хорошенький гнев масс, на занозы посадят другого, потому что земля повсюду земля, она царапается, а человек сделан из одного теста: он или полномочный нахал с шведской гимнастикой или зарезанный кролик. Нет, лучше уже глядеть на море, там, конечно, тоже рыбе несчастье, но там, по крайней мере, нет грочующих слов.

Я слышал в Гомеле очень тонкую историю о царе Давиде. Это был, мало сказать, царь, он был еще замечательным поэтом, и у него все лежало под рукой: и вино, и музыкальные барабаны, и обед по звонку, как в первом классе, и сколько угодно бумаги, так что он каждый день сочинял какой-нибудь красивый стишок. Вот

однажды ему повезло. Он сидел, корпел, он не мог выдумать как бы еще прославить этого выдуманного бога. У него не хватало слов. Раз уже выдумаешь такую вещь, как бог, надо уметь с ней обращаться, а он берет готовые слова, и ни одно не годится, все они маленькие, так что бог вылезает из них, как из детского костюмчика. И вот ему приходят в голову два или даже три неслыханных слова. Он сочиняет стихи высший сорт. Он, конечно, счастлив и берет тетрадку под мышку и всем читает, и слушает комплименты: «вы царь-Давид — новый Пушкин, вы признанный гений». Ведь все поэты любят хвастаться. Шурка Бездомный хотел, чтоб по нему называли папиросы, вместо «Червонец». Так легко себе представить, до чего доходил этот певучий царь. Он чуть было не допнул от славы. Вот он уже прочел свои стихи всем: и жене, и детям, и придворным, и критикам, и просто знакомым евреям. Больше уже некому читать. Он гуляет по саду, и он весь блестит от счастья, как начищенный самовар. Вдруг он видит жабу, и жаба спрашивает его с нахальной улыбкой:

— Что ты так сияешь, Давид, как будто тебя натерли мелом?

Царь-Давид мог бы вообще не ответить. Он же царь, он же гений, он то и се, зачем ему разговаривать с незнакомой жабой? С жабами вообще не разговаривают. Их отшвыривают, чтобы они не лезли под ноги. Но, все-таки, царь-Давид это не Шурка Бездомный. Он что-то понимал, кроме комплиментов. Он ответил жабе:

— Ну да, я сияю. Я написал замечательные стихи. Ты только послушай!

И он стал читать ей свое восторженные слова. Но жабу трудно было смутить. Она спрашивает:

— Это все?

— Это один стих. Но у меня есть тысяча стихов, потому что каждое утро я просыпаюсь, и я радуюсь, что я живу, и я сочиняю мои красивые прославления.

Здесь жаба расхохоталась. Конечно, жаба смеется не как человек, но когда ей смешно, она смеется.

— Я не понимаю, чего ты так задаешься. Давид? Я, например, самая злосчастливая жаба, но я делаю то же самое. Разве ты не слышал, как я квакаю, хоть мне и не говорят комплиментов. А чем, спрашивается, эти громкие слова лучше моего анонимного квакания?

Царь-Давид даже покраснел от стыда. Он больше уж не сиял. Нет, он скромно ходил по саду и слушал, как поет каждая маленькая травка. От такой последней жабы он и стал мудрецом.

Но вы взгляните на это море! А облака!.. Разве это не лучше всех наших разговоров?

Увы, не долго Лазику довелось любоваться красою природы. Подул западный ветер. Началась качка. Еле-еле дополз Лазик до борта.

— Что это за смертельный фокс-трот? Море, я еще тактебя расхваливал, а ты, оказывается, тоже против несчастного Ройтшванца! Довольно уже!.. Я увидел, что ты умеешь все фокусы, но я ведь могу умереть. Ой, Феничка Гершанович, хорошо, что ты меня сейчас не видишь!...

Раздался звонок. Горничная сердито крикнула:

— Туфли в каюту сорок три! Живее! Почему вы их не чистите?

— Я могу только сделать с ними полное наоборот. И вообще не говорите мне о каких-то туфлях, когда я торжественно умираю. Что ж это за «святая земля», куда так трудно попасть маленькому еврею? Лучше уж сорок лет ходить по твердой пустыне. Уберите эти туфли, не то будет плохо!..

Сияло солнце, синело, успокоившись, море, мерно шел своей дорогой пароход «Виктория». Пассажиры первого класса переодевались к обеду. Непрестанно дребезжал звонок. Но не было ни сапогов английского майора, ни полуботинок двух веселых туристов, ни туфель богатой еврейки. На носу копошилась крохотная тень. Лазик по прежнему стоял, согнувшись над бортом. Наконец-то, его нашел лакей:

— Тебя все ищут, а ты, что — рыбу ловишь? Где ботинки?

— Я... я не могу....

— Не валяй дурака. Качка кончилась.

— А вдруг она снова начнется? Это же не по звонку; так я сразу встал в удобную позу.

Это было мудро, но лакей, видимо, не любил философии. Он отлупил Лазика сапогами английского майора. Сапоги были солидные и со шпорами.

Приехав в Тель-Авив, Лазик сразу увидел десяток евреев, которые стояли возле вокзала, размахивая руками. Подойдя к ним поближе, Лазик услышал древне-еврейские слова. Он не на шутку удивился.

— Почему вы устраиваете «миним» на улице, или здесь нет синагоги для ваших отсталых молитв?

— Дурень, кто тебе говорит, что мы молимся? Мы всё обсуждаем курс египетского фунта, и здесь все говорят на певучем языке Библии, потому что это наша страна, и забудьте скорее ваш идиотский жаргон!

Лазик только почесался. Он то знал эти певучие языки! Они хотят устроить биржу по-библейски? Хорошо. У кого не бывает фантазий. Главное, где бы здесь перекусить?..

Печально бродил он мимо новых домов, садов, магазинов. На вывесках булочных настоящие еврейские буквы. Факт! Но булки остаются булками и, чтобы их купить, нужно выложить самые обыкновенные деньги. . .

Лазик присел на скамейку в сквере. От голода его начинало мутить.

— Земля, как земля. Я, например, не чувствую, что она моя, потому что она наверное не моя, а или Ротшильда или сразу Чемберлена, и я даже не чувствую, что она святая. Она царапается, как повсюду. Но кого я вижу? . . . Абрамчик, как же вы сюда попали? Сколько лет, как вы из дорогого Гомеля? Уже три года? Пу-

стячки! Ну, как вас тоже тошнило на этой мокрой калчке?..

Абрамчик печально вздохнул:

— Я уже не помню, потому что с того времени, я столько качался, что пароход мне кажется просто колыбелькой. Я пробовал копать землю, но со мной сделался маленький солнечный удар, так что я провалялся полгода в больнице. А потом меня избили ночью арабы, и я снова вернулся в больницу. А потом я продавал газеты на жаргоне, и меня избили не арабы, — евреи. Но тогда меня даже не пустили в больницу. Хорошо. Я решил стать нищим в Иерусалиме. Это довольно выгодное дело. Вы же помните, что в Гомеле набожные еврейки кидали у себя в жестяную кружку, то пять копеек, то десять, а потом приезжал один из Палестины и забирал все. Так, оказывается, эти кружки висят повсюду, и что же, получают крупные нули, так что стоит кричать у «стены плача», раз за это получаешь месячный оклад. Я так кричал, как будто меня резали. Но все сорвалось из за одного окурка. Я себе забыл, что я не в Гомеле, а в Иерусалиме, я закурил хорошенький окурочек, который я подобрал после англичанина. Что же вы думаете? Оказалось, это — суббота — гомельское счастье! — и меня так избили, что я едва уполз. Я кричал им: «если суббота, то нельзя работать, а вы же работаете, когда вы меня бьете!» Но они даже не хотели слушать. Теперь я снова попал в этот замечательный Тель-Авив, и я наверное здесь умру. Старые цадики, когда они приезжали в Палестину умирать, вовсе не были такими идиотами. Это здесь самое подходящее занятие. Зачем я только поверил в их красивые разговоры и примчался сюда? Я был просто дураком, и когда вы мне говорили на курсах политграмоты: «Абрамчик, вы что то недодумываете», вы были совсем правы. Но вы, Ройтшванец, вы же почти марксист, как вы попали сюда?

— Это я вам расскажу в другой раз, после закуски, а не до. Вы ведь ничего не знаете. Когда вы уехали в Одессу, я еще шил галифэ; тогда по улицам Гомеля гу-

ляли, кроме настоящих людей, только грязные бумажки, а не эта гражданка Пуке. Я попал под исторический вихрь. Сюда, например, я приехал из какого то нарочного Ливерпуля. Мне казалось, что здесь меня перестанут колотить. Но после вашей кровавой исповеди я начинаю уже дрожать. Я ведь стал таким подержанным телом, что из меня может сразу выйти весь дух. Все равно: будь, что будет! Прежде всего я хочу закусить. Может быть, мне отправиться в Иерусалим и там покрывать у этой стенки?

— Кричите. Там вовсе не дают каждый день деньги, их дают один раз в месяц, и вам придется ждать ровно три недели. Я же знаю все их дикие выходки!

— Что же мне тогда остается?.. Я хочу кушать. Может быть, здесь есть кто-нибудь из гомельчан?..

— Как же! Здесь не кто-нибудь, а сам Давид Гольдбрух. Помните, у него была контора на углу Владимирской? Он еще уехал при первых большевиках в костюме напрокат, скажем, дворника. Так он здесь. Он, оказывается, в их палестинском комитете, и он кричит повсюду, что здесь апельсиновый рай. Я попробовал было к нему сунуться, но он просто закрыл дверь. А у него, между прочим, три роскошных дома и такой шик внутри, что англичане платят полфунта за один только взгляд.

— Решено — я иду к Гольдбруху. Вы просто не сумели с ним поговорить. Как? Он в комитете и он выгонит Ройтшванца, когда этот Ройтшванец специально приехал из общего Гомеля в его апельсиновый рай? Нет, этого не может быть! Вы увидите, Абрамчик, что я вас вечером угощу телячьими ножками с картошкой или, например, студнем — я не знаю, что вы больше любите, а я и то, и другое.

Гольдбрух вправду жил припеваючи. Он ведал строительными работами, строил иногда для других, чаще, для себя, на каникулы ездил в Европу; там он собирал деньги, рассказывал об экспорте апельсинов, кутил с девушками, оставшимися «в рассеянии», а потом воз-

вращался в Тель-Авив — «дело себе идет, к осени я построю еще одну хорошенькую дачку».

Лазика Гольдбрух принял в беседке. Он лежал и пил ледяной лимонад. Его раскрытую грудь обдувал электрический вентилятор. Хоть Лазик и не помнил толком, что это за птица Гольдбрух, он восторженно крикнул:

— Додя! Ты видишь, что свет уж не так велик — мы с тобой увиделись! Ну, как вы себя чувствуете? . .

Лазик даже прищурил один глаз, как это делал Монькин, когда глядел на картину.

— Немножко загорели, а так совсем, как живой. Я бы вас узнал даже на парижской площади. Что? Вы не знаете, кто я? Я прежде всего ваш сосед. Вы жили на Владимирской. Теперь она, простите меня, стала улицей «Красного Знамени». А я жил на улице Клары Цеткиной. Это в двух прыжках. Интересно, кто вам шил брюки? Наверное Цимах. Теперь вы меня узнаете? Я же портной Ройтшванец. То есть как «это вам ничего не говорит»? Я — говорю. И хватит! Как ваши детки поживают? Что? У вас нет деток? Для кого же вы строите ваши дома? Ну, не огорчайтесь, детки еще будут. Что вы там, кстати, пьете? Постыдный лимонад? А когда же у вас попросту обедают?

Гольдбрух в ответ так яростно гаркнул, что Лазик отлетел на десять шагов.

— Почему вы кричите, как в пустыне?

— Потому что вы нахал. Говорите просто, что вам от меня нужно и убирайтесь!

— Что мне нужно? Например, кусочек родной колбасы на древнееврейском хлебе.

— Работайте!

— Ах, у вас есть что-нибудь перелицевать? Дайте же мне наперсток, и я в одну секунду выверну или даже укорочу. . . .

— У меня нет работы. Вы портной? Так напрасно вы сюда приехали. Здесь больше портных, чем штанов.

— Что же я буду делать, скажем, завтра, если я до завтра не умру?

— Ничего. Вы будете как все — самый обыкновенный безработный.

— А им дают чтонибудь кушать? Тогда я уже согласен.

— Что им дают? Шиш. У нас настоящее государство, а разве есть государство, чтобы не было безработных? Вы будете тихо сидеть и ждать, пока кончится этот кризис.

— Сколько же я просижу натошак? Вы говорите, годик-другой? Вы, впрочем, выступаете в каком-нибудь цирке? Но я вас прямо спрошу: что, если я сейчас возьму из вашего драгоценного буфета одну библейскую булочку?

— Очень просто — вас моментально посадят в тюрьму. У нас настоящее государство, а разве есть государство без тюрьмы? И я уже нажимаю эту кнопку, чтобы вас выкинули на улицу, потому что мне слишком жарко для таких дурацких разговоров.

— Я сам ухожу. До свидания, Додя, и в будущем году, скажем, в Гомеле. Это вам не нравится? Постройте себе в утешение еще один домик. Ой, как вы хрипите! Знаете, что? Я здесь не видел ни одной свиньи. Откуда же здесь будут свиньи, когда это наша еврейская родина? Вот вам один минус. Разве бывает государство без свиней? Но не волнуйтесь, успокойтесь. У вас таки настоящее государство, и у вас есть даже свиньи, потому что вы например, в полный профиль. . .

Лазика не удалось закончить сравнения. Увидев широкоплечего лакея, он только воскликнул: «Начинается! И прямо с Голиафов!» после чего быстро шмыгнул в ворота. Так Абрамчик и не получил ни телячьих ножек, ни студня.

Началась для Лазика обычная неразбериха: чередование профессий, раздражающие душу запахи в обеденные часы, пинки, философские беседы и сон на жесткой земле. Но все труднее и труднее было сносить ему

эту жизнь: подкашивались ноги, кашель раздирал грудь и по ночам снились: Сож, международные мелодии, смерть.

Недели две прослужил он у Могилевского, который торговал сукном в Яффе. В Тель-Авиве было слишком много лавок, а в Яффе дела шли хорошо; одна беда — арабы избивали евреев. Каждое утро, отправляясь из Тель-Авива в Яффу, Могилевский надевал на себя феску, чтобы сойти за араба. Пришлось и Лазик украсить свою голову красной шапченкой. Это ему понравилось: феска ведь не хвост, феска, как в опере. Но, как то вечером, Могилевский, почуяв непогоду, удрал с кассой в Тель-Авив. Лазик остался охранять товар. Подошли арабы. Они что то кричали, но Лазик не понимал их. Он только на хорошем гомельском языке пробовал заговорить толпу.

— Ну да! Я стопроцентный араб. У меня дома настоящий гарем и бюст вашего Магомета.

На арабов это, впрочем, никак не подействовало.

Могилевский прогнал Лазика: «вы не умеете с ними жить в полной дружбе». Лазик чесал спину и печально приговаривал:

— У них таки бешенство, как у настоящих арабов! В общем, евреям чудно живется на этой еврейской земле. Вот только где я умру: под этим забором или под тем?

Он нищенствовал, помогал резнику резать кур, набивал подушки и тихо умирал. Как-то при содействии монтера Хишина из Глухова удалось ему прошмыгнуть в ночное кабарэ. Девушки, накрашенные, ничуть не хуже Марго Шике, танцевали, задирая к потолку голые ноги. Они пели непристойные куплеты. Впрочем, содержание последних Лазик понимал с трудом: по древне-еврейски он умел только молиться. Зато бедра актрис произвели на него чрезмерно сильное впечатление. Расталкивая почтенных зрителей, которые пили шампанское, он вскочил на эстраду:

— Здесь таки цветут святые апельсины! Я падаю на

колени. Я влюблен в вас всех оптом. Сколько вас? Восемь? Хорошо, я влюблен в восемь апельсинов, и я предпочитаю умереть здесь от богатырской любви, чем где нибудь на улице от постыдного аппетита.

Девушкам это, видимо, понравилось. Они начали смеяться. Одна из них даже сказала Лазику по-русски:

— Вы последний комплиментщик. Сразу видно, что вы из Одессы.

— Положим, нет. Я из Гомеля. Но это не важно. Перейдем к вопросу об апельсинах. .

Здесь к Лазику подбежал один из зрителей. Он начал кричать:

— Нахал! Как вы смеете вносить в эту высокую атмосферу ваш рабский жаргон? Когда они говорят на священном языке Суламифи, высказываете вы, и вы пачкаете наши благородные уши вашей гомельской грязью. Вы наверное отъявленный большевик!

Взглянув на крикуна, Лазик обомлел: это был Давид Гольдбрух. Быстро Лазик спросил его:

— Додя, Голиаф с вами?

— Негодяй. Он еще смеет острить, когда за этим столом все члены комитета! Эй, швейцар, освободите нашу долину молодых пальм от подобного пискуна!

Швейцар сначала отколотил Лазика, а потом передал его двум полицейским:

— Господин Гольдбрух сказал, что это наверный большевик.

Тогда полицейские в свою очередь стали тузить Лазика.

— Остановитесь! Кто вы такие? Вы евреи или вы полицейские доктора?

— Мы, конечно, евреи. Но ты сегодня потеряешь несколько ребер. Эти англичане еще кричат, что мы не можем справиться с большевизмом. Хорошо! Они увидят, как мы с тобой справились.

Полуживого Лазика отвели в тюрьму. Там он нежно поцеловал портрет португальского бича, сказал «девятнадцатая» и заплакал.

— Они дерутся не хуже певучих панов. Что и говорить, это настоящее государство! Я не знаю, сколько у меня было р бер и сколько осталось, я им вовсе не веду счет. Но одно я знаю, что Ройтшванцу — крышка.

Утром его повели на допрос. Увидев английский мундир, Лазик обомлел:

— При чем тут великие британцы? Может быть, вы тоже недовольны, что я говорил с этими апельсинами не на языке покойной Суламифи?

Англичанин строго спросил:

— Вы большевик?

— Какая же тут высокая политика, когда меня свели с ума их ноги? Вы что-то пронзаете меня вашим умным взглядом. Уж не получили ли вы открытку с видом от мистера Роттентона? Тогда начинайте прямо с копания могилы.

— Мы не потерпим у себя большевизма! Мы его искореним. Мы очистим нашу страну от московских шпионов!

Тогда Лазик задумался.

— Интересно — сплю я или не сплю? Может быть, я сошел с ума от этих Голиафов? Правда, они вытряхивали бедра, но они могли нечаянно вытряхнуть и мозги. Я, например, не понимаю, зачем вы вспоминаете вашу великую страну с письмами Троцкого и даже с картофельным пуддингом, когда я не в Ливерпуле, а в еврейской Палестине?

— Вы показываете черную неблагодарность. Мы вам возвратили вашу родину. Мы вас опекаем. Это называется «мандат». Теперь вы поняли? Мы построили военный порт для великобританского флота и авиационную станцию для перелетов из Англии в Индию. Мы ничего не жалеем для вас. Но большевистской заразы мы не потерпим.

Лазик стал кланяться:

— Мерси! Мерси прямо до гроба! Но, скажите, может быть, вы снимете с меня этот мандат, раз я такой неблагодарный Ройтшванец? Все равно я скоро умру, так

дайте мне умереть на свободе, чтоб я видел эти апельсиновые сказки, и солнце, и колючую землю, которая меня зачехлила! А потом, через месяц или через два, вы сможете во всю опекать мою заразительную могилу. Я дам вам на это безусловный мандат. Вы уже вернули мне мою родину с этим роскошным портом и даже со станцией, вы великий британец и вы золотая душа. Верните же мне немного свежего воздуха и скачущих по небу облаков, чтоб я улыбнулся на самом краю могилы!

Два месяца просидел Лазик в иерусалимской тюрьме. Когда он вышел, цвели апельсиновые деревья, но он не мог им улыбнуться. Еле-еле дошел он до «стены плача».

— Что же мне еще делать? Я буду здесь стоять и плакать. Может быть, мне повезет, и завтра как раз число, когда раздадут деньги из жестяных кружек. Тогда я съем целого быка. А если нет, тоже ничего. По крайней мере, интересно умереть возле подходящей вещи. Кто бы надо мной плакал? А так я услышу столько надрывающих воплей, сколько не слышал ни один богач. Ведь здесь же может быть триста проходимцев, и они воют с утра до ночи. Им, конечно, все равно над чем плакать, они поплачут над мертвым Ройтшванцом: «ой, зачем же ты развалился, наш ненаглядный храм!» . .

Вспомнив о своих новых обязанностях, Лазик начал бить себя в грудь и кричать. Рядом с ним рыжий еврей так усердствовал, что Лазику пришлось закрыть уши:

— Не можете ли вы оплакивать на два тона ниже, а то у меня лопнут все перепонки? . .

Рыжий еврей оглянулся. Лазик закричал:

— Что за миражи? Неужели это вы, Абрамчик? Но почему же вы стали рыжим, если вы были вечным брюнетом?

— Тсс! Я просто покрасил бороду, чтоб они меня не узнали, после того факта с окурком. Ну, давайте уже выть!

Оба завывли. Лазик прилежно оплакивал разрушенный храм, но голова его была занята другим. Когда плакальщики разошлись по домам, он сказал Абрамчику:

— Слушайте, Абрамчик, я хочу поднести вам конкретное предложение. Как вы думаете, не пора ли нам уже возвращаться на родину?

Абрамчик остоленел:

— Мало я слушал эти слова? Ведь мы уже, кажется, вернулись на родину. О чем же вы ещё хлопочете?

— Очень просто. Я предлагаю вам вернуться на родину. Здесь, конечно, певучая речь, и святая земля, и еврейская полиция, и даже мандат в британском мундире, слов нет, здесь апельсиновый рай, но я хочу вернуться на родину. Я не знаю, где вы родились — может быть, под арабскими апельсинами. Что касается меня, то я родился, между прочим, в Гомеле, и мне уже пора домой. Я поездил по свету, поглядел как живут люди и какой у них в каждой стране свой особый бокс. Теперь я только и мечтаю, что о моем незабвенном Гомеле. Вдруг у меня хватит сил и я доплыву туда живой! . . . Я снова увижу красивую картину, когда Сож сверкает под берегом, на верху деревья и публика возле театра, и базар с отсталыми подсолнухами. Я увижу снова Пфейфера. Я скажу ему: «дорогой Пфейфер, как же вы здесь жили без меня? Кто вам шил, например, брюки? Наверное Цимах. Ведь здесь же складочка совсем не на месте». И Пфейферъ обольется слезами. А маленький Монюша будет прыгать вокруг меня: «Дядя Лазя, дай мне пять копеек на ириски!» И я, конечно, отдам ему всю мою душу. Я увижу Феничку Гершанович. Она будет гулять с молодым сыном по роскошному саду Паскевича. Я во все не подыму низкий шум. Нет, я скажу ей «доброе утро! Гуляйте себе хорошо. Пусть цветет ваш маленький богатырь. Я был в двадцати странах и на двадцати занозах. Я переплывал все моря вплавь. Я видел, как цветут орхидеи. Но я думал все время только о вас. Теперь я, конечно, умираю, и не обращайтесь на меня никакого вни-

мания, но только принесите на мою могилу один гомельский цветок. Пусть это будет не нахальная орхидея, а самая злосчастная ромашка, которая растет на каждом шагу». Да, я скажу это Феничке Гершанович, и потом я умру в неслыханном счастье.

— Вы совсем напрасно говорите о смерти. Вы еще юноша и вы можете даже жениться. Я не понимаю только одного, как вы поедете отсюда в Гомель? Это же не в двух шагах.

— Ну, что-ж, я снова сяду на эту качалку и я закрою глаза. Хорошо, выматывайте из меня все кишки! Одно из двух; или я умру, или я доеду.

— Но вы с ума сошли! Кто вас повезет?

— Это очень просто. Янкелевич в Париже рассказал мне все по пунктам. Я беру лист и я немедленно открываю полномочный «Союз возвращения на родину». При чем это будет великая федерация: они вовсе не обязаны ехать в Гомель. Нет, они могут возвращаться в Фастов и даже в Одессу. Я соберу сто подписей и я отошлю в Москву заказным письмом всем самым роскошным комиссарам, а тогда за нами приедет настоящий пароход. Вы думаете, здесь мало охотников? Юзька не закричит ура? Старик Шенкель не прыгнет мне на шею? Какие тут могут быть разговоры! Все поедут. И я не хочу откладывать это в долгий ящик. Я сейчас же пойду с анкетным листом.

Действительно, Юзька, услышав о «Союзе возвращения на родину» от радости подпрыгнул, он даже угостил Лазика овечьим сыром. Но вот с Шенкелем вышла заминка. Шенкель вовсе не начал обнимать Лазика. Он стал спорить:

— Зачем тебе туда ехать? Что ты, комиссар? Очень там хорошо живется, нечего сказать! Сплошной мед! Ты, может быть, думаешь, что они тебя озолотят за то, что ты к ним вернулся?

— Нет, этого я как раз не думаю. И я вам скажу правду, я думаю, полное наоборот. Я ведь не могу им доказать, что Борис Самойлович это — одно, а я — дру-

гое. Я же состоял его кровным племянником и они, конечно, спросят где тот драгоценный сверточек. Хорошо еще, если при этом не будет гражданки Пуке. А вдруг она навсегда осталась в Гомеле? Ей же мог понравиться такой красивый город. Тогда меня расстреляют в два счета. Но разве в этом вопрос? Я все таки хочу умереть у себя дома.

— Ты, Ройтшванец, молод и глуп. Куда ты лезешь? Там ячейки, и фининспектор, и этого нельзя, и туда запрещено, и чуть что, тебя хватают. Это самый безусловный ад. Какой же болван пойдет в своем уме на такие истязания?

— Вы, конечно, старше меня, но на счет ума это большой вопрос. Хорошо. Там ад, а здесь рай. Правда, я не заметил, чтобы здесь был особенный рай. Вы тоже живете не как ангел, а одной сухой коркой. Но может быть, я близорукий. В Гомеле, Левка пел куплеты о Париже, так что слюнки текли. Что же, я там был, в Париже, и я тоже не заметил, что это замечательный рай. Меня там попросту колотили. Но, скажем, что рай в Америке, потому что в Америке я, слава богу, не был, и я не стану с вами спорить. Пусть там стопроцентный рай, а у нас фактический ад. Я принимаю эту предпосылку и все таки хочу ехать.

Я вам расскажу одну гомельскую историю, и посмотрим, что вы тогда запоете. Вы наверное слышали про ровенского цадика. Он же не был ни молодым, ни глупым, как я. Он для вас, кажется, безусловный авторитет, раз вы держитесь за все предписанные бормотания. Так вот, к этому цадику однажды приходит суровый талмудист с самыми горькими упреками:

— Послушайте, ребя, я вас совсем не понимаю. Все говорят, что вы благочестивый еврей, а я живу рядом, и мне кажется, что у вас не дом, но кабарэ. Я сижу и читаю талмуд, а ваши хасиды делают чорт знает что — они поют и танцуют, они громко смеются, как будто это московская оперетка.

Цадик ему преспокойно отвечает:

— Ну да, они смеются, как дети, они поют, как птицы, и они прыгают, как козлята. Ведь у них в сердце не черная злоба, но радость и полная любовь.

Талмудист так рассердился, что чуть было не проглотил кончик бородки: он всегда жевал кончик бородки, когда ему хотелось придумать умное слово. Он так ничего не придумал. Он только сказал:

— Это довольно неприличные для еврея разговоры. Вы ведь знаете, реби, что, когда мы изучаем один час талмуд, мы делаем ровно один шаг поближе к раю. Значит, когда мы не изучаем талмуда, мы пятимся прямо в ад. Ваши хасиды поют, как идиотские птицы, вместо того, чтобы сидеть над священной книгой. Куда же вы их толкаете? В ад. Но в аду — признанный ужас. Там одних кипятят, а других жарят, а третьих вешают за языки. Конечно, если это вам нравится, вы можете за час до кипятка танцевать. Но я буду изучать талмуд, чтобы попасть прямо в рай. Там всегда тепло, не холодно, не жарко, ровная температура, хорошее общество, то-есть, повсюду одни ангелы; все сидят в золотых коронах и читают тору. Там розы без шипов, и деревья без гусениц, я на дороге ни одной цеповой собаки. Так неужели же вы не хотите попасть в этот рай.

Цадик только усмехается:

— Нет. Я, конечно, тебе благодарен за умные советы, но я не хочу этого готового рая. По моему, там могут жить только ангелы, потому что они не люди, у них нет ни сердца, ни печени, ни страсти. А человек вовсе не должен бояться, если он даже падает вниз. Как же можно подняться наверх, если никогда не падать? Ты мне рассказал о каком-то чужом рае. Это не мой рай, и моего рая вообще нет, я его еще не сделал, а глядеть на красивые картинки я совсем не хочу. Если я буду много смеяться, и много плакать, и много любить, что же, может быть, тогда я увижу на краю могилы мой окровавленный рай.

Вот, что ответил ровенский цадик этому ученому талмудисту. Я вас зову ехать. Конечно, там плохо и там

трудно. Там нет никакой ровной температуры, а только смертельный сквозняк. Но там люди что-то ищут. Они, наверное, ошибаются. Может быть, они летят даже не вверх, а вниз, но они куда то летят, а не только зевают на готовых подушках. Вы, Шенкель, конечно, в почетных годах, и оставайтесь здесь, но вы, Бройдек, и ты, Зельман, вы же молодые скакуны, так давайте скорее ваши огненные подписи! . .

— Какие подписи? Что это за собрание на святой улице? Это, может быть, ты — главный агитатор? Ну-ка, подойди сюда за хорошей подписью!

Лазик теперь знал, что евреи умеют драться. Он бросился бежать. Вначале за ним гнались. Он бежал по загородному шоссе, боясь перевести дыхание. Но он не мог бежать. С грустью подумал он: «как тот голый еврей вокруг Рима». . . Он чувствовал, что силы оставляют его. Нет, он не вернется на родину! . .

Он остановился. Больше за ним никто не бежал. Кругом были только черные поля, редкие огоньки ферм звезды, тишина.

— Где же мой рай? Или я его еще не выкроил? . .

И он побежал через силу дальше.

Лазик шел по дороге — куда и зачем, он сам не знал. Он не мог идти и он все же шел. Ему казалось, что он уже прошел тысячи верст. Не Гомель ли за тем поворотом? Но на знойном белесом небе попрежнему темнели купола и минареты Иерусалима. Лазик все шел. Наконец, он свалился. Он лежал теперь на дорожной пыли.

— Кажется, здесь можно поставить хорошую точку.

Но нет, Лазика не хотели оставить в покое. Загудел рожок автомобиля и шоффер, затормозив машину, стал ругаться:

— Нахал! Как ты смеешь валяться на дороге?

Лазик виновато улыбнулся: хорошо, он не будет валяться. Он же ученый, он знает, что такое раздавленное насекомое не смеет задерживать движения.

Что это за старая беседка? Наверное, в ней никто не живет. Там он никого не будет раздражать своим неприличным видом.

Лазик дополз до каменного шатра. Внутри было темно и прохладно. Он увидел бородатого еврея в картузе и пышную даму. На даме было столько бриллиантов, что Лазик зажмурил глаза: как звезды сияли они вокруг тусклой свечи. А этот скрипучий шелк! А это перышко на шляпе! Задыхаясь от гордости и от астмы — немудрено, жиры так и валились на пол — дама говорила бородатому еврею:

— Вы прочтете самые шикарные молитвы, потому что у меня, слава богу, есть еще чем заплатить. Я при-

ехала сюда из Нью-Йорка, и у моего мужа там самый шикарный ресторан. Я приехала поглядеть на землю предков, пусть эти патриархи видят, что вовсе не все евреи стали несчастными попрошайками, нет, некоторые таки вышли в люди. Я хочу порадовать моих предков. Это чтонибудь да значит — увидеть самую шикарную еврейку.

Бородатый сторож лебезил:

— Я прочту десять таких молитв, что все патриархи в раю ахнут. Но скажите мне ваше драгоценное имя и, может быть, имя вашей незабвенной мамочки. Я их напишу на бумажке и я кину бумажку за этот камень, прямо к самой Рахили.

Дама раскрыла ридикюль.

— Я могу даже пожертвовать мою визитную карточку. Пощупайте зад — это не буквы, это гравюра, это же самые шикарные карточки. Меня зовут по последней моде «Виктория», но моя мамочка еще торговала селедками, и я вам скажу по секрету, что ее таки звали «Хаей».

Сторож кинул бумажку за камень и, раскачиваясь, принялся бормотать молитвы. Но дама прервала его:

— Уже хватит с предков! Потому что пора к обеду, й меня ждет автомобиль.

Только что она ушла, сторож обратил внимание на лежавшего возле двери Лазика. С презрением оглядел он его лохмотья. Да, этот не сверкает бриллиантами!..

— Спрашивается, что ты здесь делаешь?

— Я? Я — уже.

— Что значит «уже»?

— Уже — умираю.

Тогда сторож начал кричать:

— Вы видели такого второго нахала? Ты знаешь, где ты? Это вовсе не место для подобных попрошаек, это могила самой Рахили. Ты понимаешь, что это за замечательная святыня или ты вообще оглох? Здесь вовсе не умирают, здесь дают мне немножко денег, и я кидаю записку, и я читаю несколько молитв. А потом отсюда уходят. Ты понял? Что же ты не двигаешься? Как зо-

вут тебя и твою, скажем, мать? Отвечай скорей, пока никого нет, и я тебе устрою это по самому дешевому тарифу.

Лазик печально улыбнулся:

— Вы напрасно волнуетесь. Скажем, что меня зовут «Горе», а мою мать «Печаль». Что же дальше? Вам незачем шевелить губами. У вас и так, наверное, на губах мозоли. Я вовсе не глухонемой, чтобы вы за меня разговаривали с природой, и я не эта американская свинья, у меня нет ни одного пенса, так что перестаньте волноваться. Я через час, наверное, умру.

— Нахал! Богохульник! Последняя собака! Сейчас же убирайся отсюда, не то я тебя истерзаю! Если каждый нищий вздумает умирать на таком святом месте, то что же это будет? Уходи умирать на помойку! Этот гроб Рахили вовсе не для тебя устроен. Он устроен для порядочных людей.

Лазик не двигался с места.

— Вы можете кричать сколько вам вздумается, но я отсюда не уйду, раз я сказал вам, что я умираю. Когда я еще мог жить, все кричали «нахал Ройтшванец, как ты смеешь здесь жить»? И меня терзали. И я уходил, потому что я еще хотел жить. А теперь мне совсем все равно. Хотите терзать меня — терзайте. Действительно, какой скандал: Лазик Ройтшванец смеет умирать на таком шикарном месте! Но примиритесь с фактом. Я и при жизни вовсе не выбирал себе подходящие места. Нет, просто дул ветер, и я сел в жестокий вагон. Так и теперь. Я полз пока я мог, и я приполз. Вы думаете, я знал, что здесь живет этот «гроб Рахили»? Нет, я думал, что здесь никто не живет. Я хотел вежливо умереть, чтобы никого не обидеть последним вздохом. Я ведь знаю, что громко вздыхать нельзя. Но вот я дополз, и вы здесь. Так не кричите на меня за пять минут до последней точки. Будьте оригиналом, скажите мне «пожалуйста, милости просим»... Я же никогда не слышал таких неожиданных звуков!

Сторож, однако, упорствовал:

— Здесь вовсе не принято умирать, и кто же будет платить за твои дурацкие похороны?

Тогда Лазик сказал ему с необычайной строгостью:

— Знаете что, еврей, вы мне надоели. Вы мне мешаете умереть. Я должен сейчас подумать о чем-нибудь высоком, а вы ко мне пристаёте с пошлыми деньгами. У меня нет денег, и вы можете выкинуть мое мертвое тело хбть в яму, мне все равно. Но сейчас, когда все во мне гудит, я хочу думать только о самом высоком.

Сторож расхохотался:

— Подумаешь, что за важная птица!.. Я еще понимаю, когда умирают какие-нибудь ученые цадики или министры, или щедрые господа с большим капиталом, так им есть на что оглянуться, у них позади пышная жизнь. А над чем ты можешь философствовать, если ты жалкий попрошайка, неуч, нахал с улицы?

— Да, я не ученый секретарь, и я не Ротшильд. Я только гомельский портной. Но, все-таки, перед смертью мне нужно подумать. Вот я вижу всю мою бурную жизнь. Она кипит внизу, как наш Сож. Мне самому смешно, когда я вспоминаю печальные факты. Это даже не похоже на жизнь. Это просто постыдный анекдот нашего Левки. Я вспоминаю, и я улыбаюсь, может быть, за пять минут до последнего вздоха. Наверное, солидные люди умирают совсем иначе. Они считают, сколько они книг написали, когда устраивали шумные пересвороты или по чем продавали разный товар. Вы правы, господин гробовой сторож, я умираю, как откровенный дурак. Можете поднести сюда вашу драгоценную свечку, и вы увидите, что мои ноги уже не двигаются, я начинаю кончаться с ног, но на моем лице самая отъявленная улыбка. Я улыбаюсь, потому что я, все-таки, думаю о самом высоком, и хоть вы грубый крикун, я сейчас расскажу вам мою последнюю историю. Это будет история о дудочке.

Вы, конечно, знаете, кто такой Бешт. Он ведь выдумал всех хасидов. Для вас такие вещи это дважды два, раз вы кормитесь с мертвого места, а для меня они толь-

ко красивый предрассудок. Я вижу насквозь ваш дурман, но умные люди всегда остаются умными людьми, даже когда они играют в прятки. Нечего говорить — Бешт был большой головой, и все евреи его почитали. От одного разговора с ним они сразу выросли на целый вершок. Я уже не говорю о том, какое у него было сердце. По-моему, он был куда справедливей, чем его выдуманный бог, потому что от Бешта никто не видел зла, ну а от бога... Впрочем, я не хочу вас на прощанье черезчур огорчать.

Значит, город, где жил этот Бешт, был прямо таки избранный, хоть в нем не было, наверное, никаких бронзовых фигур. Это был смехотворный городишко между Гомелем и Бердичевым, не Париж и не Берлин. Зато в нем жили самые умные и самые набожные евреи, а среди них этот Бешт. Хорошо. Настает «иом-кипур». Евреи собираются в синагогу. Они должны каяться в грехах. Они каются. Конечно, они вовсе не грешили. Разве могут грешить такие порядочные люди? Они скорее всего каются для приличия. Посмотрите на эту публику! Вот где ваши цадики и щедрые господа. Этот знает наизусть весь талмуд, этот пожертвовал триста рублей на новый свиток, этот всегда постится, этот день и ночь молится, словом, они даже не евреи, а готовые ангелы.

Но что же происходит? Бог наверху раскрывает книгу судеб, и он вешает разные грехи. Набожные евреи хотят у него выпросить пощаду. Они бьют себя в грудь, они плачут, они кричат, но нет им никакого облегчения. Каждый чувствует, что у него в сердце камень, и напрасно лить слезы, ничего не поможет, слишком много в этом праведном городе грехов.

Вы себе представить не можете, какая тоска охватила всех! В синагоге стоял такой вопль, что даже птицы, которые летали над крышей, падали вниз от печали. День был для осени на редкость жаркий, набрались тучи и хотел уже грянуть гром, и не мог. В ужасе думали евреи: «Мы погибли, бог не отпустит наших грехов, вот-вот уже скрипнуть его перо, вот-вот он выписывает

нам самую черную смерть. Может быть, придет на всех холера или случится новый погром и будут пороть животы, насиловать наших жен и топтать наших деток. Ой, горе нам! Нет нам пощады! Чем ужасным провинились мы?...»

И все умники каялись в разных напечатанных грехах, но своих грехов они не помнили, и как они могли помнить разную человеческую мелочь? Тот, кто знал наизусть весь талмуд, не знал ни одного простого слова. Он не мог утешить какого-нибудь горемыку, не мог приласкать ребенка, не мог посмеяться в праздник с бедняками. А тот, кто выложил тысячу рублей на пышный свиток, не знал, что значит обыкновенная нужда. Он подавал две копейки на улице признанным нищим, но он не поднес бедному портному, у которого к субботе не было ни свечи, ни булки, чудесного подарка. Он думал, что все люди обходятся красивым свитком. И тот, кто молился, не умел прощать. И тот, кто постился, не умел накормить голодного. И вся их справедливость была на два часа. Они ее напяливали на себя, как шелковый талес. А теперь выдуманному богу надоел этот маскарад. И вот кричат евреи, но нет дороги их крикам. Тогда они поворачиваются к Бешту: «раз Бешт с нами, мы не можем пропасть. Он же свой человек у бога, он выпросит нам полное прощение!»

Бешт стоит и молится. Но ужасная скорбь на его лице, так что больно глядеть. Он же не просто умник, он видит сердца евреев. Он берет на руку их грехи, и у него опускаются руки: таких грехов никто не выдержит. Он хочет заплакать, но у него нет слез. Он — как это небо перед грозой: столпились тучи, нечем дышать, должен пролиться дождь, должен ударить гром, но нет, не может. Тихо и жутко в такой день на земле. Страшно старому Бешту. Он просит выдуманного бога: «дай мне слезы, и я вымолю у тебя прощение всем евреям». Но бог оглох. Он хочет быть справедливым. Он заткнул себе уши, чтобы не растрогаться. И напуганно хлопочет Бешт.

Все страшней и страшней евреям. Они видят, что Бешт терзается. Они видят, что сам Бешт им не поможет. Они уже не кричат больше. Они уже прокричали все голоса. Тихо в синагоге, так тихо, как перед самой смертью, так тихо, сторож, как сейчас у меня на душе. Кажется, слышат евреи шелест страниц: это там, наверху, бог переворачивает новую страницу книги судеб. Сейчас грянет гром. Сейчас захлопнет он тяжелую книгу, и конец, конец всем!

Вдруг среди этой скорбной тишины происходит полное неприличие. Куда только не пролезают разные нищие нахалы? Я вот попал прямо на гроб Рахили, а в ту синагогу, где столько было богачей и знаменитостей, тоже прошмыгнул бедный портной. Его звали Шулимом. Он пришел со своим маленьким сыном, которому было года три или самое большее четыре. Шулим пришел молиться, а у ребенка в голове, конечно, не философия, там скорей всего детские проказы. Ему в синагоге скучно. Все стоят и молятся. Ну час, ну два, и ребенку надоело. Он дергает отца «я хочу к маме», но Шулиму не до него: бедный Шулим тоже вздумал разговаривать с богом. Ребенок не знает, чтобы придумать, и тогда он вспоминает, что у него в кармане жестяная дудочка. Мама ему купила вчера на базаре за пять копеек этот богатый подарок. Он вынимает себе дудочку и хочет подуть, как отец, слава богу, замечает:

— Иоська, сейчас же спрячь эту глупость! Сегодня «иом-кипур», и надо плакать, а не играть на трубе.

Но этот Иоська упрямый. Он не хочет плакать. Он хочет обязательно дуть в дудочку. Уже все видят, какой полный скандал. Мало и так они согрешили, а здесь еще это безобразие в синагоге! Понятно, что бог обижается... Они даже обрадовались. Может быть, все дело не в их грехах, а в этом нахальном портном? Как он сюда затесался? И они гонят Шулима. Но тут вмешивается Бешт. Конечно, во время молитвы нельзя разговаривать, но, всетаки, Бешт говорит:

— Оставьте этого ребенка! Если он хочет дуть в дудочку, пусть дует.

Иоська, конечно задул. Он дул в полное свое удовольствие. И грянул гром, и брызнули из глаз Бешта живые слезы, и сразу стало легко всем евреям. Не успели они опомниться, как настал вечер, вспыхнули звезды, кончился пост. Со слезами радости обнимали они друг друга: «вот бог и простил нам все наши грехи. Мы недаром молились и недаром постились! Когда с нами Бешт, как же может бог на нас сердиться?»... Почти-точно обступают они Бешта:

— Рэби, вашей молитвой мы все спаслись.

Но Бешт качает головой.

— Нет. Было темно на небе, и там шла смертельная борьба. Ваши грехи весили столько, что их не могли перевесить никакие покаянные слезы. Бог закрыл себе уши. Бог запретил мне плакать. Бог не слышал больше моих молитв. Но вот раздался крик этого ребенка. Он дунул в дудочку, и бог услышал. Бог не выдержал. Бог улыбнулся. Это же была такая глупая забава, ровно за пять копеек, и это было такое неприличие в великий пост!.. Но я скажу вам одно, умные евреи, вовсе не ваши доводы и не мои молитвы спасли наш город, нет, его спасла жёстяная дудочка, один смешной звук от всего детского сердца... Поглядите скорее, как этот Иоська улыбается!..

Лазик замолк. Он слишком много говорил. Он еле дышал. Непонятно, как досказал он до конца историю о дудочке. Пот покрыл его тело. Сторож ворчал:

— Это, все-таки, не порядок, в «иом-кипур» позволить себе такие выходки! Ты это попросту выдумал, чтоб заговорить мне зубы. Но теперь ты поговорил, и ты можешь убираться. Слышишь?..

Лазик ничего не отвечал. Он даже не вздыхал. Тихо и легко умирал он.

Сторож понюхал табак, почесал бороду, потом, не понимая, что же приключилось с этим нахальным нищим, взял свечу и поднес ее к лицу Лазика.

— Ну, что это за поведение?..

Лазик лежал неподвижно. Он больше не дышал. На его мертвом лице была детская улыбка. Вот так улыбался маленький Иоська, когда ему позволили дунуть в дудочку. И увидев улыбку Лазика, сторож обомлел. Он забыл о деньгах за похороны. Он не повторял привычных молитв. Нет, выронив на пол свечу, он заплакал живыми слезами.

Спи спокойно, бедный Ройтшванец! Больше ты не будешь мечтать ни о великой справедливости, ни о маленьком ломтике колбасы.

Париж

Апрель - октябрь 1927

СТИХИ

ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ

Народ, ведущий род от Авраама,
Когда-то мощный и большой народ,
Пахал ты землю долго и упрямо,
Трудясь над нивами из года в год.
Ты был народом юным и веселым
В своих родных и всаханых полях,
Раскинувшись по плодоносным долам,
В росой сверкавших пальмовых шатрах.
Но недовольный избранным уделом,
Покинув пастбища и отчий дом,
Побрел ты нищий по чужим пределам
И сделался пришельцем и рабом.

Всегда униженный, гонимый,
Под тяжким бременем забот,
Ты шествуешь, едва терпимый,
Бессильный и больной народ.
Ты столько выдержал позора,
Костров, изгнаний и тюрьмы,
Тебя боятся, точно мора,
И сторонятся, как чумы.
Пришелец жалкий и убогий
Ко всем народам ты привык,
Забывши об еврейском Боге
И потеряв родной язык.
Ты больше не взрываешь нивы,

Не стережешь стада овец.
В своей лавчонке боязливый
Ты ныне жадный торговец.
Старик ослепший и злосчастный,
Рожденный некогда в полях,
Ты умираешь ежечасно
В неумолимых городах.
Лишенный нив, средь душных сводов,
Стеною крепкой обнесен,
Рождая немощных уродов,
От вырождающихся жен,
Еврей, ты раб у всех народов,
Ты парий между всех племен!

Ты здесь ненужен; пришлый и гонимый
Сбери своих расслабленных детей,
Уйди к родным полям Иерусалима,
Где счастье знал ты в юности своей.
Увидишь ты покинутые нивы,
И снова двинешь заржавельный плуг.
Быть может, там под ветками оливы
Ты отдохнешь от долголетних мук.
И если должен ты погибнуть вскоре,
Умри не здесь, среди чужих полей,
А там, где видел ты иные зори,
Где счастье знал ты в юности своей.

БОГУ

Тебе смиренно я пою,
Тебя я вижу в безднах ночи:
Седую бороду Твою.
И ясно голубые очи.

Ты создал яростных зверей,
Необозримые просторы,
Ты средь бушующих морей
Поставил каменные горы.

Под звуки неумолчных бурь
Века над миром проходили.
Твои глаза среди лазурь,
Как звезды ясные застыли.

Отец, мой голос слишком слаб
Перед твореньем исполина,
Но все же я, как верный раб,
Хочу прославить господина.

Тебе смиренно я пою,
Тебя я вижу в безднах ночи:
Седую бороду Твою
И ясно голубые очи.

ХРИСТОС

I

Пали листья желтые каштанов,
Глубже нетревожный небосклон
И под звуки золотых тимпанов
Близится осенний Рошешон.
В склады Симеона из долины
Свезены созревшие хлеба;
Собирают сочные маслины
Двадцать два выносливых раба.
На пиры торжественного брака

Симеон гостей к себе зовет:
За соседа юного Исака
Дочь последнюю он выдает,
В защищенных от лучей повозках
Гости съехались из сел и городов.
Далеко на пыльных перекрестках
Слышен рев привязанных волов.
Девять дней с утра и до заката
Проливалось крепкое вино,
Точно сок созревшего граната
По рукам струилось оно.
На десятый день вина не стало.
Гости задремали у маслин,
И покрытый влагой пенно-алой
Не звенел оставленный кувшин.
И напрасно Симеон упрямый
Падал ниц, взывая в тишине,
Бога Исаака, Авраама
Он молил о сладостном вине.
И напрасно пришлый из Эллады
Жрец большого петуха убил,
И свершая долгие обряды,
Диониса о вине просил.
Вечером, откуда неизвестно,
По соседним проходя путям,
Отрок видом светлый и чудесный
Подошел к пирующим гостям.
Заверпнул он из колодца воды,
И войдя в молитвенный шалаш,
Молодой, безусый, безбородый
Вынул девять освященных чаш.
И святое совершилось чудо —
Брызнула багровая струя.
Он сказал им: "Пейте из сосуда,

Пейте, люди, это кровь моя!”
Гости недоверчиво взирали
На пришельца — юного Христа,
Но невольно к чашам прижимали
Жадные и знойные уста.
Только Эллин, пришлый чужестранец
Чашу винную к груди прижал,
Танцевал какой-то дикий танец
И языческого бога звал.
Но Христос, предчувствием объятый,
Вскинул пальцы холодевших рук:
Он предвидел и удар Пилата,
И горячий обагранный луг.
Поглядев отверженно и строго,
Он ушел туда — в Иерусалим,
И не понял греческого бога,
Жрец которого плясал пред ним.

II

Он скорбел, а небо голубое
Высоко раскинулось над ним.
В странном, выжидательном покое
Тяжело дремал Иерусалим.
И когда его закрылись вежды,
Пала тень на серые поля.
Рвали женщины свои одежды
И кричали, Господа моля.
Старый Эллин, проходивший мимо,
На распятье с трепетом взирал:
В изгнанном царе Иерусалима
Он бывшего отрока узнал.
Молча преклонив свои колена,
Он припал к подножию креста.

Было чудо — золотая пена
Омочила Эллина уста.
Долго пил он радостно и жадно
Кровь, как струи переспелых лоз,
И казался гроздью виноградной
Обнаженный, молодой Христос.
Все рыдали — только чужестранец
Кровь Христову к сердцу прижимал,
Танцевал какой-то дикий танец
И языческого бога звал.



Евреи, с вами жить не в силах,
Чуждаясь, ненавидя вас,
В скитаньях долгих и унылых
Я прихожу к вам, всякий раз
Во мне рождает изумленье
И ваша стойкость, и терпенье.
И необычная судьба,
Судьба скитальца и раба.
Отравлен я еврейской кровью,
И где-то в сумрачной глуши
Моей блуждающей души
Я к вам таю любовь сыновью.
И в час унылый, в час скорбей,
Я чувствую, что я еврей!



Ж. Цадкина

Люблю твое лицо — оно непристойно и дико,
Люблю я твой чин первобытный,

Восточные губы, челку, красную кожу
И все, что любить почти невозможно.
Как сросся ты со своей неуклюжей собакой,
Из угла вдруг залаешь громко внезапно
И смущенно глядишь: "Я дикий,
Некомнатный, вы извините!.."
Но страшно в твоей мастерской: собака,
Прожженные трубки, ненужные книги и девичьих
статуй

От какого-то ветра загнутые руки,
Прибитые головы, надломленные шеи, —
Это побеги лесов дремучих,
Где кончала плясать Саломея...
Ты стоишь среди них удивлен и пристыжен —
Жалкий садовник! Темный провидец!

Февраль 1915



Своя

Горбится, мелкими шажками бежит
Туда и обратно.
Тонкие пальцы от всех обид
Скручены как-то.
Раздумчивый глаз
И усмешка:
Кое-что знаю про вас,
Все мы здешние, все мы грешные!
Жизнь нелегка,
И очиститься нечем.
Убьешь паука —

Отойдешь и повесишься.
Поглядит и бежит куда-то —
Туда иль обратно.
И, отвисшие, к ночи засохшие
(От молитвы иль только от страсти скрытой?),
Жадно ловят комнатный воздух
Губы семита.

Июнь 1915



Когда замолкнет суесловье,
В босые тихие часы,
Ты подыми у изголовья
Свои библейские весы.

Запомни только: сын Давидов,
Филистимлян я не прошу.
Скорей свои цымбалы выдам,
Но не разящую пращу.

Ты стой и мерь глухие смеси,
Учи неистовству, пока
Не обозначит равновесье
Твоя державная рука.

Но неизбывна жизни тяжесть:
Слепое сердце дрогнет вновь,
И перышком на чашу ляжет
Полузабытая любовь.

Январь 1922

Я тебя выведу в люди!
Не смей хныкать! Должен быть веселым!
Запору если плакать будешь!..”
Но Исак не плакал — он не умел плакать,
В коридоре за старым шкапом,
Уткнувшись в угол головой,
Он тихо стонал ”ой-ой-ой”!

В школе зубрил прилежно:
”Крайняя точка — мыс Доброй Надежды”...
А Зайцев Иван и Захаров Геннадий
Жужжали сзади:
”Сидит жидочек на лавочке,
Мы посадим жидочка на булавочку”,
Дергали, щипали, били не ремнем — пряжкой.
Исак не просил, не жаловался, не спрашивал,
Под скамьей
Он только визжал ”ой-ой-ой!”

А потом Исак Зильберсон поступил в контору,
Считал ”подшипников отправлено сто восемь...”
Вот зима скоро —
У Елизарова есть шапка, совсем под котика,
Только дорого!..
В комнате убрал открытками стены —
”Господи, какая есть на свете роскошь!
Какой закат в Сорренто!
Какие плечи у Венеры Милосской!”
По праздникам душился духами ”запах маркизы”,
Надевал воротничок свой самый высокий
И осторожно (а то брюки забрызгаешь)
Шагал в городскую оперу.
Бим! Бом! Бом!
На сцене любили, ревновали, стреляли.

И думал Исак Зильберсон —
"Хорошо бы родиться в Италии"...
А ночью, у себя мечтая,
Напевал, только тихо, чтобы не разбудить хозяев:
"Женщины, женщины,
Как вы изменчивы"!
Но никогда женщин не знал,
Ибо страдал,
Застенчивостью...

Исак Зильберсон влюбился в старшую дочь
бухгалтера —

Надежду Павловну.
Чертил везде
"Н. П. Д."
"Надежда Павловна, как глядит!
Какой вид! Какой шик"!
Однажды осмелел, явился, сел на кончик кресла.
"Надежда Павловна, вам ничего не известно?..
Я... Я — Исак Зильберсон...
Нет, я лучше скажу потом...
Простите, я не то хотел сказать... я ошибся...
Я служу в конторе "Американские Подшипники"...
Надежда Павловна смеялась — "бедный,
Сядьте же хоть как следует,
Вы не умеете говорить комплименты...
Папа мне насплетничал, что вы душитесь...
У вас такой забавный акцент...
Ну, я вас слушаю..."
Но Исак Зильберсон только тряс головой
И, закрыв глаза рукой,
Вздыхал "ой-ой-ой"!

Исак Зильберсон в летнем саду "Венеция",
Глядя на четыре пыльных дерева,

Пил ананасовую воду,
"Я люблю природу!
Как хорошо бы жить тихо, просто
Вот под такой липой".
(Это была тощая березка,
Но он все деревья звал липами).
Пил и глядел на пышную даму
В оранжевом платье.
... "Экстренные телеграммы!
Высочайший указ... Призыв ратников"...
Исак прочел, тихо пикнул,
"Как хорошо бы жить под этой липой"...
Бом! Бом! Бом!
Гремел граммофон.
И читал Исак Зильберсон,
Что он — Исак Зильберсон
Должен идти на войну.
И пела "этуаль" про луну,
И пела про то и про это,
И кричали, и хлопали где-то...
Исак думал "кружится голова...
Я покраснел... все смотрят, даже дамы...
На войну — это значит раз-два! раз-два!
И пушки... все-таки странно"...

Исак Зильберсон лежал на животе, окопавшись.
"Не так страшно.
Только скорее бы идти, а то... Боже,
Как болит под ложечкой".
А солдаты смеялись — понюхай пороху!..
Да только труса даст, жидовская морда!..
Потом бежали — и он бежал,
Кричали — и он кричал,
Стреляли — и он стрелял.

Бум! Бум! Бом!
Пушки тяжело вздыхали, охали.
И видел Исаак Зильберсон,
Как на него кинулся кто-то,
Он хотел что-то сделать, но вспомнишь разве?
Он выронил штык свой наземь.
Заслонил лицо рукой
И завопил "ой-ой-ой"
Пушки все охали, грозные
Бом! Бум! Бом!
И — долго глядел Исаак Зильберсон,
Как гасли далекие звезды.

К Господу — Богу пришел Исаак Зильберсон.
Сияли звезды, звенели лютни.
И от райского света зажмурился он
И прятал, стыдясь, свои руки.
Господь-Бог спросил Исака:
"Скажи как ты жил?
Как грешил, как радовался, как плакал,
И как любил?"
Исаак смутился: что ответчу?
И даже выдумать нечего...
Ведь я же жил, служил, ходил, бегал,
А кажется будто ничего не было...
Господь-Бог долго ждал ответа,
Долго глядел он на бедного человека.
Но молчал Исаак Зильберсон.
Лютни звенели — бим! бом!
Ангелы пели "Слава Всевышнему"
Но Господь-Бог сказал им "тише"
И Господь-Бог закрыл Свои очи рукой,
И Господь-Бог сказал "ой-ой-ой"!

Eze. 1916.



Запомни этот ров. Ты все узнал:
И города сожженного оскал,
И черный рот убитого младенца,
И ржавое от крови полотенце.
Молчи — словами не смягчить беды.
Ты хочешь пить, но не ищи воды.
Тебе даны не воск, не мрамор. Помни —
Ты в этом мире всех бродяг бездомней.
Не обольстись цветком: и он в крови.
Ты видел все. Запомни и живи.

Между октябрем и декабрем 1943



Бродят Рахили, Хаимы, Лии,
Как прокаженные, полуживые,
Камни их травят, слепы и глухи,
Бродят, разувшись пред смертью, старухи,
Бродят младенцы, разбужены ночью,
Гонит их сон, земля их не хочет.
Горе, открылась старая рана,
Мать мою звали по имени — Хана.

Январь 1941

ГДЕ-ТО В ПОЛЬШЕ

Приходили, уходили сердитые...
Иудеи, снова приходила наша судьба!
Убегали, прятали старые свитки

В погреб...
Бедный Иоська, раскачайся, покачайся
и завой!
— Я есмь господь Бог твой!

Наше племя
Очень дрессированное.
Мы видали девятьсот пленений.
Снова, снова и снова...

Мама Иосеньке поет,
Соской затыкает рот:
"Ночью приходили
И опять придут.
Дедушку убили
И тебя убьют!"

Дымятся снега, но цела твоя Тора!
Видишь, господь?
Шли же скорей своих тихих воронов
Разрывать нашу древнюю плоть.

"Ой! Ой!
Боже мой!
Дышат тише.
Ходят ближе.
Спи, мой милый,
Спи же, жди же!..."



Скребет себя на пепле Иов,
И дым глаза большие выел

А что здесь было — нет его.
И никого, и ничего.
Зола густая тихо стынет.
Так вот она, его пустыня.
Он отнял не одно жилье —
Он сердце обобрал мое.
Сквозь эту ночь мне не пробраться.
Зачем я говорил про братство?
Зачем в горах звенел рожок?
Зачем я голос твой берег?
Постой. Подумай. Мы не знали,
В какое счастье мы играли.
Нет ничего. Одна зола
По-человечески тепла.

1943

БАБИЙ ЯР

К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,
Когда, как каторжник ядро,
Я волочу чужую память?
Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал,
Хотя, когда я был с живыми;
Я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!

Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
Мы понатужимся и встанем,
Костями застучим — туда,
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
Мы к вам пришли. Не мы — овраги.

1944



В это гетто люди не придут.
Люди были где-то. Ямы тут.
Где-то и теперь несутся дни.
Ты не жди ответа — мы одни,
Потому что у тебя беда,
Потому что на тебе звезда,
Потому что твой отец другой,
Потому что у других покой.

1944



За то, что зной полуденной Эсфири,
Как горечь померанца, как мечту,
Мы сохранили и в холодном мире,
Где птицы застывают на лету,
За то, что нами говорит тревога,
За то, что с нами водится луна,
За то, что есть петлистая дорога

И что слеза не в меру солона,
Что наших девушек отличен волос,
Не те глаза и выговор не тот, —
Нас больше нет. Остался только холод.
Трава кусается, и камень жжет.

1944



К вечеру улегся ветер резкий,
Он залег в тенистом перелеске, —
Уверяли галки очень колко,
Что растет там молодая елка.
Он играл с ее колючей хвоей,
Говорил: "На свете есть другое,
А не только эти елки-палки,
А не только глупенькие галки".
Говорил, что он бывал на Тибре,
Танцевал с нарядными колибри,
Обнимал высокую агаву,
Но нашлась и на него управа.
Отвечала молодая елка:
"Я в таких речах не вижу толка,
С вами я почти что незнакома,
Нет у вас ни адреса, ни дома,
Может, по миру гулять просторней,
Но стыдитесь — у меня есть корни,
Я стою здесь с самого начала,
Как моя прабабушка стояла.
Я не мельница. Зачем мне ветер?
У меня, наверно, будут дети.
На мои портреты ротозеи
Смотрят в краеведческом музее".

354

Вздогнули деревья на рассвете —
Это поднялся внезапно ветер,
И завyla на цепи собака
Оттого, что ветер выл и плакал,
Оттого, что без цепи привольно,
Оттого, что даже ветру больно.

1948(?)

СЕМ ТОБ И КОРОЛЬ ПЕДРО ЖЕСТОКИЙ

То было время раннее,
И не было в Испании
Ни золота, ни пороха,
Ни флота Христофорова.
Тогда еще горшечники
Не рвались к бесконечности,
Не ведали святители,
Что значит относительность.
Король тягался с грандами,
Корпел он над финансами,
Слал против мавров конницу
И заболел бессонницей.
Все медики с примочками
Не знали, как помочь ему.
Коль спишь, так спишь, а иначе
Лежишь один среди ночи.
Сем Тоб, бедняк, юродствовал,
Мудрил и стихоплетствовал,
Ходил с большими пейсами —
Был рода иудейского.
А все ж король попробовал
И приказал Сем Тобу он:

”Ты знаешь все нечистое,
Раскрой такую истину,
Чтоб я уж не тревожился,
А спал, как спать положено”.
Забыв про трон и титулы,
Сем Тоб приказ тот выполнил:
”На свете все случается,
На свете все кончается.
Луна бывает месяцем,
Потом растет и светится,
Она такая полная,
Такая безусловная,
Что не убавят толики
Ни мавры, ни католики.
Но вот луна уж нервная,
Как говорят, ущербная,
Отгрызена, объедена —
На свете так заведено”.
Король взревел неистово:
”Ты не поэт, а выскочка! —
И застучал он по столу: —
Читаешь Аристотеля?
Ах, морда ты жидовская,
Не били уж давно тебя.
Луна луной останется,
А вот тебе достанется...”
Сем Тобу крепко всыпали,
Но он, как встарь, пописывал.
А короля Кастилии
Ближайший родич вылечил:
Рубать умея смолоду,
Отсек больную голову.
Не мучаясь вопросами,
Король заснул без просыпу.

ПРИМЕЧАНИЯ

Об "истоках" своей жизни И. Эренбург рассказал не только в "Автобиографиях", но и в первой книге мемуаров "Люди, годы, жизнь". "О своих родителях я вспоминаю с любовью, — писал он, — но, оглядываясь назад, я вижу, как далеко откатилось яблоко от яблони. Я родился в буржуазной еврейской семье. Мать моя дорожила многими традициями: она выросла в религиозной семье, где боялись Бога, которого нельзя было называть по имени, и тех "богов", которым следовало приносить обильные жертвоприношения, чтобы они не потребовали кровавых жертв. Она никогда не забывала ни о Судном дне на небе, ни о погромах на земле. Отец мой принадлежал к первому поколению русских евреев, попытавшихся вырваться из гетто. Дед его проклял за то, что он пошел учиться в русскую школу. Впрочем, у деда был вообще крутой нрав, и он проклинал по очереди всех детей; к старости, однако, понял, что время против него, и с проклятыми помирился. Если предположить, что яблоней был дед, то и от этой яблони яблоки разлетелись в самые разные стороны..."

Стр. 5. Печатается по книге "Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков". М., 1926 г.

Стр. 11. Из "Книги для взрослых". "Советский писатель", М., 1936 г.

Стр. 13. Сборник "Советские писатели". Автобиографии в двух томах, т. 2-й, Государственное издательство художественной литературы, М., 1959 г.

Стр. 25. "Я люблю "Хуренито"... написал его по внутренней необходимости. Я ведь еще не считал себя писателем. Книгу эту я вынашивал долго. Может быть, в ней недостаточно литературы (не было опыта, мастерства), но нет в ней никакой литературщины... В "Хуренито" я клеймил всяческий расизм и национализм, обличал войну, жестокость, жадность и лицемерие тех людей, которые ее начали и которые не хотят отказаться от войн, ханжество духовенства, благословляющего оружие, пацифистов, обсуждающих "гуманные способы истребления человечества", лжесоциалистов, оправдывающих ужасное кровопролитие. Я подписываюсь и теперь под этими мыслями; и если я ненавижу расизм и фашизм, если нахожу слова, чтобы участвовать в борьбе за мир, то потому, что человек за полвека снашивает много костюмов, но остается при этом самим собой... Я иногда ошибался, иногда видел достаточно ясно. Задолго до печей Освенцима и Бабьего Яра в книге напечатано следующее объявление: "В недалеком будущем состоится торжественные свансы уничтожения иудейского племени... " "Хулио Хуренито" читатели читали, критики ругали крепко и длительно: говоря о многих последующих книгах всегда припоминали первый роман как главную улику... Конечно, бывали часы, когда я огорчался: на меня падали снаряды не врагов, а своих. Но, к счастью, в тот период снаряды были бумажными. Постепенно я привык к различным обвинениям; выработался частичный иммунитет, который впоследствии не раз спасал меня от полного отчаяния (И. Эренбург "Люди, годы, жизнь", книга вторая).

Печатается по книге: Илья Эренбург "Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников". Книгоиздательство "Галикон", Москва-Берлин, 1922 г

Стр. 34. Из книги: Илья Эренбург "Шесть повестей о легких концах". Книгоиздательство "Галикон", М.-Б., 1922 г.

Стр. 53. Из книги: Илья Эренбург "Тринадцать трубок". Книгоиздательство "Галикон", М.-Б., 1923 г. Под предисловием автора стоит дата — 3 июля 1922 г.

Стр. 67. Рассказывая о встречах с поэтом Перецем Маркишем И. Эренбург говорит и о возникновении замысла романа "Бурная

жизнь Лазика Ройтшванца". В третьей книге мемуаров "Люди, годы, жизнь" он вспоминает о той беседе в Париже, в "Ротонде", в которой участвовали П. Маркиш, "еврейский писатель из Польши Варшавский и художник, фамилию которого я забыл", и которая дала толчок рождению нового произведения. "Не то Варшавский, не то художник рассказал историю о дудочке, — пишет И. Эренбург. — Это была хасидская легенда (хасиды — мистическая и бунтарская секта, восставшая в восемнадцатом веке против раввинов и богачей-лицемеров). Легенду я запомнил и включил потом в мою книгу "Бурная жизнь Лазика Ройтшванца"; книга эта малоизвестна..." В шестой книге своих мемуаров И. Эренбург вновь возвращается к истории создания романа и добавляет, что "прочитал сборник хасидских легенд, которые мне понравились своей поэтичностью... Моего героя западные критики называли "еврейским Швейком". (Я не включил эту книгу в собрание моих сочинений не потому, что считаю ее слабой, или отрекаюсь от нее, но после нацистских зверств опубликование многих сатирических страниц мне кажется преждевременным."

Печатается по книге: Илья Эренбург "Бурная жизнь Лазика Ройтшванца". Париж, 1928 г.

"День и ночь напролет я писал первое стихотворение, — вспоминает И. Эренбург о начале своего поэтического пути, — оказалось это очень трудно. Я знал, что по-французски у меня бедный словарь, но ведь стихи я писал по-русски, а все время чувствовал, до чего мало у меня слов... Я порвал все написанное и решил больше к стихам не возвращаться — буду революционером, может быть, журналистом, или выберу другую профессию, поэзия не для меня. Легко было решить, а вот выполнить решение я не смог. Я вдруг почувствовал, что стихи поселились во мне, их не выгонишь, и я продолжал писать... Многие из моих прошлых мыслей мне теперь представляются неправильными, глупыми, смешными. А вот то, почему я начал писать стихи, мне кажется правильным и теперь. Восемнадцатилетний юноша понял, что стихами можно сказать то, чего не скажешь прозой. Эту мысль разделяет старый литератор, который теперь пишет книгу воспоминаний" (И. Эренбург. "Люди, годы, жизнь", книга первая).

Стр. 337. В книге: И. Эренбург "Я живу". С.-Петербург, 1911 г.

Стр. 338. Там же.

Стр. 339. Там же.

Стр. 342. В книге: И. Эренбург "Одуванчики". Париж, 1912 г.

Стр. 342. Печатается по книге: И. Эренбург "Стихотворения". Большая серия "Библиотеки поэта". Второе издание. "Советский писатель", Ленинградское отделение, 1977 г. Это и следующее стихотворение из цикла "Тени".

Стр. 343. Там же.

Стр. 344. В книге: Илья Эренбург "Опустошающая любовь". Берлин, 1922 г.

Печатается по книге: Илья Эренбург. "Стихотворения". Большая серия "Библиотеки поэта", второе издание.

Стр. 345. В литературном сборнике "Еврейский мир". Книга первая. М., 1918 г.

Стр. 350. В книге: И. Эренбург. "Верность". М., 1941 г.

Печатается по книге: Илья Эренбург. "Стихотворения". Большая серия "Библиотеки поэта". Второе издание.

Стр. 350. В газете: "Литература и искусство", 19 августа 1944 г.

Стр. 350. Сборник "Стихи о канунах". М., 1916 г.

Печатается по книге: Илья Эренбург. Собрание сочинений в девяти томах. Т. 3-й. Издательство "Художественная литература", М., 1964.

Стр. 351. "День поэзии". М., 1962 г.

Печатается по книге: Илья Эренбург "Стихотворения". Большая серия "Библиотеки поэта". Второе издание, (в публикации 1962 г. есть разночтения: "Постой. Подумай. Мы не знали. В каком счастье мы играли?").

Стр. 352. Журнал "Новый мир", № 1, 1945 г. (Опубликовано без заглавия).

Печатается по книге: Илья Эренбург "Стихотворения". Большая серия "Библиотеки поэта". Второе издание.

Стр. 353. И. Эренбург "Дерево". М., 1946 г. (Опубликовано под заголовком "В гетто").

Печатается по книге: Илья Эренбург "Стихотворения". Большая серия "Библиотека поэта". Второе издание.

Стр. 353. И. Эренбург "Дерево". М., 1946 г.

Печатается по книге: Илья Эренбург "Стихотворения". Большая серия "Библиотеки поэта". Второе издание.

Стр. 354. И. Эренбург. Сочинения в пяти томах. Т. 4-ый. М., 1953 г. (С датой — 1947 г. Отсутствуют две последние строки).

В сборнике: И. Эренбург "Стихи", М., 1959 г. стоит дата — 1948 г. Последние две строки даны в такой редакции:

Оттого, что ветру очень вольно,

Оттого, что даже ветру больно.

Печатается по книге: Илья Эренбург "Стихотворения". Большая серия "Библиотеки поэта". Второе издание.

Стр. 355. Печатается по книге: Илья Эренбург. Собрание сочинений в девяти томах. Т. 9-ый. Издательство "Художественная литература", М., 1967 г.

После опубликования поэмы М. Алигер "Твоя победа" появился "Ответ Маргарите Алигер". В машинописных копиях он получил значительное распространение и приписывался И. Эренбургу. Ни в какие издания произведений И. Эренбурга не входил. Илья Эренбург не подтверждал, не отрицал факт своего авторства. В поэме М. Алигер были такие строки:

"Мы — народ во прахе распростертый,

Мы — народ, поверженный врагом..."

Почему? За что? Какого черта?

Мой народ, я знаю о другом.

На вопросы поэтессы отвечало стихотворение анонима:

На ваш вопрос ответить не умея,
Скажу — нам беды суждены.
Мы виноваты в том, что мы евреи,
Мы виноваты в том, что мы умны.

Мы виноваты в том, что наши дети
Стремятся к знаниям и мудрости земной,
И в том, что мы рассеяны по свету
И не имеем родины одной.

Нас сотни тысяч, жизни не жалея,
Прошли бои, достойные легенд,
Чтобы услышать: "Кто это? Евреи?
Они в тылу сражались за Ташкент".

Чтоб после мук и пыток Освенцима,
Кто смертью был случайно позабыт,
Кто потерял всех близких и любимых,
Мог слышать вновь: "Вас мало били, жид!"

Не любят нас за то, что мы евреи,
Что наша вера — остов многих вер,
Но я горжусь, горжусь и не жалею,
Что я еврей, товарищ Алигер.

Недаром нас, как самых ненавистных
Подлейшие, с жестокою душой,
Эсэсовцы "жидов и коммунистов"
В Майданек отправляли на убой.

Нас задушить хотели в грязных "гетто"
Сгноить в могилах, в крови утопить,
Но несмотря, да, несмотря на это,
Товарищ Алигер, мы будем жить.

Мы будем жить, и мы еще сумеем,
Талантами сверкая, доказать,
Что наш народ, что мы, евреи,
Имеем право жить и расцветать.

Нам кровь и слезы дали это право,
Благословили мертвецы нас из могил.
Я верю: наш народ для подвигов и славы,
Для новой жизни сердце возродил.

Народ бессмертен. Новых Маккавеев
Он породит грядущему в пример.
И я горжусь — горжусь и не жалею,
Что я еврей, товарищ Алигер.

СОДЕРЖАНИЕ

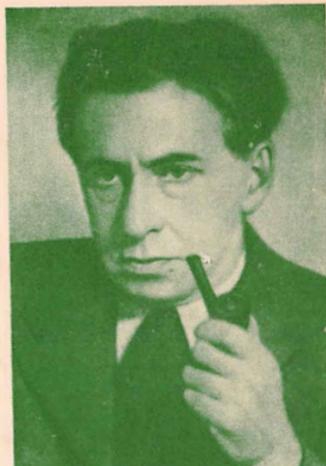
	Стр.
АВТОБИОГРАФИИ	
Автобиография	5
Из книги "Для взрослых"	11
Автобиография	13
ПРОЗА	
Пророчество Учителя о судьбах Иудейского племени. Из романа "Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников"	25
Шифс-карта	34
Третья трубка ..	53
Бурная жизнь Лазика Ройтшванца ..	67
СТИХИ	
Еврейскому народу ..	337
Богу ..	338
Христос ..	339
"Евреи, с вами жить не в силах..." ..	342
"Люблю твое лицо..." ..	342
"Горбится, мелкими шажками бежит..." ..	343
"Когда замолкнет суесловье..." ..	344
Баллада об Исаке Зильберсоне ..	345

"Запомни этот ров..."	350
"Бродят Рахили, Хаимы, Лии..."	350
Где-то в Польше	350
"Скребет себя на пепле Иов..."	351
Бабий Яр	352
"В это гетто люди не придут..."	353
"За то, что зной полуденной Эсфири..."	353
"К вечеру улегся ветер резкий..."	354
Сем Тоб и король Педро Жестокий	355
ПРИМЕЧАНИЯ	357

ОБ ИЛЬЕ ЭРЕНБУРГЕ

Биография Эренбурга необыкновенно сложна, порой противоречива, всегда захватывающе интересна и значительна в первую очередь тем, что его судьба неразрывно слилась с судьбой его тревожного и великого века.

К. Паустовский. СССР



Только в пробуждении сознания ответ на все, что было, и только один из всех — Эренбург — невятно мыча и кивая в ту сторону, указывает нам (и будущим поколениям) дорогу, где это сознание лежит. Как смеем мы требовать от него большего? Упрекать его за то, что он уцелел? Вычитывать между строк его книги его особое мнение? Или отвергать его за то, что он дает нам полуправду? Наше дело осознать правду целиком, сделать вывод.

Н. Берберова. США